

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

ISSN 0131-6044
9 770131 604002

РОМАН №4 2020 ГАЗЕТА

Анар / Амулет от сглаза





АНАР

Анар Расул оглы Рзаев, советский и азербайджанский писатель, режиссёр и сценарист, Народный писатель Азербайджана. Он родился в 1938 году в Баку в литературной семье: его отец Расул Рза и мать Нигяр Рафибейли — известные поэты. У Анара музыкальное и литературное образование, он окончил филологический факультет Азербайджанского Государственного Университета. А затем в Москве — Высшие сценарные и Высшие режиссерские курсы. С 1968 года — главный редактор альманаха искусств «Гобустан». В 1991 году был избран председателем Союза писателей Азербайджана. В 1995–2000 годы депутат Милли Меджлиса (Парламента Азербайджана). За особые заслуги в развитии азербайджанской литературы и культуры награждён Премией Гейдара Алиева (2011).

Перу Анара принадлежит ряд талантливых произведений, затрагивающих, в основном, проблемы современности. Одно из самых популярных и совершенных прозаических сочинений этого автора — повесть «Шестой этаж пятиэтажного дома». Другими не менее интересными произведениями писателя стали «Комната в отеле», «Юбилей Данте», «Черный овен, белый овен»...

По сценариям Анара снято 12 фильмов, из них три фильма сняты им в качестве режиссера. По одному из его рассказов на «Мосфильме» режиссёром С. Самсоновым сделан фильм «Каждый вечер в одиннадцать» (1969).

75 Год памяти и славы Великой лет **ПОБЕДЫ**



Расул Рза

(1910–1981)

«Наша дивизия»

Я в памяти своей храню доселе
То, что запечатлелось навсегда:
Морозный сумрак, голоса метели
И кровь, подернутую коркой льда.

Шинель седая. Ложа автомата.
И Терка и Дона берега...
Даль. Небеса, обложенные ватой,
И ты идешь на запад, на врага.

Я помню, как среди огня и дыма
Плыла по лицам ненависти тень;
Я помню, как глядели нелюдимо
Развалины сожженных деревень.

Нас пепелища призывали к мести,
Пожарища чернели на пути,

Заколотые с матерями вместе,
Казалось, дети просят: «Отомсти!»

Дивизия, идущая к победам,
Высоко знамя алое держи!
Твои бойцы, которым страх неведом,
Захватывают вражьи блиндажи.

Вы доблести исполнены высокой,
Трепещет враг, едва завидя вас,—
Свое гнездо так охраняет сокол.
Как вы оберегаете Кавказ!

Везде прошли Истории солдаты.
Могучие, везде шагали вы
Сквозь гром войны, невзгоды и утраты,
Пред смертью не склоняя головы.

Отважные сыны родной отчизны,
Вас славят девушки страны моей;
Народа гордость, знаменосцы жизни,
Озарены вы зорями идей.



Вы — как таран, сметающий заслоны,
Вперед стремитесь, недругам грозя;
Вас славит Таганрог освобожденный,
Тот милый дом, где Чехов родился.

Исполненные доблести высокой,
Вы недруга сразили в славный час, —
Свое гнездо так охраняет сокол,
Как вы оберегаете Кавказ!

1943 г.

Перевод с азербайджанского Вл. ЛУГОВСКОГО



Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор
Юрий Козлов

Редакционная
коллегия:
Дмитрий Белюкин
Юрий Бондарев
Семен Борзунов
Алексей Варламов
Анатолий Заболоцкий
Владимир Личутин
Юрий Поляков

Ответственный
редактор
Елена Русакова

Права
на использование
товарного знака
«Роман-газета»
принадлежат
ООО «Роман-газета»
© ООО «Роман-газета», 2020
Все права защищены

Подписаться
на журнал «Роман-газета»
можно в отделениях связи
и через Интернет:
www.gazety.ru

Подписные
индексы издания:
в каталоге агентства
«Роспечать»
70782 на полугодие,
71752 на год;
в объединенном
каталоге
«Пресса России»
38915 на полугодие;
в электронном каталоге
«Почта России»
П1526 на полугодие

Точка зрения автора может
не совпадать с позицией
редакции

2020 №4 /1849/ Основана в 1927 г.

Анар

Амулет от сглаза

КОМНАТА В ОТЕЛЕ

Повесть

Октаю Эфендиеву

Оплакивайте бедняг осиротелых, без друга, без звука
Умирающих в отелях, умирающих в отелях...

Фазиль Наджиб Гысакюрек

Преподаватель бакинского вуза, кандидат филологических наук Керим Аскероглу, внезапно проснувшись, все еще не мог стряхнуть с себя цепкие путы дремы, сжимавшие все его существо, и, разжав слипшиеся ресницы и открыв глаза, он увидел перед собой в просвете между двумя высокими креслами копну каштановых длинных волос и головку мальчугана, уткнувшуюся в плечо женщины. И дальше за ними представляли взору ряды парных кресел, и между ними или из-за спинок женские волосы, мужские шевелюры, затылки, скулы, виски, уши, на самом конце, за рулем — лысая голова шофера, а перед ним, сквозь широкое лобовое стекло — катившееся под колеса автобуса широкое гладкое шоссе.

— Бей эфенди, что изволите — чай или кофе?

Керим, повернув голову направо, поднял глаза на обладательницу этого голоса — юную девушку в голубом блейзере и белой блузке — стюардессу автобуса. Вопрос адресовался не ему, а соседу — читавшему газету «Сабах» мужчине в клетчатом костюме и в очках.

— Пожалуйста, чаю.

Стюардесса, заметившая, что Керим очнулся от дремы, обратилась и к нему:

— Чай или кофе?

— Кофе, — сказал Керим и добавил: — Сахару — умеренно.

Он уже знал, что в Турции, заказывая кофе, надо оговаривать дозу сахара.

— Пожалуйста, — промолвила стюардесса и, налив в чашки чай и кофе, поставила их на складные столики перед пассажирами.

Керим все еще не пришел во вполне бодрствующее состояние. Хотя и эта полусидячая-полулежачая дремота причиняла физический дискомфорт, все же не хотелось отрешаться от ее неги, где исчезало ощущение времени и пространства. Наконец он стал осознавать свое местопребывание и, как бы желая утвердиться в этом осознании, обратился к стюардессе:

— Ханым эфенди... — Ему доставляло явное удовольствие перекинуться словами с этой девушкой — «душенькой», отзывавшейся на каждый вопрос, каждую просьбу с очаровательнейшей гримаской. — Долго ли еще до Стамбула?

— Четыре с половиной часа, — ответила она и улыбнулась.

Керим протер глаза и наконец-таки избавился от засасывающего, как трясина, морока дремы, глотнул кофе и погрузился в созерцание дороги, стлавшейся справа и слева от маячившей впереди лысины водителя.

Зажигалась заря. Утренняя рань майского дня окрашивала окрестность в золотисто-розовое. Но встречные автобусы, легковушки и грузовики еще неслись с зажженными фарами. Кериму вспомнилось, что некогда на дорогах Азербайджана вот так же мчавшиеся спозаранку с непотушенными фарами машины вызывали сравнение с людьми, проводшими бессонную ночь. На ум пришло выражение: «Утро встретил зрячими глазами». Усмехнулся в душе: «Обо мне-то этого не скажешь... Дрых как сурок... Уж не храпел ли?... Чего доброго, сраму не оберешься!!!»

Подумал и украдкой покосился на мужчину в клетчатом пиджаке. А тому до соседа никакого «умура». Он поймал себя на мысли, что недельного пребывания в Турции оказалось достаточным, чтобы стал думать на здешнем турецком языке: нет «умура» — то есть «нет никакого дела». И впрямь, сосед был так увлечен спортивной полосой «Сабаха», что даже забыл о своем чае.

Керим допил кофе и подал чашку стюардессе с неугасимой улыбкой, а та преподнесла ему конвертик. Распечатав конвертик, он извлек из него влажную благоухающую одеколоном салфетку, вытер рот, освежил лицо, и одновременно с ароматом, ударившим в ноздри, кольнуло в сердце. За последние два-три года он уже привык к этим внезапным приступам боли в сердце, но этот одеколонный запах пробудил в нем странное ощущение; будто в мозгу, как мгновенный луч, вспыхнуло и погасло давнее, далекое видение, настолько мимолетная вспышка, что он не успел осознать, что за картина ожила в памяти. Он легонько помассировал грудь, как бы поглаживая все еще покалывающее сердце, словно от этого поглаживания и ласки боль могла уняться. Но это было лишь механической привычкой; Керим знал, что без таблетки, которую держал в нагрудном кармане пиджака, не обойтись. Но принять таблетку не понадобилось — боль утихла так же внезапно, как и возникла, и сердце продолжило всегдашнюю работу неслышными, ровными, спокойными ударами.

Легкое, затаенное чувство тревоги не оставляло его, и причиной тому был аромат, исходивший от «одеколонной» салфетки. Вернее, воспоминание, разбуженное этим ароматом, но не уясненное Керимом.

Сосед по креслу наконец дочитал газету, сложил ее, упрятал в портфель и обратился к нему:

— Вы живете в Стамбуле?

— Нет, — отозвался Керим. — Я — из Азербайджана, живу в Баку.

— Вот как!..

За четыре майских дня девяносто третьего года, проведенных в Анкаре, Керим уже уразумел, в каком русле продолжают подобные диалоги: «Каково сейчас положение в Азербайджане? Очень пережи-

ваю из-за ваших событий... Как же вы отдали Лачин, Шушу? Почему не отстояли? Нет ли какого-нибудь решения этой самой карабахской проблемы?» — он предвидел такие и подобные вопросы. Так как он не знал ответа на многие из них и ему осточертело от бесконечных объяснений, доводов и оправданий, упреждая все расспросы, Керим сам повел разговор:

— Приехал в Анкару для участия в научном конгрессе. Выступил с докладом, по-вашему, «конфрансом». Решил на денек махнуть в Стамбул. Завтра вернусь в Анкару, а оттуда — в Баку. — И, не давая собеседнику возможности вставить в паузу нежелательные вопросы, спросил сам: — А вы — стамбулец?

— Да. В Анкару выбрался на каникулы. Сестра моя живет там.

— Где вы работаете? — вновь задал он вопрос и, удивительно, что сосед не успел и рта раскрыть, как он предугадал ответ: судя по кожаным латкам, пришитым к локтям и воротнику клетчатого пиджака, — такие пиджаки носили, как полагал Керим, одни лишь бухгалтеры, нотариусы, чиновный люд, проводящий большую часть рабочего времени за столом, протирая себе локти. Он не ошибся в догадке.

— Я нотариус... Мне остается год до пенсии.

Керим искал, что бы еще спросить, как нотариус сказал:

— Эфенди, я бы хотел кое о чем спросить у вас. Уж вы извините... Но как же так получается, что наши азербайджанские братья уступают свои города армянам? Лачин, Шушу... Мои предки тоже ведь с Кавказа, Ахалсика. Эти события очень удручают меня. Как же так, — в Боснии народ сражается до последней капли крови, защищает свои земли. Или у нас, на юго-востоке, — турецкая молодежь костями ложится... Курдов я осуждаю, сепаратисты, их извне подстрекают, но, во всяком случае, и они дерутся, кровь свою проливают, на смерть идут — пусть даже во имя ложной идеи... А азеги без сопротивления, без кровопролития оставляют свои города и все врагу. Ну разве ж такое поведение не вызывает стыд, не заставляет краснеть?

О, господи, сколько раз приходится разжевывать, талдычить одно и то же!

— Вы бывали в Баку?

— Увы, нет, не довелось.

— Приезжайте. Я вас сведу в Аллею шехидов.

«Тогда уж чувство стыда придется испытать вам», — чуть не вырвалось у него, но он не хотел уязвить при первой же беседе человека, которого вовсе не знал, потому смягчил свою мысль:

— Там, при виде сотен могил павших за родную землю шехидов вам не придется стыдиться за своих азербайджанских братьев.

Он словно впервые заметил мохнатые рыжие брови, голубые глаза, крепкую волосатую бородавку на щеке чиновника и, отчего-то решив приводить более обстоятельные доводы, пускаясь в долгие рассуждения, начал говорить о том, что эта война не ограничивается Карабахом и даже не является только лишь

противоборством между Арменией и Азербайджаном, он говорил о тайных происках и явных интересах больших держав. Война ведь, помимо полей сражений, ведется и очень-очень далеко от них, — в столицах сверхдержав, там, где сталкиваются интересы международных концернов, солидных банков, торговцев оружием, нефтью, наркотиками. Он говорил о влиянии армянского лобби в высоких московских, вашингтонских, парижских кабинетах и коридорах власти, о деньгах, богатстве, связях этого лобби, о религиозном факторе, — в который уже раз за эти дни.

— У меня создалось впечатление, что даже в столь дружественной, братской для нас стране, как Турция, армянское лобби сильнее азербайджанского, — добавил он.

Сосед терпеливо выслушал и, когда Керим закончил, произнес:

— Вы, несомненно, правы. Но как бы то ни было, мне думается, что и «война за кресла» в Азербайджане — одна из причин этих событий.

Автобус свернул с шоссе и подкатил к стоянке, где крупными неоновыми буквами светилось название «Варан», — одной из компаний, занимающейся междугородными автобусными перевозками, наряду с «Камил Коч», «Улусой», имеющей свои точки на автострадах, — как успел узнать Керим. На трассе Анкара — Стамбул автобус делал лишь одну остановку, стало быть, полпути позади.

Стюардесса обратилась к пассажирам:

— Пожалуйста, можете выйти. Через полчаса продолжим путь.

Керим, выходя со всеми, почувствовал предутреннюю прохладу и поехал, потянулся вправо, размялся, ощущая, как оживает отекавшее от долгого сидения тело, онемевшие ноги, — кровь веселее побежала по жилам.

— Не хотели бы совершить утренний намаз? — это был густобровый попутчик. — Здесь есть небольшая мечеть для путников.

— Благодарю, — ответил Керим.

Нотариус пожал плечами и зашагал с группой пассажиров к придорожному храму Аллаха. Все — в современной гражданской одежде, в галстуках, и Кериму подумалось, что у прежнего, советского человека, — каковым, несомненно, являлся и он сам, хотя уже и был гражданином новой, суверенной республики, — своя удивительная психология. В минувшие советские времена Керим и мыслившее подобно ему целое поколение произносили такие понятия, как «коммунизм», «пролетарский интернационализм», «империализм», разве что с долей иронии, скепсиса, с оттенком подтрунивания, то есть — они не могли поверить, что эти термины когда-нибудь выражали некую реальность, и воспринимали их как чисто пропагандистскую лексику. А теперь вот, в иной стране он не мог принять всерьез дружный порыв этих интеллигентных господ, шествующих на утренний намаз: может быть, они и были истово верующими, но соблюдение религиозного ритуала в такую рань, при

получасовой попутной стоянке, на Керима произвело впечатление показушности, демонстративности.

«Бедный ты советский человек! — пожурил он себя. — Ни во что веры в тебе не осталось: ни в социализм, ни в религию, ни в Бога, ни в черта... Но ведь миллионы людей веруют либо в одно, либо в другое, либо же еще в нечто, в кого-то и во что-то...»

«Я тоже верю в Аллаха, — ответил он самому себе. — Но вера — интимное, личное чувство, которое лелеют в тайне, какая нужда выставлять ее напоказ внешними ритуалами? Какой прок в этом? Нуждается ли «уджа Танры» — сие великое, недостижимое существо в столь поверхностных изъяснениях чувств?»

Вспомнились давние слова матери: «Поверьте свои сердца Аллахом». Так оно и в самом деле. Если сердце твое в ладах со Всевышним, если ты — Божий человек, наверное, в глазах Творца не столь уж важное значение имеют молитвы, пост, обряды. Как говорят турки: «онемли дейил» («не суть важна»). Он не сожалел, что не отправился в мечеть сотворить намаз. Да и не мог пойти, — не умел совершать молитву. «Что ни говори, а это тоже плоды советского образа жизни и воспитания».

— Вы не из Карса ли, эфенди?

Вопрос, прозвучавший над ухом, исходил от лысого шофера, поливавшего из шланга ветровое стекло.

— Нет, я турок-азери, из Баку.

Шофер отбросил шланг в сторону.

— Рад тебе, брат-азери! Азербайджан — душа наша! Не можете ли сказать, где можно записаться добровольцем в азербайджанскую армию? И я, и оба моих брата рвемся в Азербайджан, чтобы дать прикурить этим армянам!

В ясных серо-зеленых глазах шофера — неподдельный, чистосердечный порыв. Но эти слова, слышанные уже за несколько дней в разных вариантах, прозвучали для Керима как укор, и он, заматав головой, не ответил и направился к одноэтажной «стекляшке» на стоянке. Вошел в туалет, чтобы умыться. Стены, пол, устланные белоснежным кафелем, чистенькие никелированные краны, с сильной струей. Столь же опрятная лавка, кафе, все подметено, прибрано, все сверкает чистотой.

Вспомнились ему придорожные столовые в Азербайджане, минуты, когда рейсовые автобусы останавливались где-нибудь в гуляй-поле, у навесов, продуваемых ветрами, хриплый окрик небритого шофера, заткнувшего концы замызганных штанов в носки, наподобие галифе, в ботинках, не чистенных со времен покупки: «Стоянка пятнадцать минут! Кто опоздает — пусть пеняет на себя! Ждать не будем!»

Столовая с обвалившейся штукатуркой, выцветшие, обшарпанные клеенки на колченогих столах, — облокотиться — прилипнешь, мутные стаканы, треснувшие тарелки, искореженные алюминиевые вилки и ложки, ядовито-зеленые мухи, облепившие открытую сахарницу. (Главное мушиное полчище осаждало мангалы на подворье, возле которых на заляпанной кровью колоде рубили и нарезали мясо.)

И еще — выброшенные тут же, у столовой, в кусты тамариска ребрышки, косточки с так и не разжеванным жестким мясом, и кидающиеся на эту поживу родные собаки... Поодаль — будка уборной, обшитая досками только с трех сторон, да и то с щелями, зловоние, бьющее в нос за полсотню шагов...

Отчего же здесь, где по трассе на дню проходят тысячи легковых машин, люди останавливаются на привал, отдыхают, столуются, — и ни единой мухи, ни одной голодной дворняги, все сияет чистотой? Будут ли у нас когда-нибудь такие же удобные автобусы с мягкими, как подушки на лебяжем пуху, креслами, с рессорами, упруго качающими тебя как в зыбке, такие же гладкие дороги и вдоль них — такие же чистенькие опрятные пристанища?

Керим подошел к прилавку. За стеклами витрин — всевозможная снедь, закуски, фрукты, соки, напитки, чей вид уже говорил, какая это вкуснота, дразнящие аппетит, мягкие, как вата, чуреки.

За доклад на конгрессе ему дали полмиллиона лир. Часть денег ушла на автобусный билет; оставшееся на однодневное пребывание в Стамбуле и расходы на обратную дорогу в Анкару, тысяч десять—пятнадцать он мог себе позволить израсходовать на завтрак.

Как же неожиданно Садяр изменил свое решение! Впрочем, не так уж и неожиданно. Причина была ясна.

Садяр считался руководителем мини-делегации, состоявшей из него самого и Керима, и поначалу никак не хотел, чтобы Керим ехал в Стамбул. А потом чуть ли не настоял: непременно надо.

Ясно, где собака зарыта. Вспомнив о Садяре, он почувствовал и саднящую боль в ступнях: туфли жали. Относительно новые, эти туфли принадлежали Садяру. Садяр прихватил с собой на дорогу две пары (а может и больше) туфель и в первый же день, по прибытии, глянув на обувь Керима, засокрушался:

— Послушай, ты ж солидный человек, что за старье носишь? На вот, бери мои, обуйся!

Керим, было, замылся, стал отнекиваться, но ведь тут и не раскошешься на новые туфли: свои и впрямь пообносились, утиль, можно сказать, зорно в таких на люди выходить.

— Завтра тебе с докладом выступать... Носи мои. В Баку вернешь...

И, чтобы положить конец «интеллигентской шепетильности» Керима, Садяр взял и вышвырнул старые причиндалы Керима с двенадцатого этажа во двор, — когда тот принимал душ...

Керим не знал, возмутиться ли, обидеться или выразить благодарность, удовлетворение. Словом, в конце концов обулся в Садяровы мокасины на полразмера меньше, но понемногу разносились, да вот теперь, поди же, опять жмут, — должно, быть, в автобусе ступни взопрели, раздулись.

В эти дни ему понравилось турецкое блюдо «бойрек» — кусок мяса в тесте. К тому же дешево. Взяв порцию бойрека, стакан айрана, поставил на поднос

и, подойдя к кассе, заплатив двенадцать тысяч лир, сел за столик. Оказывается, здорово проголодался, — с аппетитом съел бойрек, отпил глоток айрана и... снова почувствовал острую боль в сердце. Внезапно из глубинных пластов памяти всплыли клочки воспоминаний — вкусовых ощущений, запахов, видений, переплелись, зацепились друг за друга, и вся эта мозаика памяти обнажилась, как полная улова рыбачья сеть... Вкус айрана... перенес его в полувековую давность, когда он мальцом испил айран в горах Лачина, — в Истису... Вкус айрана повлек за собой и воспоминание о вкусе сюзьмы — творога. Там, в Истису, у войлочных кибиток, между «ян чубугу» и «гядя чубугу» («боковая жердь» и «матерая жердь») была протянута веревка, увешанная бельем, и еще, помнится, висела белая торба, с которой стекали белые капли. Наутро они ели сюзьму, извлеченную из той белой торбы, и та давняя сюзьма по вкусу напоминала сегодняшний айран. Вместе с памятным вкусом всплыли и запахи, оставшиеся на далеком берегу жизни, — душистый запах чабреца, угольных головешек в самоваре, запах можжевеловых дров, потрескивающих в огне; и он понял, что и недавний аромат одеколонной салфетки отозвался в душе запахом цветущей — раскидистой липы... С памятью о вкусе, о запахах оживали в воображении разрозненные картины, сцены, лица из детства.

Только что окончилась война. Отец уже демобилизовался, но еще не вернулся с украинских краев. Летом мама привезла маленького Керима в свой родной город — Шушу, к тете Семае. У Керима сызмала было неладно с почками, и маме посоветовали подлечить мальчика в лачинском Истису.

Отправились на конной арбе — муж Семаи Мурсал (он был за возницу), мама и маленький Керим. Кузов арбы устлали мафрашем и умостили тюфяками, подушками, одеялом — когда у Керима обострились боли, укладывали его в походную постельку. Утихнет боль — и он тут же вскинет голову и глазает с крутой извилистой дороги на распахнувшееся приволье. Вся округа была феерическим царством бьющих, kloкочущих родников, со звонкой, студеной водой, от которой ломило зубы. Он даже поспорил с дядей Мурсалом, что продержит руку в струях родника Айгыр-булаг минуту, но не выдержал и полминуты — пальцы окоченели, хотя и был август, еще, как говорится, овцы не нагуляли жиру. Вокруг низвергались россыпи водопадов, на склонах белели русла высохших ручьев, из-под земли там и сям били струи. С грунтовой дороги, карабкавшейся в горы, виднелась на дне ущелья речка Сабух, изумрудно-искрометная от отражения окрестных лесов, и дядя Мурсал, глядя на вскипавшую на перекатах пену, говорил, что Сабух спешит к реке Хакери, чтобы поведать ему свои заветные тайны. В Истису в трех местах из-под земли била вода, но не студеная, как в прежних родниках, а горячая и целебная, и эта живая вода сулила исцеление маленькому Кериму. Дядя Мурсал опять завел свое: хочешь, мол, поспорим

(любил он спорить); засеки время по маминым часам, когда стрелки совпадут, вот из того ключа забудет фонтан. И впрямь, вода извергалась минуты три-четыре-пять за час, а после унималась.

Мурсал-киши понимал язык природы. Бывало, набежит туча, и Керим с мамой хотят укрыться в войлочном мухуре, а Мурсал говорит: «Не бойтесь, дождя не будет, тучка-то яловая».

— Мурсал-дайи, а зачем ты красную тесьму привязал к той вон балясине?

— Перейму боль твою затем, чтоб ласточка там не гнездилась. Красный цвет ее и отвадит.

Очень любопытна была и «теория наследственности», по дяде Мурсалу: «Такой-то хромал — потому и у козы его детеныши хромоногими народились».

А Семая-хала знала назубок, какая травка, какой цветок против какой хвори помогает. Лечила маленького Керима настоем шиповника, а колики в животе унимала отваром из черенков мушмулы.

Из далеких снов памяти всплыл и вкус тмина, чуть отдававший вкусом маковых зернышек; вкус поджаренной кизиловой луковки, плова с гречишником, сваренного Самаей-халой, напоминавшего на вкус мамин плов, приправленный щавелем, с той разницей, что в плове со щавелем рис оказывался темно-серым, а с гречишником — пышным, белоснежным, зернышко к зернышку.

Мурсал-дайи водил с собой маленького Керима по горному приволью и показывал щедрую земную благодать:

— Вот это лилпэр, всегда к чистой воде тянется, гляди, какие большущие листья у него, а это вот — росянка, в самую жарину у нее роса остается на лепесточках. А этот цветок с желтыми лепестками — лилия, поодаль тоже с желтым венчиком — целебная головчатка, вот норичник, вот — щавель, ну, а этот цветочек — ромашка.

Слышал, наверное, тысячелистник, вот портулак, вот звездчатка... А вот тебе еще лекарство — чистотел, это хорошо знает твоя Семая-хала. Это — мать-и-мачеха, а там дурнишник растет. Вон деревце, что корнями в скалу вцепилось, — каменное дерево... На вот, пожуй эту травку, зубки прочисть... — И Мурсал-дайи протягивал ему пушистый, как бархат, серебристый листочек. — А это держидерево, с его цветов пчелы сок собирают, и мед потому отменный, сладкий получается... Слышишь птичьего голоса? Это кеклики перекликаются... Ты тут поберегись, а то крапива ножки твои обожжет... Гляди на деревья, запоминай: вот — кипарис, вот — тополь, вот — вяз, а эти, кряжистые, — грабы... Вот богатыри наши — дубы. Дуб сперва корни поглубже в землю пускает, а уж потом в рост идет. Лет девять — пятнадцать укореняется, упирается и тянется ввысь, и стоит, и живет — пятьсот лет, тысячу и дольше... А вот липа — царица лесная, и тень от нее — на всю округу, и вода из-под нее всегда хорошая, вдобавок, от липового цвета и мед на славу. Да... под липой и прохлада, и услада, и водицы — не напиток...

«И запахом — не надыхаться... Мир праху твоему, Мурсал-дайи... Вот в какую даль занесло запах цветущей липы, вот где он настиг меня, через полвека, — здесь, на полпути между Анкарой и Стамбулом... и всколыхнул, наваял ворох воспоминаний... Уж сколько лет, как ты покинул мир. И Семая-хала ненадолго пережила тебя... Знали бы вы, какие напасти нагрянули на нас, какие беды стряслись с нами!»

Керим и позднее, во взрослую пору жизни, бывал в лачинских краях, поднимался в горы Сарыбаба, на Эйлаг Гырх-гыз, к озеру Гарагёл, и теперь названия далеких урочищ и отметин родной земли отзывались в памяти будто кто-то нашептывал их на ухо: Яглы-булаг, Гызыл-гая, Кечили-дагы, Пери-чынгылы, Айгыр-гаясы, Шиш-гая, Дашлы-юрд, Кётан-гаясы, Ейвазлы-дагы, Новлу-булаг...

Теперь все эти места были захвачены армянами.

Он взглянул на часы. До отправления автобуса оставалось десять минут. Он вышел из столовой «аквариума», начал прохаживаться. Уже совсем рассвело. Недавние богомольцы уже расселись за столами в столовой.

Керим свернул направо и зашагал к роше между стоянкой и мечетью. Дошел до опушки, заглянул вниз, — сквозь густые заросли проступало и таяло дно долины, где бежала речка. Проступало и таяло потому, что оттуда, с низов, поднимался по крутизне клочковатый туман, местами плотно устилая долину белым ковром. Местами он клубился, густел и полз тяжело, а кое-где вился и взмывал дымчатыми бурунами, оставляя там и сям разрозненные клочья, как взбитая неким гигантским хлыстом шерсть, и в просвет между этими клочьями сиротливо и неприкаянно выглядывали деревья из невидимого густолесья.

Керим провел ладонью по ветви, листьям ближайшего дерева и ощутил влагу, — это была не роса, а след тумана...

...Здесь, на юру, уже была не автобусная стоянка компании «Варан» на автостраде Анкара — Стамбул, а Шуша... И речка, неслышно бежавшая по дну ущелья, подернутого туманом, была речкой Дашалты, и лес, покрывавший склоны, был «Топхана-мешеси», и он, Керим, стоял на плоской площадке Джидырдозю, у пещеры Мелика Шахназара, откуда справа виднелась вершина горы Кирс, а слева — скала Эримгяльди, и еще в дали взору Керима представала гора Багрыган, — один из коллег-этимологов утверждал, что подлинное название ее не Багрыган, а Богра-хан.

Этот клочковатый, изодранный туман вился над Шушинским горным простором, и, не будь этого тумана, можно было бы разглядеть на крутом склоне и старинное убежище — приют Ибрагим-хана. Рассейся этот туман, он бы выискал взглядом и уступчатую крутизну — «Гырх пиллекан»¹ и, спустившись, ступень за ступенью, на дно ущелья, припал бы к пенным струям Дашалты и испил бы воды. Испил бы и из родника Иса-булагы, а повыше от него еще и

¹ «Сорок ступеней».

родник Сулеймана, два родника, но вкус воды у каждого особый, неповторимый. А еще — Туршсу, а еще Ширлан... И зажурчали шушинские ключи, а еще вспомнились их звук и смак — Сахсы-булаг, Ястыбулаг, Чарых-булаг, Секили-булаг.

Слезы душили его. Вспомнилась строка из стихов погибшего в вертолете (Анар предлагал по-азербайджански называть эту машину «дикучар») — журналиста Алы: «Безумно хочется мне разрыдаться...»

Он не был знаком с Алы, видел только по телевизору. Из погибших во время того рокового полета знал только Вели — когда-то их свела работа в архивах. Вели занимался документами, связанными с Наримановым. Благородной души был человек. Мир его праху. Это был «человек Аллаха», как говаривала матушка.

Он вспомнил о матери. Пять лет, как ее не стало, с другой стороны, думалось, Господь смилостивился над ней. Она бы не пережила трагедии Шуши.

И родилась ведь в Шуше. Там и познакомилась с прибывшим в фольклорную экспедицию Аскером — будущим своим мужем — отцом Керима. И свадьбу в Шуше сыграли у Иса-булага. А какие знаменитости пели на торжестве — Хан, Зульфи...¹ Там, в Шуше — могилы деда и бабушки. Там — последний приют Мурсал-дайи и Семаи-хала...

Шуша оживала в душе Керима — пядь за пядью, голосами, звуками, запахами, и ему чудилось веяние прохладного ветра с горы Кирс, ласкающего волосы, лицо, наполняющего грудь свежестью, и казалось, крупные капли слепого дождя орошали его лицо, и он словно ощущал вкус душистого чая, настоящего на чабреце и головчатке, и медовый запах цветущего пшата, и тревожно приятный аромат липы, и мятное, терпкое благоухание холодянки, и до слуха доносилось берущее за душу пение Гадира² из сада Хан-гызы³. В это мгновение он ощущал Шушу всеми чувствами, всеми фибрами души...

От Семаи-халы осталось трое детей — Адиль, Зарифа, Лятифа. Зарифа перебралась в Баку, а остальные жили в Ходжалы. Они все приезжали почтить память матери Керима, но после траура их связи прервались, и они как-то не удосужились искать встреч.

Двадцатого мая девяносто второго года — Керим крепко запомнил этот день — в квартиру Керима, — он жил в поселке Мусабекова — постучались. На пороге стояла незнакомая женщина. Ее изможденное, увядшее, потемневшее лицо являло следы невообразимых мук и страданий.

— Ты не узнал меня, Керим? Лятифа — я, дочь Мурсал-киши.

Когда разразилась беда в Ходжалы, Керим, услышав об этом, сразу же позвонил Зарифе. Соседи отвели, что ее ударил паралич, отнялась речь, а от

ходжалинской родни нет никаких вестей, вероятно, все погибли. Оказалось, Лятифа жива.

Он ввел в дом, усадил. Воцарилось молчание.

— Как Зарифа?

— Сейчас ничего... — отозвалась Лятифа, медленно, трудно выговаривая слова.

Керим не решался спросить об Адиле. Собрался с духом:

— Адиль?

— Адия... убили армяне... — произнесла Лятифа странно отрешенным, безучастным голосом. Лицо ее казалось окаменевшим. — И Адия, и Кямала... — Добавила: — Я об отце моих детей... То есть одной-единственной дочурки моей. И она... трех лет от роду погибла...

Опять бесконечное, мучительное молчание. Керим, глядя на нее, подумал: «Как изваяние скорби... Одеревеневшее, окаменевшее горе, ходячий памятник погибшей семье...»

Она продолжала все тем же тихим, ничего не выражающим голосом:

— Армяне дали срок — четыре дня, чтобы все покинули Ходжалы... Обманули нас. Через пару часов началась стрельба. И наши, свои, нас обманули... Мы, женщины, порешили пойти на минное поле, сами подорвемся, а танкам нашим дорогу откроем. Не пустили... Обманули... Кямал велел мне с соседкой Бильгеис уйти из села, а мы, мол, останемся и будем биться до конца. Я воспротивилась. Кроху свою, Семаю, вверила Бильгеис, а сама осталась... Сперва они убили Адия, потом и Кямала. Потом дошел слух, что и Бильгеис в лесу подстрелили, но ребенок уцелел. Кинулась в лес, двое суток металась, искала... наконец, нашла... трупик моей Семаи... Не от пули... Замерзла кровиночка моя. Ползла — ползла на четвереньках в снегу, околела — и все... Ручонки сплошь в колючках. Я их, колючки-то, по одной, по одной повибаскивала, могилку вырыла... похоронила деточку мою.

...— Сайын йолчулар, атобуса бинменизи риджа эдийоруз!⁴

Едва сев в кресло, Керим надвинул козырек кепки на глаза, делая вид, что задремал. Ни с кем говорить ему не хотелось. До самого Стамбула ни на минуту не вздремнул.

Когда автобус сделал первую остановку в Стамбуле, сосед потянул его за рукав.

— Бей эфенди, не здесь ли вам сходить?

— Это — Таксим?

— Нет, мой эфенди. До Таксима еще далеко. Это...

Он назвал какое-то местечко, но Керим не расслышал. Главное, уяснил, что не Таксим. Нотариальный чиновник протянул ему визитку.

— Будете в Стамбуле — милости прошу в гости. Буду рад.

«Разве же мы не в Стамбуле? — удивился Керим. — И уж если чаешь меня видеть в гостях, чем не

¹ Хан Шушинский и Зульфи Адыгёзалов.

² Гадир Рустамов, известный певец.

³ Хан-гызы — дочь хана. Так в народе называют Хуршуд бану Натаван — знаменитую поэтессу, классика азербайджанской литературы, дочь последнего карабахского хана.

⁴ Уважаемые пассажиры просим вас сесть в автобус! (тур.)

подходящий случай?.. Ну, а если это простая любезность, — и на том спасибо».

Чиновник, извлекая свой «дипломат» с верхней полки, проговорил:

— Уж вы не обессудьте за мои разговоры, если что не так сказал...

Керим кивком головы дал понять, что общение не было ему в тягость.

— Вы, братья-азери, не падайте духом, — чиновник гнул свое. — Мы придем к вам на помощь и избавим от армян!

— Отлично! Вы избавите нас от армян, а мы придем к вам на помощь и избавим от РПК¹.

Нотариус, не ответив, попрощался кивком головы и сошел с автобуса.

Автобус двинулся дальше, проехав через мост над Босфором, выбрался из Азии в Европу и затормозил на остановке напротив германского консульства.

— Всего доброго, до свидания, — любезно улыбнулась стюардесса.

— Да хранит вас Аллах, — отозвался Керим, перекидывая ремень сумки через плечо.

* * *

Это была первая встреча Керима со страной, которую он мечтал увидеть всю жизнь, которой грезил долгие годы и знал ее лишь понаслышке, по радиопередачам, попадавшимися от случая к случаю в руки книгам, журналам и газетам. У коллег, в последние годы зачистивших в Турцию, ездивших туда, как ходят по воду, он попросил привезти ему подробную карту Стамбула и вывесил ее у себя над кроватью. Первое, что он видел каждое утро, открывая глаза, были части легендарного города, разграниченные Мраморным морем, Босфором, Халичем, и он твердил, как стихи, названия этих зон и других районов Стамбула: Фенербахча, Гаракей, Гадикей, Усгюдар, Бейоглу, Гызылторпаг, Аджибадем, Нишанташ, Бешикташ, Кафаташ, Шишли, Мачка, Мода, Фатех, Лалели, Агсарай, Баязид... — в воображении «шагая» по этим улицам, кварталам, проспектам, «переходил» по мосту Галата из Сиркечи в Гаракей, «садился» на катер и, «проплывая» по Босфору мимо Гыз-гуллеси, вокзала Хейдарпаши, шептал про себя строки Яхьи Кемалы:

Вчера, когда ваш дом взрывался смехом, ваша милость,
Мне в лодке мимо бухты плыть случилось...

...Мысленно он сходил с судна на пристани Гадикей. На той самой пристани, о которую тоскующий на чужбине Назым Хикмет хотел бы биться, обернувшись волной, когда в «вапор² Мемет садился с мамой...» Воображение вело его в парк Гюльхане, где росло ореховое дерево, ностальгически воспетое Назымом: он мысленно бродил по базару Гапалы-чарши, рылся в стеллажах книгопродавцев в Сахафларе, гу-

¹ Подразумеваются курдские сепаратисты, занимающиеся террористической деятельностью.

² В а п о р (*тур.*) — пароход, судно.

лял по проспекту Истиглал, пил кофе в пассаже Чичек, дойдя до Таксима, оттуда по узким кривым улочкам спускался на набережную, подходил ко дворцу Долмабахча, и по аллее, («Бульвару туманов», — как называл ее Атилла Ильхан), тянувшейся меж крутых крепостных стен и с другой стороны обставленной домами и заслоненной деревьями, устремлялся к Бешикташу и, как Орхан Вели, замороженно слушал многоголосье «Гапалы-Чарши, и щебетание Махмутпаши, дворы, где голубей полным-полно лотков — на доках — стукотню и аромат весенних ветерков...» — он: «слушал Стамбул с закрытыми глазами»... И вот теперь, когда он не в грезах, а наяву поднимался к площади Таксим, когда он подступал к Центру культуры «Ататюрк», ему показалось, что он уже не однажды бывал в этих местах, что он исходил их вдоль и поперек. Может, это оттого, что он смотрел на Стамбул как бы глазами отца. Конечно, отец не мог бы увидеть Центра культуры имени Ататюрка, — эта современная стеклянно-бетонная глыба была возведена на много лет спустя после кончины его. Отец умер в пятьдесят шестом. Керим узнал памятник Ататюрку на площади Таксим по давним рассказам отца, который говорил, что в Стамбуле азербайджанцы назначают встречи именно здесь, у этого монумента. Отец некогда, в двадцатые годы, учился в стамбульском вузе, был студентом у Кёпрюлю, Зеки Валида Тогана, Джафароглу, слушал в Чинаралты беседы Ахмеда Хашима, Орхана Сейфи, Фарука Нафиза.

Керим перенял у отца многое, но главных обретенных было три — отец обучил его старому алфавиту, влюбил в волшебную «Книгу Деде-Коркуд» и заворочил неведомой Турцией, украдкой, наедине, с опасливой оглядкой (будто их тесная комнатка на Чадровой улице была напичкана подслушивающими микрофонами), читая ему стихи турецких поэтов, и рассказывая о достопримечательностях Стамбула...

Тем не менее, он не хотел, чтобы Керим стал тюркологом: «Тюркология в Советском Союзе — поприще, находящееся под недреманным оком ЧК, ГПУ, НКВД... Так будет и впредь».

...Порой Кериму казалось, что он ощущает даже вкус йогурта, который некогда отведал отец в Ганлыджа. По вечерам отец нашаривал в эфире Турцию по радиоприемнику Т-6, чем-то напоминавшему мамино пальто-реглан, слушал последние известия или нескончаемые, тягучие мелодии. Иногда и сам подтрунивал над этой «долгоиграющей музыкой»: «Когда приехал в Турцию — услышал по радио длинную песню, проучился два года, еду домой, — а ту песню все еще не допели...»

Керим замечал, что всегда, прослушав Турцию, отец меняет настройку, оставляя стрелку на волне Баку или Москвы. К ним заходили соседи, родня, вообще визитеров хватало, и отец, в тридцать седьмом арестованный и посланный в места не столь отдаленные, был не в меру мнителен, подозревал чуть ли не в каждом приходящем в дом осведомителя и

стукача... Таких он называл «йонджа» — словечко, которое употреблял в семейном кругу, в разговорах с матерью, «Имярек, сдастся мне йонджа», «Да, похоже...» Керим впоследствии уразумел этот образный ярлык: «йонджа»¹ — трава как бы вездесущая, потому и энкаведешные стукачи, у которых всегда и везде ушки на макушке, удостоились такого сравнения.

Двух лет обучения Аскера в Стамбуле оказалось достаточно, чтобы прилепить ему клеймо «пантюриста». Он еще хорошо отделался, — не расстреляли, а уехали в ссылку, в Томск. Аскер, владевший в совершенстве арабским, фарси, русским, английским и даже латынью, по счастливому везению или чьему-то тайному благорасположению, смог устроиться на учительскую работу. Ирония судьбы в том, что сей «пантюрист» и «панисламист» преподавал там основы марксизма-ленинизма!

Началась война — и «неблагонадежного» ссыльного учителя уехали в штрафной батальон. На фронте отличился и, благодаря полученным орденам и медалям, смог в сорок шестом вернуться в Баку, к семье. Он продолжал слушать Турцию по «Т-6». Как-то Керим — ему было тогда лет девять-десять — заметил, что после очередного «турецкого» сеанса отец отчего-то забыл перевести настройку — для отвода глаз. Мальчик исправил промашку, покрутил переключатель и поставил указатель на Баку. Отец уставился на сына долгим озорпелым взглядом, потом растроганно привлек к себе и чмокнул в лоб: «Ах ты, мой умница!» До того он лишь однажды поцеловал сына: когда вернулся с войны.

Кериму подумалось, что именно с того дня между ним и отцом возник доверительный контакт: кажется, отец впервые ощутил, что сынишка повзрослел и стал понимать многие вещи. Может, потому и взялся с той поры посвящать его в турецкую поэзию, читая стихи. Кому тогда могло прийти в голову, что в один прекрасный день Керим будет вот так, без всякого «йонджи», недреманного ока, «хвоста» свободно ходить-бродить по стамбульским улицам!

Аскера во второй раз арестовали в начале пятидесятых. Двумя днями раньше на ученом совете учинили расправу над «Книгой Деде-Горгуда»², и на Аскера обрушился грома и молнии Чопур Джаббар. На рябом лице обвинителя громоздился длинный крючковатый нос, под которым топорщились короткие — на манер довоенных райкомовских и исполкомовских чинов — усики, похожие на чернильную кляксу.

— Тебе не удастся отвертеться! — громыхал Чопур Джаббар. — Не ты ли, Аскер, больше всех в республике усердствовал, превозносил «Деде-Горгуд»? Имей же мужество, встань и признай свои грехи! И изволь растолковать: какое отношение имеет этот дастан к нам? Когда, скажите на милость, наши предки ели конину и пили кумыс?! Это все ты протаскивал подобную ересь из Турции, — видно, там тебе хо-

рошо запудрили мозги! Ты вот в своей статейке трижды упоминаешь имя Рифата Килисли, ровно семь раз — я подсчитал! — делаешь реверансы Кепрюлю, восемь раз кланяешься в ножки Орхону Шаику³...

— Я лишь ссылаюсь на этих ученых, — ответил Аскер устало, но, не выдержав, взорвался: — Иди и «стучи» куда хочешь!

Это слово дорого обошлось ему. Одно слово, из-за которого все пошло прахом. Может, не сорвись оно с уст, дело кончилось бы увольнением, научной опалой. То, что Чопур Джаббар — стукач, было ведомо всем. Но Аскер впервые открыто заявил об этом.

А тот и бровью не повел.

— Я горжусь... горжусь тем, что всегда срывал маску с лица таких врагов народа, как ты... разоблачал, разоблачаю и буду разоблачать!

Ночью родители извлекли из домашней библиотеки кое-какие книги — в их числе и Бартольда, Гордлевского — и сожгли.

Запах горелой бумаги надолго запомнился Кериму, и с тех пор всегда бумажная гарь напоминала ему ту жуткую ночь. Отец еще в молодые годы, возвращаясь домой из Стамбула, привез с собой горсть земли с могилы Тофика Фикрета в Ашияне, и дома эта горсть хранилась в молитвенном узелке матери. В ту ночь отец вспомнил и об этой реликвии, опасаясь, что и она может послужить уликой, но выкинуть на улицу не решился; развязав узелок, высыпал землю в кадучку с фикусом.

Его увели спустя две ночи. Вернулся через два года. Сталин уже умер, Мирджафар Багиров был разоблачен, «Деде-Горгуд» — «реабилитирован», времена менялись. Аскер в Сибири отрастил бороду, «заработал» цингу и потерял зубы. Случилось ему после ссылки встретиться на улице с Чопуром Джаббаром — тот устремился к Аскеру с расплывшейся в заискивающе-жалкой улыбке физиономией, в которую был впечатан смачный плевок...

...Боже, какие фортели выкидывает фортуна! Тот ли это Чопур Джаббар, который... Керим обуздал распалившиеся мрачные мысли. «Перестань! — одернул себя. — Хватит об этом, ради Аллаха! Какого черта!» Стоило ли вспоминать противную рожу стукача в такой дивный майский день, пропитанный головкружительным благоуханием магнолий, когда он спускался от Таксима к ослепительному Босфору!

Отца после ссылки будто подменили. Насколько воодушевленным, бодрым вернулся он с фронта, столь же измученным, изверившимся и потухшим предстал после второй ссылки. Всегда озабоченный, погруженный в гнетущие думы. Похоже, и к работе остыл. Уже и не было ни желания, ни сил допоздна засиживаться за столом при свете лампы с зеленым абажуром, рыться в старых фолиантах, перебирая и разглядывая в лупу ветхие рукописи. Да и турецкое радио перестал слушать. Только когда речь зашла о Стамбуле, однажды

¹ Йонджа (азерб.) — клевер.

² «Книга Деде-Горгуда» — азербайджанский эпос, объявленный в 40-х годах антинародным и чуждым.

³ Р. Килисли, Ф. Кепрюлю, О. Шаик — турецкие ученые-горгудоведы.

вздохнул: «Иншаллах, настанет день, когда и тебе доведется побывать там... Ты будешь очарован этой страной... заморожен... тебе все покажется сном...»

И вот этот желанный день настал, и действительно, он словно был опьянен, и все казалось волшебным сном.

* * *

Обойдя стадион «Инёню», он вышел к набережной Босфора. Взглянул на часы: одиннадцать. В университете ему надо быть к двум, — так он условился в телефонном разговоре с Бехиджа-ханым, позвонив из Анкары. Присел на скамейку, где было запечатлено название газеты «Хурриет». На рейде стоял белоснежный лайнер с надписью на борту: «Тюрк дениз йоллары». Между азиатским и европейским берегами сновали двухпалубные теплоходы с пассажирами. По глади пролива мельтешили тархтящие моторные лодки. Вдоль береговой кромки, прямо на парапете, расположилась рыболовы, закинувшие снасти в море. На соседней скамейке миловалась парочка, он с ниспадающими на плечи космами, на затылке перехваченными лентой, она с короткой стрижкой, оба в голубых джинсовых костюмах. Парень насвистывал какую-то мелодию; она показалась Кериму знакомой, и он, вспомнив, удивился; это был финал Девятой бетховенской симфонии. Кажется, впервые в жизни он слышал подобный симфонический свист.

Если отец пристрастил его к истории и литературе, от матери он перенял любовь к музыке, приобщившись к миру европейской классики и мугамам. Мать, врач по образованию, не являлась профессиональным музыкантом, но обладала звучным, приятным, как все истые шущинки, голосом и на фортепиано играла недурно. Керим вспомнил, что еще мальшом любил слушать мамину игру... Почему-то ему особенно нравился «Траурный марш» Шопена; бывало, подойдет к матери, прильнет шейкой к щеке: «Мама, сыглай-ка мне «мелтвецкий малш!» И слушал тихо, молча. Мать удивлялась: «Валлах, похоже, наш мальчик станет композитором».

Нет, не стал.

К музыке он питал отношение двойственное. Была музыка, которую безумно обожал, и была иная, которой... боялся, как пытки. У него была масса пластинок, кассет. Любил слушать во время работы, писанины, чтения, — проигрывал самые нежные, трепетные, возвышенные вещи — «Адажио» Альбиниона, Вивальди, Баха, Моцарта, Прокофьева... И национальную — мугамы в исполнении Гаджибабы, «Лейли и Меджнуна» Узеирбека с Рубабой — Лейли; народные песни — Бюльбюль, Рашид, Акиф, и еще Фидан, ария Гольчокры... Не мог наслушаться. Он давно забыл, когда, в какие времена впервые услышал все это, но, слушая вновь, точно знал, какие эмоции, какие переживания проснутся в душе, — это были неизменные чувства, стабильная музыка, постоянная собеседница души. Он не испытывал никакого беспокойства, извлекая из фонотеки и проигрывая знакомые записи. Но не при-

веди бог, если случится вдруг услышать по радио или еще где мотив, напев, некогда услышанный и давным-давно канувший в сны памяти... И тогда под наплывом оживших мгновений, часов, дней, лиц, заполнивших память, разбуженных одной только музыке присущей магией (исключая разве что запахи), Керим не знал, куда бежать, как спастись от этого мучительного нашествия воспоминаний... Внезапно его взору являлись то отец, то мать, любимые образы, утраченные друзья, — словом, жестом, улыбкой, вздохом сожаления...

В памяти проступал белый-белый, крашенный извесью дом в молуканском селе. Теплое летнее утро, парное молоко, выпитое спозаранку, ночной лай сердитых собак, гроздь крупных звезд, повисшие в небе, цепляющиеся за ноги «собачки» с репейника, ими дети кидались друг в друга, и колючие шарики лепились к одежде.

...Как они отправились с Тамиллой в поход по Куре, — господи, какие они были молодые, только что поженились, и это плавание было как свадебное путешествие. Идею подал их сокурсник Садяр, вернее, его брат, живший в Нефтечале. Как его звали? Надо же, запоматывал! «Давайте я вас покатаю в лодке по Куре», — предложил он в те свадебные дни. Не поленились — поехали, молодо-зелено, море по колено. Брат Садяра встретил-приветил их честь по чести, усадил в лодку и айда по Куре... Миновали Сальянский мост — дальше Кура стала изгибаться, пошла зигзагами.

...Кинолентой замелькало перед глазами: подросток лет пятнадцати, несущийся на неоседланном жеребце, следом припустила собачка... У кромки воды — босые женщины с подобранными подолами, полошущие белье, в запруде барахтаются горластые ребятишки, озоруя, макая друг друга с головой в воду. На берегах кипела жизнь. А на самой реке ни души, никого, кроме их тупорылой плоскодонки с единственным веслом, ни посуды, ни плота, ни парома... Трое суток они плыли вверх по реке, ночуя в прибрежных селах, и ни свет ни заря вновь продолжали путь. Однажды остановились на ночлег у родственников Садяра, которые разводили гусениц шелкопряда в особом помещении, где был свой температурный, световой режим. Название села выпало из памяти. «Гусеница должна четырежды погрузиться в спячку, — объяснял хозяин, — как отоспится вдосталь — уплетает листья с великим аппетитом...»

Долма из виноградных листьев — та, которую он вкусил у родича Садяра, была ему внове, с рыбной начинкой; нарезанные кусочки заворачивали в листья и держали над огнем; затлеют, загорятся листья — долма готова... К этому запаху примешивался и другой — так густо и терпко пахнут растолченные косточки засушенного борщевика. Запомнился ему и вкус куринской воды, процеженной в ноздреватом, пористом камне...

Брат Садяра — смуглолицый, лихой, в глазах чертики бегают. Как его звали, дай бог памяти... Однажды, когда они бродили по лесу, Тамилла, заметив ко-

лучее существо, приняла его за ежа и хотела было ухватить, но их провожатый стремительным движением удержал ее за руку: «Это тебе не малышка-ежик, а енот! Вскинет свои иглы — держись! Может и стекло машины, и жезь продырявить. А если человека кольнет — ранит не на шутку, к тому же иглы ядовитые...»

Брат Садыра... Ага, вспомнил, Садыхом его звали, говорил, что иглы у енота как «шариковая ручка» (тогда такие ручки только входили в моду). Отец братьев когда-то был речным капитаном на Куре, водил еще колесные суда, и детство Садыра и Садыха прошло, можно сказать, на борту, — Кериму помнились названия этих посудин — «Чапаев», «Абхазия», по словам Садыха, резвые были суда, бегали по реке по течению со скоростью двадцать пять километров в час, против — двадцать. Каким образом он запомнил эти цифры? Мог бы биться об заклад за точность. Странные прихоти у памяти, в нее порой западают совершенно ненужные вещи, а вот важные — забываются. Каким же причудливым таинственным законам подчиняется память? Садых рассказывал, что в свое время большие сухогрузы из Астрахани шли до Сальян, заходили в Куру и плыли вверх по течению аж до Сабирабада, Моллакенда, Зардаба, Евлаха. По ночам держались ближе к берегу, и мы слышали рев кабанов из тугайных лесов. Хороши были Гахайские леса под Агдамом, но самыми красивыми были леса Садайбека... До строительства Мингячевира, в половодье, Кура порой поднималась настолько, что мы проплывали затопленным лесом в лодке до Агджебеди. В те времена створ реки столбили деревьями — по ночам они служили как бы маяками...

На второй день они доплыли до места слияния вод Куры и Аракса. Керим с Тамиллой мечтали увидеть это место, еще во времена помолвки поклялись, что обязательно должны посмотреть слияние двух рек. По сути, их куринский круиз и начался с разговора об этом и хотя Садыр, заверивший их — «беру на себя», сам не смог участвовать в их путешествии, готовился в аспирантуру, но перепоручил Садыху, которому было достаточно одного слова старшего брата. Он окружил гостей таким вниманием, что им казалось, что век будут в неоплатном долгу перед радушным хозяином. А вот, поди же, теперь Керим чуть было не запечатывал само имя Садыха. «Абхазию», «Чапаева», даже скорость их запомнил, а вот имя Садыха с трудом вытащил из недр памяти. Как-то Садых теперь, — плавает ли на своей плоскодонке по Куре, рыбачит ли, как встарь? Сейчас, наверное ему за пятьдесят. Надо было у Садыра справиться о брате.

Удивительное место — слияние рек; Кура и Аракс, уже устремившись по единому руслу, некоторое время текли как бы порознь, у каждой воды свой цвет, казалось даже, своя скорость течения. То Аракс подгонял Куру, то Кура, вздыбившись, подминала Аракс...

Давным-давно помнится, и вода в паводок взыграла, где Аракс впадает в Куру, там, где стоит домик, — вон, на том мысу, — Садых показывал на серенькую хибару, — его затопило. Потом, когда вода спала, мы,

мальчишки, добрались до хибары, вошли внутрь, а там рыбы навалом, насобирали по корзинке — и домой...

С какой стати это все вспомнилось Кериму — сегодня, стамбульским утром, на босфорском берегу? Часто его на воспоминания наводила музыка, — но все ж, каким образом случайно услышанная в столь необычайной «аранжировке» тема из бетховенской симфонии будила в памяти куринское свадебное путешествие их далекой молодости? Ведь не звучал же Бетховен в те дни, в той тупорылой плоскодонке, или в той комнате, где разводили гусениц шелкопряда! Да, неисповедимы тайны памяти, непредсказуема избирательность впечатлений и логика их возникновения... На ум пришла строка Ахмеда Хашима: «Осталась нам лишь сладость воспоминаний на этом свете, что затухает и темнеет». Может, и Кериму в этом мире осталась лишь сладость воспоминаний?..

...Или, быть может, тогда, на Куре, вот так же пахло водорослями и дул такой же теплый ветерок, несущий в себе терпкие трепетные запахи, — глоток ветра, волна запаха, возвращающие нам былое...

* * *

Ему вспомнился эпизод из русской летописи, относящийся к тринадцатому веку, связанный с двумя тюркскими ханами — братьями. Отрак-ханом и Сырчан-ханом. Князь Мономах пошел на них войной. Сырчан подался в донские степи, а Отрак обрел пристанище в кавказских горах и там стал правителем. Прошло время. Мономах умер, и Сырчан, воротившись в родные края, посылает брату гонца: мол, возвращайся и ты. Брат не внял призыву — он уже обжился на новой родине, снискал славу и почет и богатство накопил. Тогда Сырчан-хан вот ведь какой тонкий психолог! — прибегнул к такому средству: снарядил в путь к брату музыкантов, дескать, играйте ему наши степные напевы, он и расчувствуется, затоскует и не выдержит разлуки — вернется. Но Сырчан-хан был сердцеведом, который знал и еще более глубокие тайники души человеческой. Он ведал и то, что может разбудить чувства, которые не способна родить даже музыка. И послал вдобавок брату пучок степной полыни, растущей на родине, зная, что чувство ностальгии, разбуженное горьким полынным духом, превзойдет все. А у Аполлона Майкова есть баллада, воодушевленная летописным преданием:

Зовет к себе певца Сырчан
И к брату шлет его с наказом:
«Он там богат, он царь тех стран,
Владыка надо всем Кавказом,
Скажи ему, чтоб бросил все,
Что умер враг, что спали цепи,
Чтоб шел в наследие свое,
В благоухающие степи!
Ему ты песен наших спой;
Когда ж на песнь не ответится,
Свяжи в пучок емшан степной
И дай ему — и он вернется».

Сырчан-хан не ошибся, ни настойчивые призывы, ни звуки родных напевов не смягчили сердца Отрака. Но когда гонцы протягивают ему, наконец, пучок полыни, свита хана диву дается. Грозный владыка, перед которым трепетали все, взяв в руку полынь, прикладывает ее к устам, плачет и говорит своим придворным: «Прощайте... Я больше не владыка вам. Возвращаюсь на родину свою».

И летописные, и майковские слова, произносимые ханом, Керим мысленно отождествлял со строками баяты:

Чем быть ханом на чужбине,
нищим будь в родном краю...

Запах речных водорослей, запах степной полыни, Отрак-хан, Сырчан-хан, Стамбул, босфорская синь, слияние Куры и Аракса... Где начало и конец цепочки воспоминаний?

Осталась только сладость памяти
На этом свете, что затухает и темнеет.

Керим устремил взор на противоположный берег, узнавая силуэты купола Ая-Софии, минаретов мечетей. Это мечеть Султана Ахмеда, а та — «Сулейманийе»? Или наоборот?

Минаретов было шесть. Значит, не ошибся, это мечеть Султана Ахмеда. Где-то читал: Султан Ахмед, поручая зодчему строительство мечети, пожелал, чтобы минареты были из золота — «алтын». А зодчему послышалось: «алты» (шесть). Так и возвел шесть минаретов. А мечеть в святой Мекке имела только четыре минарета, — и Султан, чтобы загладить то ли ошибку тугоухого зодчего, велел пристроить к мекканскому храму Аллаха еще пару минаретов...

* * *

Да, Керим «боялся» музыки. Музыка могла расстрогать его, перевернуть душу до слез в отличие от легендарного хана Отрака...

Позавчера в Анкаре он чуть было не оконфузился. С Эролом он познакомился в Баку — на симпозиуме по «Деде-Горгуду». С Эролом и еще Доган-беом сошелся накоротке. Да и с Бехиджа-ханым он имел честь познакомиться тогда же. Эрол был по-медвежьи космат, кряжист, плечист, чуть сутул. Держался, подавшись вперед, будто вот-вот упадет, и косолапая, вразвалочку, походка напоминала медвежью пластику. Длинные космы, ниспадая, путались в бороде и усах. Он неизменно носил ворсистую меховую куртку, мохнатый шерстяной джемпер, казалось, и ложась спать, он не снимал это облачение, и оно пристало к нему, как шкура. Говорят, медведь — зверь добродушный, безоружного человека не тронет, даже лапой глаза прикрывает, дескать, я тебя не вижу.

И у Эрала был такой жест — вдруг прикрывал обеими ручищами, так и хочется сказать — лапами глаза,

чтобы не видеть того, чего не хотел видеть. Между тем все-то он видел, все замечал, ничто не ускользало от цепкого острого взгляда узковатых, как он сам говорил, «кыпчакских» глаз. И манера речи у него была необычная, будто перематывал, во рту остужая, раскаленные слова, выдыхал их из себя. Но была у него, у этого явного «медведя», очень нежная и ранимая душа. Он быстро воспламенялся, был сентиментален, как большинство тучных, дородных людей. При всей своей глубокой эрудиции историка он был чувствителен как поэт, живя более эмоциями, нежели холодными рассуждениями. И он, как Керим, любил музыку, и эта страсть сблизила их в симпозиумские дни не менее, чем научные интересы. Ему очень пришлось по душе пение Флоры Керимовой, и вот, приехав на конференцию в Анкару, Керим привез в дар другу кассету песен в ее исполнении.

Позавчера он гостил у Эрала. Эрол, получив кассету, поставил ее в магнитофон. Керим, попросивший записать в Баку песни у приятелей на радио, сам не прослушал их, все, по сути, были ему знакомы. И когда вдруг зазвучала новая, неведомая ему песня, — он глянул на кассету и прочел надпись: это была песня «Шуша» Джаваншира Гулиева; и когда Флора-ханым голосом, опаленным горем, допела о нашей вине, всеобщей вине перед брошенным, оставленным городом — Шушой, у Керима спазмой сдавило горло, и он едва удержался, чтобы не разрыдаться. Хорошо, что в этот момент Эрол отлучился на кухню, чтобы принести кофе. Керим взял себя в руки, чтобы Эрол не застал его плачущим. Как сказал Сабир: «Мужчина, хныча, честь свою погубит».

Что же ты плачешь здесь, в Анкаре, в благополучной, большой, могучей стране, в апартаментах, обставленных мягкими креслами, устланными пушистыми коврами, поглощающими звуки, в полусвете торшера, без конца дымя дорогими американскими сигаретами?... Хватило б духу — пошел бы сражаться за Шушу...

Что можно было ответить на эти вопросы — инвективы самому себе, чем можно было оправдаться? Да, ему пошел пятьдесят восьмой, да, диабет, радикулит, гипертония... И глазами слаб стал — козни проклятого диабета... Он и оружие в руки не брал, кроме как на университетских занятиях по военному делу. Даже охотничьей берданки в руках не держал. Так-то так... «Но все же, все же, все же...». «Воевать не горазд — так лег бы костями в Шуше!..»

Когда-то он завещал — похороните меня в Шуше — возле бабушки и деда. Пошел бы, умер бы, похоронили бы...

Кто бы похоронил? Шуша, его Шуша, Шуша его предков была в руках врага. Кто же его впустит в Шушу — армяне? Даже умереть — не пустят. Иди, мол, умирай себе в другом месте.

Но у него духу не хватило и на это — умереть в другом месте. И сердце не разорвалось от боли. Вот, видишь ли, прибыл в Анкару, на конгресс. По сути, конгресс-то был предложением: приехал сюда с прицелом — устроиться на работу. Нет, не движимый высо-

кими идеями, не задаваясь целью выполнить некую полезную национальную миссию. Просто хотел подзаработать энную сумму на приданое дочери. И — все дела. Мебельный гарнитур — набор досок, деревяшек. Вот в чем правда. И он не хотел припудривать эту правду высокопарной ложью, громкими словами. Уж, во всяком случае, наедине с собой, перед своей совестью. А другим людям выкладывать, объяснять не хотел. Кому и что объяснишь? Кому объяснишь, что у него, преподавателя вуза с тридцатилетним стажем, дома хоть шаром покати? Кому он должен втолковывать, что у него одна-единственная дочь, свет его очей, помолвлена, и жених хороший, воспитанный, да вот только из семьи, где денег куры не клюют, отец — руководитель (или, как там, собственник) новоиспеченной компании, то-то у его половины форсу — через край. Честно говоря, у Керима и Тамиллы душа не лежала к такому выбору, им бы сватов попроще, поскромнее, если уж родниться, так с ровней. Но парень уперся, и ни в какую, и его родители скрепя сердце сдались, щадя чувства своего чада.

Тамилла дальновидно внушала: «Мы должны обеспечить дочери хотя бы самое элементарное приданое, чтобы после они не попрекали, не тыкали нам в глаза...» И ободряла переживавшую из-за этого дочку: «Не бери в голову! Пусть хоть рухнет мир, а мы тебе справим приданое честь по чести, как подобает по обычаю». Тамилла не бросала слов на ветер, но претворение ее слов в жизнь выпадало на долю Керима.

Впервые эта идея пришла ему в голову в Баку на симпозиуме. Вернее, на эту мысль навела его Бехиджа-ханым. Его реферат очень понравился и Эролу, и Доган-бею, и Бехиджа-ханым. И она предложила: «Керим-бей, а не хотели бы вы прочитать у нас в Стамбуле, в нашем университете, курс лекций по азербайджанской литературе?»

Предложение было столь неожиданным, что Керим даже от растерянности не нашелся, что ответить. После симпозиума Садыр, Керим и еще несколько преподавателей пригласили турецких коллег на обед. У Садыра был приятель в ресторане «Аилэ» в восьмом микрорайоне — он заказал по телефону стол, и все отправились туда. Бехиджа-ханым, единственная дама в их обществе, сидела рядом с Керимом. Все то и дело провозглашали тосты в ее честь, расточали комплименты и дифирамбы. Бехиджа-ханым была растрогана и польщена. «Я прожила в этот вечер счастливейшие мгновения своей жизни», — говорила она. Она немного выпила, разомлела и поведала Кериму о деликатных обстоятельствах своей личной жизни; у нее были черные как смоль волосы и несколько робкая, застенчивая улыбка. Тонкие выщипанные брови были пропорциональным и симметричным повторением ее губ — по форме и тонкости, и губы в розовой помаде казались цветным отражением аккуратно сложенных бровей. И когда она морщила губы, когда сводила брови, это мимическое движение выражало одни и те же эмоции. Она была не замужем. Причин, есте-

ственно, не раскрыла. Взяла на воспитание дочь старшей сестры, погибшей в дорожной катастрофе. Племянница, уцелевшая при аварии — ей тогда было пять лет, — получила травму мозга. Теперь ей было пятнадцать, она с трудом выговаривала слова и изъяснялась. На Бехидже вдобавок лежали заботы о престарелой, теряющей зрение матери.

Бехиджа поведала Кериму об еще одной странной странице своей жизни. Она вела занятия в университете шесть дней в неделю, совмещая преподавательскую работу с должностью декана. Каждую субботу, окончив занятия, отправлялась ночным поездом в Анкару и возвращалась в ночь на воскресенье. Но в Анкаре у нее не было особых дел, каких-либо встреч или неизвестных уголков и не виденных до этого достопримечательностей. Все удовольствие этих поездок заключалось в дороге. Удобное купе, изысканное обслуживание, мерное, убаюкивающее покачивание мягкого вагона. «Вот единственный шик моей жизни», — говорила она.

Хотя Керим и не проявлял никакой инициативы насчет университетской идеи, она повторила предложение:

— Приезжайте в Стамбул. Обязательно — к нам в университет.

При всем том, что Бехиджа-ханым была чуть навеселе, она не преминула объяснить ему, какие документы требуются — «дилекче» — заявление, «озкечмиш» — автобиография, фотографии, копии дипломов...

Вернувшись домой, Керим посоветовался с женой, Тамилла была решительно за: «Тут нечего и думать, судить-рядить. Это шанс, выпавший нам. Ты обязательно должен ехать».

Собрал документы, послал оказией, через коллегу, в Стамбул. Коллега вернулся с вестью: «Передал твои бумаги Бехидже-ханым: она с нетерпением ждет твоего приезда».

Как-то попытался по телефону дозвониться в Стамбул, Бехидже-ханым, — не удалось. Через месяц пришел счет на несостоявшийся разговор, — столь астрономический, что заказывать новый разговор он не решился. А месяца три назад выпал такой случай: он услышал, что в Анкаре состоится конгресс, он попросил их декана — Садыра — взять и его. Садыр поначалу замылся, сославшись на то, что дал слово другому коллеге. Но Керим, быть может, впервые в жизни изменил своим правилам, взорвался — катается по загранкам всякая шушера, а я вот до сих пор за «бугор» и носа не казал! Раньше из-за отца не выпускали. Если ты хочешь знать, — не надо мне об этом говорить, но вынужден, — отец мой столько лет мыкался в ссылке из-за своей симпатии к Турции! Да я и сам немало лиха хлебнул по этой же причине! Как же так, одним за Турцию — кнут, а другим — пряник!

Садыр рассмеялся, повторив подначку, связанную с психологическими выискиваниями друга:

— Ай... ой... гуд-бай...

— Брось ерничать! Я с тобой серьезно говорю.

— Ладно, не вешай носа. Что-нибудь придумаем.

И это было месяц тому назад — Садяр протянул ему конверт:

— Не ценишь меня. Вот тебе и приглашение.

Керима занимала лишь одна мысль: лишь бы мне поехать в Анкару, выступить на конгрессе, тогда все образуется, — он не сомневался, что его доклад вызовет большой интерес, был твердо уверен, что после доклада посыплются приглашения из разных университетов, но он, конечно, сдержит свое обещание и остановит свой выбор на университете, где работает Бехиджа-ханым.

Доклад он построил на своем научном открытии десятилетней давности. При прокладке дороги через Маразу, возле древней усыпальницы — тюрбе Дири Баба строителям пришлось подорвать скалу, и каменная плита, обнаруженная под скалой, заинтриговала археологов. То была не могильная плита, а очень крупная глыбы, покрупнее даже, чем плиты, обнаруженные на древних огузских захоронениях, — монолит высотой метра три-четыре, с непонятными знаками на плоскости. Керим, едва взглянув на древний камень, почувствовал, что здесь кроется тайна и эту тайну суждено раскрыть именно ему, Кериму.. Камень был хорошо обработан, отшлифован, мнение геологов подтвердил и химический спектральный анализ, — возраст загадочного монолита составлял по меньшей мере два тысячелетия. То есть в те незапамятные времена его обработали человеческие руки.

Керима занимали таинственные знаки на камне. Должно быть, ими была испещрена вся плоскость, но теперь большая часть стерлась, исчезла, остался лишь фрагмент в верхнем ряду — двадцать — двадцать пять знаков. Керим снял с них графический оттиск и испытал неопишное удивление, волнение и восторг, обнаружив, что эти знаки были идентичны надписям на Орхонских скрижалях! Значит, письма были выполнены на древнетюркском языке. В распавшемся строю встраивался пунктирный ряд: «ай... ой... ан... кут... итик... а... р...». Два слова можно было ясно разобрать: «улу» и «ата». Днем и ночью он бился над этой загадкой, строил догадки, предположения о том, осколками, частями каких слов могли являться эти буквы, и на основе этих гипотез пытался воссоздать законченную фразу, оборот, мысль. Он потерял покой, ему даже снились реликтовые буквы. Он без конца переворачивал литературу, рылся в словарях тюркских языков, исследовал другие источники... и однажды ночью... во сне на него словно нашло озарение. Тут же проснулся, вскочил, включил настольную лампу... сердце готово было выскочить из груди. Достал планшет с изображением каменной скрижали и дописал недостающие буквы, как если бы речь шла о собственноручном автографе... «БАЙАТ БОЙУНДАН УЛУ ГОРКУТ АТА БИТИКЧИ АЙДЫР» (или: «АЙЫТДЫ»)¹.

Сомнений быть не могло, на камне была начертана именно эта фраза. Источники сообщали о существовании еще до «Книги Деде-Горгуда» (Праотца Горгуда произведения под названием «Битикчи (т.е. книжник, пишущий книги) улу хан Ата».

В этой первокниге брал начало свод сказаний, собранных в позднейшей «Книге Деде-Горгуда», разгаданная надпись на реликтовом камне, напоминая Орхонские письма, сообщала о сенсации, которая должна была стать революцией в тюркологии. Это было открытие — самое значительное в тюркологии после открытия Томсена!²

В десятке тысяч километров от Орхонских скрижалей, здесь, в Азербайджане, был найден образец этого алфавита, причем бесспорный документ, связанный с Деде-Горгудом. Это решало все и утверждало гипотезу, на протяжении многих лет вынашивавшуюся учеными, на правах доказанной истины. Значит, по меньшей мере за два тысячелетия на этой земле жили люди, говорившие на тюркском, обитало племя «баят» — род вешего Горгуда, великого Физули, и к тому же обладавшего своей письменностью и оставившего после себя письменный памятник — весть, наказ, свидетельство, документ...

Керим в ту ночь не мог нарадоваться, не находил слов, чтобы выразить бушевавшее его ликующее чувство. Ведь эти местные письма были древнее Орхонских, по крайней мере, на пять-шесть веков. Может статься, древний алфавит перекочевал именно отсюда, с Кавказа, в те далекие края. И миграция пратюрок проистекала, может быть, не с Востока на Запад (как считалось доньше), а с Запада на Восток.

Он не сомкнул глаз. Ему не терпелось позвонить одному-двум коллегам, которые могли бы оценить смысл осенившей его в эту ночь догадки, поделить с ним радость открытия. И он с трудом удержался: «Неудобно... на ночь глядя...»

Едва дождавшись утра, обзвонил кое-кого из коллег, даже магарыч потребовал. Мирали Сеидов очень обрадовался новости, двое других восприняли ее весьма спокойно и индифферентно, а четвертый не скрыл своего скептического отношения: «Надо еще долго докапываться...»

С тех пор Садяр и заладил пародийную прибаутку: «Ай... ой... бай...».

Керим стремился обзавестись дополнительными материалами. Он знал, что в той же зоне, в шемахинском селе Хыныслы обнаружены каменные идолы, археологи, свезя их в музейный запасник, держали их под замком, никому не показывая, дабы уберечь свои будущие диссертации от сглаза... Керим все же нашел способ добраться до идолов, уговорив археолога, носившего ключ от заветного хранилища в кармане, и когда отперли двери академического «тайника» в Шемахе, смог разочек лице зреть идолов и даже сфотографировать старым «Зенитом».

¹ Вещий отец Горгуд — книжник из рода Баят молвит (или «молвил»).

² Томсен — датский тюрколог, впервые расшифровавший Орхоно-Енисейские письма.

У него не оставалось никаких сомнений: эти каменные истуканы подтверждали его мысль — они были близнецами — тот же типаж, стиль, параметры — с обнаруженными в Туве и давно известными всему научному миру древнетюркскими статуями, — балбалами.

Он опубликовал статью в «Советской тюркологии». Реакции особой не последовало. Только Чопур Джаббар был в своем амплуа — разразился на партсобрании (он и был секретарем парткома) пламенной филиппикой с пеной у рта. Когда он поднимался на трибуну, все с передних рядов под разными предлогами пересаживались подальше, опасаясь брызжущей из уст оратора слюны.

— Товарищи! Сейчас объявились новые пантюркисты. Вот перед вами — Керим Аскероглу. Впрочем, эпитет «новый» относителен. Это у него генетически, в крови. — Не постеснялся потревожить и тень отца: не забыл плевка в лицо, полученного от Аскера. — Голубчики, хватит выискивать прародителей этому злосчастному народу, пришивать его к турецкому хвосту! Нынче это в моду вошло, всякий дилетант везде и всюду взялся выискивать «турецкий след». Имейте мужество признать раз и навсегда научную истину: до десятого—двенадцатого веков в этих краях турок и в помине не было! Были некогда индийцы, были албанские племена, прочие аборигены, — они-то и явились пращурами азербайджанского народа. А то ведь глядишь, один ухватится за какие-то караули на камне, толкует их на свой лад, другой уцепится за варсагов, сарсагов и черт знает еще за что... Хватит играть судьбами народа!

Выпалил, выговорился, завершив тираду резким креном головы, и Кериму показалось, что длинный нос оратора очертил в пространстве восклицательный знак. И точка — его усы.

Эта «историческая речь» Чопура Джаббара прогремела в сентябре восемьдесят четвертого года. А через четыре года... Эх, дался ему этот Чопур Джаббар! Нашел, о ком думать... Да, в тот год Керима чуть было не исключили из партии. Садяр заступился, взял, так сказать, под крыло, но не преминул и упрекнуть:

— Тебе что, дела не хватает? Что ты ухватился за этот «гудбай»?

— При чем тут «гудбай»?

— По-английски — «до свидания». Ведь твои каменные письма можно, при желании, прочесть и так. Может, наши пращуры калякали и на «инглиш»?

— Будь хоть раз серьезным. Делать науку — не шутки шутить.

— А вот твоя наука, извини, несерьезна. Нельзя строить на произвольных ассоциациях — «ой», «ай»... К тому же, какого рожна тебе нужно привязывать нас к туркам?

— Как так — «привязывать»? А кто же мы по-твоему?

— Оставь, ради Аллаха. Не дразни гусей. Джаббар только того и ждет.

Спустя несколько месяцев он получил письмо из Лондона, от авторитетного тюрколога Джорджа

Льюиса. Мистер Льюис, прочитав журнальную статью Керима, очень заинтересовался ею, просил послать ему фотокопию каменных писем. «Достопочтенный мистер Аскероглу! Если вам удастся подкрепить Вашу гипотезу соответствующим научным аппаратом, — а я верю в Вашу удачу, — то это может явиться большим открытием и откроет совершенно новую эпоху в тюркологии...»

После этого к Кериму стали относиться чуточку уважительней, однако в дальнейшем развернулись столь бурные и стремительные события, произошла столь крутая переоценка ценностей, что открытие Керима совершенно незаметно вписалось в общий фон как саморазумеющаяся, давно известная истина и было забыто.

В водовороте политических бурь никому не было дела ни до Керима, ни до существа его открытия. «Азербайджан, тысячелетиями являющийся родиной турок... колыбель Деде-Горгуда...» — подобные слова превратились в газетные клише и стереотипы. А изыскания Керима стали излишними, как ненужные доказательства якобы общепринятых аксиом.

В сентябре восемьдесят восьмого года перед многотысячной толпой на площади Азадлыг Чопур Джаббар уже запел по-другому:

— Хватит нам гнушаться своими корнями! Хватит отрицать нам свое тюркство, истинных предков, свою родословную! Мы должны вернуться к своим корням! Заткнуть рты предателей отечества, манкуртов нации, ставящих под сомнение тюркское происхождение азербайджанцев! На протяжении тысячелетий эти земли были тюркскими землями, родиной Деде-Горкуда. Были, есть и будут!

Масса реагировала восторженным гулом и бурными аплодисментами на пламенную речь Джаббара. Керим, находившийся в гуще этой толпы, не мог поверить своим ушам. Что за наваждение? Тот ли это Джаббар?

О Аллах, опять Чопур Джаббар... Дался тебе он! «Чур, не вспоминай об обезьяне...», — как предостерегал один классический персонаж...

Керима больше всего удивило и даже чуть расстроило то, что и здесь, в Анкаре, его доклад не вызвал особой реакции. После выступления к нему подошел, опираясь на трость, весьма преклонного возраста старец, оказавшийся маститым фольклористом-горгудоведом Фахрадин-беем, поздравил: «Я всю жизнь в своих статьях твердил, что турки обитали на этих землях задолго до Рождества Христова».

Доклад Садяра завоевал куда больший успех. Он говорил об алфавите, доказывал, что буква «х» не имеет столь уж большого значения для азербайджанской письменности: «Эта буква отторгает азербайджанский диалект от единого с ним турецкого языка, и, стало быть, она нам не нужна», — эти слова вызвали бурную овацию в зале.

Они остановились в отеле «Стад», в одном номере с Садяром. Керим, поздравив коллегу с успешным выступлением, задал ему вопрос:

— Так ты утверждаешь, что между нашими языками никакой разницы нет?

— Конечно, — отозвался тот. — А какая, по твоему, есть разница?

— Я только что был внизу в вестибюле, услышал диалог наших новоприбывших туристов из Баку с женщиной-администратором. Она одной из наших туристов говорит: «Сизе ики кишилик отаг верийорум»¹. Землячка возмутилась: «С какой стати вы меня вселяете с чужими мужчинами? У меня свой муж».

Администратор: «Эр» — годжа» ли?² Туристка взъярилась еще пуще: «Почему «годжа»?! Совершенно молодой, здоровый, как огурчик!»

Садяр покотился со смеху.

— Да будет тебе! Здесь, брат, надо в таком духе и выступать. Видал, какой фурор произвело? А начнешь вякать другое — так впредь и не пригласят. Такто. Да, между прочим, ты обратил внимание на ту красотку в баре... Обязательно к ней подрулю... Ладно, а как с твоими делами?

— Сказали, надо идти в Комитет высшего образования. Может, понадобится и в Стамбул махнуть. Да, и гонорар за доклад получил. Оказалось — хватает лишь на рейс автобусом туда — обратно. У нас остается три дня.

— А чего тебе, брат, тащиться в Стамбул? Позвони по телефону.

— Погляжу... Не ведаюсь в Комитет по образованию. А поехать хочется. Я ведь не видел Стамбул. Будет полезное с приятным...

Садяру отнюдь не по душе пришлось это стамбульское «отклонение». Как-никак, он возглавлял делегацию, нес ответственность.

В Комитете сообщили, что из университета никаких бумаг, документов насчет Керима не поступало, хорошо бы ему самому отправиться в Стамбул и прояснить вопрос. Керим попросил работника Комитета созвониться с Бехиджа-ханым. Учтивый чиновник заглянул в блокнот, набрал по коду стамбульский номер, попросил к телефону Бехиджа-ханым; оказалось, ее нет на месте. Будет завтра к двум. Чиновник повторил совет:

— Самое лучшее — ехать вам туда. Как только университет вышлет нам документы — немедленно оформим.

Он приобрел билет на стамбульский автобус и вернулся в отель. Ключа на щитке не было, — значит, Садяр в номере. Поднялся в номер. И застал коллегу в обществе красотки из бара, пьющими коньяк. Садяр при виде его и бровью не повел и произнес по-русски:

— А вот и наш герой! Познакомься, Наташа, оказывается, наша соотечественница.

— Да не Наташа, я говорю же тебе. Надя, меня зовут Надежда!

— Это еще хорошо! Надежда — всегда хорошо! Надежда надеяться. Будем надеяться. Надежда-ханым — наша соотечественница, вернее, бывший соотечественница из бывший Советский Союз, из Одесса. Ты сейчас гражданка какого государства — Россия, Украина? Керим заметил, что они уже на «ты».

— А я — гражданка мира, — отозвалась Надежда. — Где хорошо — там и родина.

— Ай саг ол! — воскликнул Садяр.

— Саг ол — это «спасибо», — сказала гостья. — Я знаю, у меня был приятель — грузин.

— Мы не грузинцы, — поправил Садяр. — Мы азербайджане.

— Для меня все кавказцы — на одно лицо, что азербайджанцы, что грузины, что армяшки. Армяшек, правда, я не люблю.

— Ай, молодец! — похвалил Садяр. — Правильно делаешь. Давай будем выпить за тебя. — И повернулся к Кериму, перейдя на азербайджанский: — Выпьешь?

— Нет, у меня кое-какие дела. Мне надо уходить.

— Это ты совершенно кстати, — хитро ухмыльнулся Садяр.

— О чем это вы балакаете? — поинтересовалась Надя.

— О делах, — ответил Садяр, продолжая разговор с Керимом. — В Стамбул как — едешь?

— Еду.

— Отлично! — просиял Садяр. — Будь здоров! За тебя. Будем выпить за моего друга. Он, знаешь, какой большой ученый!

— С удовольствием. А почему он уходит?

— У него свидание с министром. Вернется только завтра.

— Жаль, — вздохнула Надежда. — Ученые — моя слабость. Больше всего я в мужчине ценю интеллект.

— Я тоже очень большой ученый. Не веришь, спроси у него. — Потом Садяр почему-то стал как бы оправдываться перед Керимом: — Братишка, ты уж не обессудь меня. На земле живем лишь раз... вот и отводим душу...

Надежда усекла слово «братишка».

— Вы что, в самом деле братья? — спросила она.

— Еще лучше, чем родной брат, — сказал Садяр.

Керим уже терял терпение, — вложил в портфель нужные бумаги и поспешил попрощаться. Вышел из номера, вызвал лифт, как тут же следом за ним появился Садяр и протянул ему ворох долларов.

— На, понадобится.

Да, были у Садяра и такие широкие жесты, деньги у него водились, и тратить не скупился. Оно и понятно: имеешь — не жалеешь. А ведь столько крезов, что над каждой копеечкой дрожат... Впрочем, может, Садяр просто щеголял щедростью, зная, что Керим наверняка откажется.

— Спасибо, у меня есть.

— Да откуда у тебя? Будто я не знаю. Бери, говорят тебе... «гудбай» ты этакий!

— Честное слово, нет необходимости...

¹ «Я даю вам комнату на двоих (обыгрываются слова «киши — мужчина. По-азербайджански. И лицо — по-турецки).

² Эр (азерб.) — муж. Годжа — по-турецки муж, а по-азербайджански — старик.

— Тоже мне идеальный герой! Положительный советский человек... Слушай, и советская власть — тью-тью, и ее герои! Разве что один ты остался, да и еще твой кореш Гияс Зейналлы... Да, уж вы мир переделаете... Возьми, говорю. Я-то знаю, что у тебя есть, а чего нет...

Садяр окинул его взглядом с ног до головы. И этот взгляд, быть может, произвольно, нечаянно, задержался на туфлях, в которые был обут Керим... Керим покраснел до ушей. Хорошо, что подъехал лифт. Двери раскрылись, и Керим сиганул в кабину, отстранив протянутую руку с ворохом «зелененьких».

* * *

Когда Эрол вернулся с кофе, еще не отзвучала песня о Шуше.

— «Шуша» — это новая песня?

— Да. Совсем новая. Потеряли Шушу и вот оплакиваем ее.

Эрол налил в бокалы виски.

— Класть лед?

— Клади.

— С содовой?

— Нет.

— Хотел выпить в твою честь, — сказал Эрол. — Но... знаешь... давай выпьем за Шушу! За освобождение Шуши от армян!

Керим вспомнил давнее застолье у Садяра в Баку, тогда тот принимал гостя из Венгрии. Садяр поклонился Кериму и шепнул на ухо: «Сейчас я выдам такой тост, что Ласло зальется слезами. Вот увидишь».

А Ласло весело болтал с дамами, рассказывал анекдоты, вызывая смущенное хихиканье.

— Прошу внимания. У меня тост.

Все обратились в слух. Ласло прервал очередную байку. Он понимал по-русски.

— Выпьем за Трансильванию! — сказал Садяр. Все растерянно переглянулись. Керим не сводил взгляда с гостя. Он никогда не видел, чтоб лицо человека так разительно менялось. Ласло побелел, улыбка слетела с лица, он застыл, как пригвожденный, потом поднялся и, пошатываясь, — выпил он изрядно, — обойдя стол, бухнулся на колени перед Садяром, облобызал его руку и... разрыдался...

Сколько воды утекло с тех пор, а эта сцена все еще стояла перед глазами. Керим знал, что Трансильвания — венгерский анклав, отнятый у Венгрии и включенный в состав Румынии, но он не ведал, что это традиционный тост у венгров, к тому же имеющий столь неожиданную силу воздействия.

Выходит, и нам выпал этот жребий, — думалось ему в гостях у Эрола, — провозглашать тосты за Шушу и оплакивать ее.

* * *

Они промочили горло, послушали иные песни, потом выпили еще, излили друг другу душу. Оказалось, что отец Эрола был из крымских татар. Эрол рассказывал, что несколько лет тому назад, будучи в

Ташкенте, он разыскал одного из своих крымских родичей. Тот был — поэтом. В сорок четвертом их всей семьей депортировали в Узбекистан, когда тому родичу было девять лет. Родич поведал Эролу, что до недавнего времени крымским литераторам из татар цензура запрещала упоминание о море, дескать, в Узбекистане моря нет, и уж если ты заикаешься о море, стало быть, подразумеваешь Черное, то есть вздыхаешь по Крыму, по покинутой родине, а вот этого-то делать нельзя, выкинь из головы.

— Мордовороты! — по-медвежьи рычал Эрол. — Сколько же можно изгаляться над людьми? Обязательно поезжай в Стамбул. Но я не люблю Стамбул... И отец не любил его, не любил это море, Босфор... — это все бередило крымскую память... И он всегда бежал от воспоминаний. И мне, наверно, от него перешло. Но, знаешь, иные стамбульцы, в свою очередь, не жалуют Анкару. Ты слышал остроуту Яхьи Кемаля? Приехал он в Анкару, побыл, при возвращении в Стамбул у него спрашивают, что, мол, понравилось вам в Анкаре? А он отвечает: «Возвращение в Стамбул...»

Эрол хохочет, он уже навеселе.

Глотнув виски, мурлычет: «Истамбулун хавасы, парасы, карысы...»¹

— Не забывай, брат мой, Истамбул — чуточку Константинополь...

* * *

— Эфенди, не желаете ли почистить обувь?

Перед ним стоял мальчуган лет восьми-деяти с подвешенной на ремне через плечо коробкой, державший наготове щетку и ваксу.

— Нет, спасибо, — ответил Керим и взглянул на часы: без четверти два. Время подоспело. Он направился к университету.

Широкие окна университетского фойе открывались на Босфор. У окна распластала крылья некогда потерявшая голову Ника Самофракийская. Фойе заполнила молодежь. Парни и девушки вольготно расположились на ступенях лестниц, на перилах, кто на корточках сидит, кто, сложив ноги по-турецки, а иные парочки, глядишь, целуются-милуются, и хоть бы хны, никому ни до кого нет дела. Почти все, в том числе и студентки, курили сигареты, иногда он и она — на пару, поочередно затягивались сигаретным дымом. Группа девушек в длинных платьях и платках держалась в стороне, особняком, укутанные так, что проглядывали лишь личики — глаза, нос, рот, подбородок. Даже ушей не видно Керим слышал, что некоторые мусульманские страны арабского мира выделяют специальные поощрительные стипендии девушкам, соблюдающим хиджаб², а побудившие к этому других девушек — вознаграждались дополнительной суммой. Более того, говорят, что достаточно носить женские имена, освященные религией, —

¹ Стамбульская хмарь, барыши, барышни...

² Правила, предписывающие прикрытие тела, головы.

Хадиджа, Фатьма, Аиша, — чтобы удостоиться денежных поощрений. Так ли оно или просто слухи, распускаемые левыми радикалами, Керим не знал, но думал, глядя на студентку, дымящую сигаретой на коленях у парня, что уж лучше «не так и не этак». И поймал себя на мысли, что в нем, может быть, говорят закоснелые моральные догмы советского человека. Как бы то ни было, он приглядывался к этому многолюдью, — быть может, среди них были и его будущие питомцы — студенты. Вспомнил бакинскую студенческую молодежь, которой долгие годы преподавал. Одно время он очень гордился, что иные из его бывших питомцев вышли в лидеры Народного фронта: мол, они извлекли нечто и из моих штудий. Ведь он, не ограничиваясь программой, обстоятельно рассказывал студентам об общих для тюркских народов памятниках, об Орхонских письменах, о «Гудатгу Билик»¹, Махмуде Кашкарлы, Ясеви... Когда нагрянули новые события, он поначалу зачастил на митинги, однажды даже и на трибуну поднялся; вел митинг его бывший студент, Кериму он помнился серьезным, толковым, несколько нелюдимым молодым человеком. На семинары приходил хорошо подготовленный, а вот вне занятий ни с кем не общался, ни с педагогами, ни с сокурсниками. А теперь вот, поди же, дирижирует стотысячной массой, сколько горящих взоров приковано к нему, люди ловят каждое его слово!

В тот день Керим встретил на трибуне и другого своего студента, — и его помнил хорошо, тише воды ниже травы, всегда при встрече здоровался обеими руками, кротко заглядывая в глаза. Почему-то Керим настороженно относился к людям с этой манерой — здороваться обеими руками.

Это инстинктивное ощущение не обмануло его. День был жаркий, летний, волнение да еще окаянный диабет, во рту пересохло; он заметил на краю трибуны бутылки «Исти-су», но пробиться туда в тесноте было трудно, и он обратился к бывшему студенту — тому, который когда-то обеими руками здоровался: «Сынок, — имя он запомнил, — подай-ка мне стакан вот той водички». Кериму показалось, что студент не расслышал, и он повторил просьбу. «Вы что, на водоной пришли сюда?» Керим обомлел. Ему и присниться не могло, что некогда заискивающе-учтивый студент может так по-хамски огрызнуться на него. Но сей обнаглевший «паинька» выдал вдобавок: «Здесь участь нации решается!.. Здесь арена доблести, а не павильон вод! И я вам не водонос!» Керим стоял как громом пораженный. Придя в себя, только и вымолвил: «Ай да молодец...» Но студент уже не слышал его — повернулся спиной, отошел.

Керим насмотрелся на то, как меняются человеческие лица, но такое видел впервые. Дальше пришлось наблюдать и более разительные перемены. На глазах менялось не только выражение лиц, но даже как бы и

черты. Глаза, взиравшие некогда подобострастно, кротко, источали злобу, презрение, ненависть.

Другой его бывший студент, ведший митинг, предоставив слово очередному оратору, отступил назад и, только теперь заметив Керима, произнес тоном радужного хозяина: «Добро пожаловать!» — Получалось, что здесь Керим как бы у него в гостях... Керим не преминул заметить: «Вы вот говорили об исламе, возрождении религии... А тут бюст Бабека. Но ведь Бабек сражался против ислама. Как это увязать?» Студент усмехнулся: «Вы подходите к вопросу с чисто академической стороны. А надо бы — с позиций национальной идеологии. Мы должны и на ислам опираться, и Бабека воспринимать как символ освободительного движения». — «Стало быть, опять — идеология?»

В тот день и Абульфаз находился на трибуне. Подошел, прислушался к их разговору. Они поздоровались. С Абульфазом Керим не был близок, но знал его давно, уважал за добропорядочность, убежденность. Иногда, встречаясь в рукописном фонде, в университете или академии, они справлялись друг у друга о самочувствии, о делах.

Абульфаз показал на запрудивших площадь людей: «Вот эту массу иные именуют толпой, иные — народом, нацией. Но как бы то ни было, надо уметь говорить с этими людьми, бей. Если заведешь про очень высокие материи, начнешь в дебри лезть, — не примут тебя, дескать, куда уж нашему брату! Вон куда его занесло! Надо находиться чуть повыше, чуточку только, тогда сможешь убедить, вразумить».

А теперь, в пору турецкой поездки Керима, Абульфаз был президентом, и Керим не знал, насколько он следует прежде высказанным критериям, — давно не доводилось встречаться.

Он еще раз-другой сходил на митинги. Предлагали выступать — отказывался. Не горазд был громко-гласно ораторствовать, а уже тем более витийствовать трескучими лозунгами и фразами. Митинги начинались и завершались передаваемой по динамикам увертюрой оперы «Кёроглу». Сам по себе выбор этой героической музыки как воодушевляющего символа был Кериму по душе, да вот в разговорах с иными деятелями — «фронтовиками» у него создавалось ощущение, что эти люди ведут себя так, как если бы и увертюру сотворили они сами, а не Узеирбек...

Когда же он услышал «историческое» выступление Чопура Джаббара, то и вовсе перестал посещать митинги. Но гул толпы долго еще преследовал его. Однажды, ни свет ни заря, часа в четыре — полпятого он проснулся в смятении, услышав постепенно нарастающий гул: казалось, что приближался поток демонстрантов, громко скандирующих... опять «отставка! отставка!» или что еще. Что за шествие на ночь глядя? Наконец он осознал, что никакого шествия, демонстрации нет, а гул исходил от водопроводных труб — несколько дней, как было прервано водоснабжение, и вот теперь начали подавать, и вода, еще не дойдя до кранов, завела такой «духовой оркестр».

¹ «Наука о счастье» — трактат средневекового тюркского автора Юсуфа Баласагулу.

Он еще раз сходил на Площадь, в ноябре восемьдесят восьмого. Ему бы долежать в постели, сахар опять «подскочил», да не выдержал, не утерпел, услышав, что группа молодых людей объявила голодовку, — среди них были и его студенты. Несмотря на все увещевания и протесты Тамиллы, вышел на улицу, потащился на Площадь, расспросив людей, нашел палатку, где находился его студент. Холодина. В палатке горит огонь в мангале. Его студент лежит на войлочной подстилке, обросший, в шерстяной шапке, обмотав шею шарфом, с осунувшимся бледным лицом. Керим увещевал, мол, прекрати голодовку, не мори себя, есть другие пути борьбы, долго уговаривал, приводил всевозможные доводы. Студент слушал молча. То ли ему невмочь было разговаривать, спорить, то ли считал бывшего наставника нестоящим оппонентом. Как бы то ни было, отмалчивался. Только под конец выдохнул: «Нет. — И добавил усталым, сдавленным голосом: — Так, муаллим, жили вы, а мы не хотим... по-вашему...»

Керим понял, что молодого человека не переубедить, и вспомнил случай, о котором некогда поведал ему маститый коллега Аббас Заманов. В тридцатые годы Аббасу Заманову довелось некоторое время директорствовать в Театре оперы — бывают и такие парадоксы судьбы. На одном из заседаний некий высокопоставленный чин из ЦК позволил себе несколько крутой тон в разговоре с Узеирбеком. Почтенный композитор немедленно встал и покинул кабинет. Партийный чинуша растерялся и воззвал к Аббасу Заманову: «Верни Узеирбека...» Аббас муаллим догнал композитора на лестнице, попросил вернуться. «Он уставился на меня, потербил пальцами усы и сказал: «Аббас Заманов! Ты открыл глаза и застал мир таким. Но ведь мы видывали и других людей...»

Керим не помнил, в какой связи Аббас-муаллим рассказывал этот эпизод, но ему живо предстала давняя сцена, вернее, ему показалось, что он видел все глазами Узеирбека, видел совершенно другие лица, ожившие перед взором уязвленного композитора в тот миг, — Алибек, Ахмедбей¹, Мирза Джалил, Абдурагимбек, Джавид Эфенди, Ахмед Джавад...

Кериму подумалось, что не только разные народы говорят на разных языках, бывает, что разные поколения одного и того же народа не могут найти общего языка.

* * *

Он спросил, где находится кабинет Бехиджа-ханым, показали. Открыл дверь, переступил порог. Она встала из-за стола, подала руку, улыбнулась, и Керим впервые заметил, что она улыбается одними лишь губами — глаза остаются прежними.

— Добро пожаловать! Когда приехали?

Керим сообщал о том, что пять дней назад они с Садяром прибыли на конгресс в Анкару. И, раскрыв

«сумку», извлек из нее подарок — маленький коврик и преподнес ей.

— Это вам. Презент из Азербайджана...

— Стоило ли вам утруждать себя, Керим-бей, — как-то вяло отреагировала Бехиджа-ханым. — В этом не было, нужды... Неделей раньше мне привезли из Баку точно такой же коврик.

Керим остолбенел и, не зная, что сказать, осознавая жалкую бессмысленность своих слов, выдавил из себя:

— Ручная работа...

— Ковры ткут руками, — заметила она тем же тоном, пусть это и было не совсем так, но у Керима пропало всякое желание вступать в спор.

Она отстранила коврик.

— Заберите, пожалуйста. Может, преподнесете какому-нибудь знакомому...

— Подарки не возвращают. — Керима душила обида. Он вспомнил, как купил коврик, отказав себе в новой обуви и добавив еще кое-какую сумму.

Он уже почувствовал, что эта встреча не пройдет в духе бакинской приятной и доверительной беседы. Потому сразу перешел к делу, сообщил о своем разговоре в Комитете по высшему образованию.

— Мне объяснили, что мои документы должны представить вы. Вот я и приехал...

— Но на сей раз мы пригласили преподавателя из Казахстана, — огорошила она.

— Вместо меня?..

— Место-то ведь не ваше. Мы просто решили пригласить одного педагога из-за рубежа и остановили выбор на казахстанском коллеге. Ведь и казахи — наши тюркские братья, не так ли? А вот в Турции нисколько не знают казахскую литературу.

Керим словно потерял дар речи. Казалось, перед ним стояла не гостя Баку, а совершенно другой человек. Ледяное лицо, ледяной тон.

...И в тот же миг он осознал, что все бесполезно, ничего не изменить, вопрос решен.

Как было растолковать Бехиджа-ханым, что он столько месяцев жил только этой мыслью, строил все свои планы и виды на будущее сообразно этому и все надежды их семьи, быть может, будущность их дочери зависит от этого ангажемента. Да и как заикнуться о такой прозе — приданое, мебель, дребедень... Мог ли он позволить себе такие унижительные объяснения? Он смог только сказать:

— Вы ведь сами предложили... И я переключил все свои планы...

— Весьма сожалею. Все это время у нас с вами не было какого-то контакта. Нет и официальной договоренности, чтобы...

Ему пришел на ум широко употребляющийся в турецком, но отсутствующий в азербайджанском языке эпитет: «аджымасыз». То есть «бездушный, бесчувственный». Так вот, сколь «аджымасыз» оказалась эта «жгучая бронетка» с тонкими, как бы запертными губами и не улыбающимися глазами... Но осознавала ли она сама, какой немилосердный удар нанесла Кери-

¹ Выдающиеся писатели, поэты, общественные деятели, публицисты, идеологи начала XX века.

му? И сколько вещей пришлось бы разжевывать, чтобы довести это до ее сознания, — поди толкуй о статусе вузовских преподавателей в Азербайджане, о разнице между их реальной зарплатой — тамошней и здешней, о мытарствах честных педагогов, интеллигентов, не желающих есть неблагоприобретенный хлеб, о нужде, заставляющей и его, Керима, браться за писание чужих диссертаций, и еще бог весть о чем... Надо бы и о туфлях, взятых «напрокат», прочесть лекцию о том, сколь большое значение в азербайджанской среде имеет приданое, чуть ли не решающее условие, определяющее дальнейший «рейтинг» невесты... И уж тем более этой женщине «до лампочки», как воспримут фиаско Керима его друзья и недруги, — кто будет злорадствовать, кто — подтрунивать в глаза и за глаза, и Тамиллу донимать начнут...

Да и что скажет сама Тамилла, — однажды ее провало: «тюфтяй, — сказала, — ничего путного не можешь...», только однажды сказала, но думала так о нем всегда, когда и не пилила. А дочь... Вообразил ее дрожание губы, налившиеся слезой глаза, — как это все втолкуешь Бехиджа-ханым, как он опустится до такого жалкого просительства? Да и вообще, какое это имеет отношение к делу? Ведь нет же никакого официального предложения, письменной договоренности. Так им заблагорассудилось или жребий выпал другому, счастливцу из Казахстана, и баста!

Вспомнилась ему старая притча: на каком-то пиришестве хану понравилась пение певца-ханенде. «Явись завтра во дворец, одарю тебя десятью золотыми монетами». Пришел ханенде на другой день, напомнил хану об обещании. А тот: «Чудак-человек... Вчера ты спел — понравилось мне, я похвалил — понравилось тебе. Вот и все дела. Чего же пожаловал?»

То-то Чопур Джаббар будет злорадствовать, выставляя его на посмешище. Вспомнив физиономию своего супостата, его «восклицательный» нос, вздрогнул. Чопур Джаббар уставился на него в упор. Здесь, в этом кабинете... еще когда он вошел и окинул взглядом пространство, в поле его зрения попало знакомое лицо, но он не обратил внимания. А теперь ясно видел это лицо. Да, это был Чопур Джаббар, взиравший на него с большой фотографии на книжной полке, даже почудилось — с усмешкой. Фото с дарственной надписью для Бехиджа-ханым.

— А... Джаббар... — добавить «бей» язык не повернулся. — Он был здесь?

— Да.

— Когда приезжал?

— Кажется, в феврале. — В студеном взгляде Бехиджа-ханым сквозила подозрительная настороженность. Постепенно все для Керима прояснялось. Даже без последовавшего затем ее вопроса:

— Могли ли я спросить у вас, Керим-бей...

— Пожалуйста.

— Вы — коммунист?

— Был. Сейчас — ни компартии, ни коммунистов. Почему это вас интересует?

— Так, ничего.

Ему хотелось сказать: и ваш дражайший Чопур Джаббар, чье фото вы водрузили над головой, был коммунистом, да еще и нашим секретарем парткома, еще некогда, записав меня в «пантюркисты», пытался выпихнуть из партии, изничтожить, затоптать. Промолчал. Он мог бы и сказать, что над вами красуется портрет бывшего стукача, агента, шпика. Но не сказал. Мог бы добавить: мздоимец, известный на весь Азербайджан. Не сказал. Не дал ему сказать — отец. В подобные моменты жизни ему чудился голос отца: не забывай, какого ты рода-племени, чей ты сын, никогда не опускайся до уровня подлых противников. Не борись с ними их средствами. Если и захочешь — не получится у тебя...

* * *

Поговаривали, что Чопур Джаббар почему-то предпочитает брать взятки у женского туалета. Однажды Кериму с Садыром, выходящими из университета, дорогу преградил толстопузый мужчина, похоже, из сельской периферии. Судя по самодовольному виду, — из «денежных». То ли завфермой, то ли колхозный председатель или совхозный директор.

— Извините, — обратился он, — где тут бабский туалет?

— Джаббар-муаллима ищешь? — любезно улыбнулся Садыр.

А тут — как на грех или на удачу — на лестнице показался сам Чопур Джаббар. Садыр, не моргнув глазом, сказал ему с прозрачным намеком:

— Джаббар-муаллим, клиент явился. — И улыбнулся той же любезной улыбкой. — Ищет дамский туалет...

Джаббар ничуть не смутился, не покраснел, он и не умел краснеть, но Садыру ничего не ответил. Керим заметил, что только перед Садыром он поджимает хвост. С того дня, кажется, традиция «с женским туалетом» отпала. Впредь Чопур стал брать мзду в спичечных коробках. Перед каждым зачетом и экзаменом доставал сигарету и оглядывал студентов:

— У кого найдутся спички, ребята?

Те были в курсе: впахнув в коробки по полсотни, по сотенной, протягивали экзаменатору.

— Оставьте себе, муаллим, у меня есть еще коробок, — говорил даритель, акцентируя последние слова, дескать посмотрим, какую отметку выставишь, а там поглядим...

Все это ему бы высказать Бехиджа-ханым. Но не высказал. Поднялся.

— Очень сожалею... Но...

Что «но» — он и сам не знал.

— Хошча галын.¹

— Гюле-гюле².

Бехиджа-ханым не сочла нужным даже принести подобающие случаю извинения. Он закрыл за собой дверь, все еще лстя себя надеждой, что она оклик-

¹ Счастливо оставаться (тур.).

² До свидания (тур.).

нет его, вернет: «Я подумала, возможен и другой вариант», и все образуется.

Но не окликнула, и, направляясь по коридору к лестнице, он думал, что если и найдется пара самых ненавистных ему на свете людей, то один из них — Чопур Джаббар, а второй стала только что Бехиджа-ханым.

— Ого. Керим-бей! — Мысли его прервал стоящий у лестницы с широко распростертыми объятиями Доган-бей. По турецкому обычаю, он поцеловал Керима в обе щеки.

— Какая приятная встреча! Когда прибыли?

Лицо Доган-бея источало такое тепло, такое доброе участие и расположение, что Керим выложил ему все без утайки.

— Ах, дочь кяфира... — засокрушался Доган-бей. — Да покарает ее Аллах... Вы в такой же мере коммунист, как я. Хотя и всю жизнь питал к коммунистам неприязнь. Мы же специалисты, душа моя, специалистов ценить надо! — Доган-бей, похоже, возмущался больше Керима, — вот, эфенди, наша беда: Турция осталась в руках таких, как Бехиджа-ханым. Будь моя воля, я бы ее не то что в руководители сектора, даже в педагоги не пустил. Когда-то накатала реферат о небольшом романе, а теперь возомнила себя светилом науки. Рази ее Аллах!.. Вы переговорите с ректором. Ректор — славный человек, очень толерантный... Ему нет дела до левых правых, ценит толковых специалистов. Думаю, пойдут нам навстречу. Хотите — пойдем вместе.

Они направились в приемную ректора. Оказалось, он в отъезде, в Измире.

— Когда вернется?

— Завтра утром. В половине одиннадцатого у него заседание, — сообщила секретарша. — Приходите к десяти. Обязательно сведу вас.

— Но мне вечером возвращаться в Анкару.

— Сдайте билет, — предложил Доган-бей. — Свидитесь с ректором, а уж потом уедете. Вам надо обязательно встретиться с ним. Уверен на все сто процентов — он решит вопрос. Куда вы сейчас направляетесь? Могу подвезти на машине.

— Если мне придется остаться в Стамбуле, то надо бы устроиться в отеле. Желательно — подешевле.

— Разумеется. Жаль, у меня рандеву. А то бы пообедали вместе.

— Благодарю. Посоветуйте, в какой отель мне лучше податься?

— Довезу вас до Таксима. Там на улице Сыра Селвилер множество скромных гостиниц. Вам подойдут.

* * *

Он наведался в три отеля на названной улице. Даже на самый дешевый номер денег не хватило. Наконец попытал счастья в «Вардаре».

— Мне бы номер на ночь. Подешевле.

— Дешевые все сданы. Сожалею. — Администратор в бордовом форменном пиджаке развел руками. — Сожалею.

Керим уже порядком устал, проголодался. Хотел в туалет.

— Я был уже в трех отелях, — в отчаянье проговорил он. — Отсюда мне идти некуда. Найдите мне какой-нибудь номер.

Администратор внимательно всмотрелся в Керима. И Керим не сводил с него взгляда. Запавшие глаза, под глазами мешки. Наверное, и он страдает почками. Администратор все еще смотрел на него, о чем-то размышляя, что-то прикидывая.

— Могу предложить один номер, — наконец проговорил он. — Но...

— Что «но»? Дорого стоит?

— Нет, очень дешево. Самый дешевый у нас номер, пятьдесят тысяч лир...

— Согласен.

— Но...

— Какое еще «но»? Не беда, если нет удобств, душа, прочего.

— Душа нет, но туалет имеется.

— Вот и ладно. Одну ночь обойдусь без душа. Вот пятьдесят тысяч лир.

Давая ключ, администратор почему-то продолжал колебаться, и Керим никак не мог понять причину этих колебаний.

— Может, вы хотели предварительно заглянуть...

— Не стоит. Есть постель — и ладно.

Администратор медленно протянул ему ключ. Направляясь к лифту, он чувствовал на спине долгий цепкий взгляд.

Номер и впрямь оказался убогим: без окон, темный, тесный... Койка, пара стульев, шифоньер, и все. Шифоньер был с зеркалом, заляпанным желтыми кляксами, — и не разглядишь себя. Попользовался туалетом, умылся и направился к шифоньеру, намереваясь положить дорожную сумку, но... внутри оказалась куча одежды: на пластмассовых вешалках висели поношенные мужские костюмы, пиджаки, брюки, сорочки разной степени свежести, сноп безвкусных аляповатых галстуков. На верхней полке — соломенные и фетровые шляпы, пара кепок, шерстяная шапка. А внизу — пять-шесть пар разнокалиберной мужской обуви. «Верно сказано: от постного мяса и навару нет», — подумал Керим. В номере даже не прибрали, прежде чем впускать постояльца. А как простыни, наволочки — сменили? Приподнял одеяло — нет, все свежее, необлежанное, хотя и чуть влажное. Отходя от кровати, зацепился ногой за стул, взвыл от боли «Эх... могиле — и той бы не быть тесной...» — Подумал, и от этой мысли стало как-то не по себе, мурашки по спине побежали. Чертовски проголодался. «Схожу куда-нибудь, перекушу. Кажется, тут есть дешевые закусочные».

Спускаясь по лифту, собирался сказать администратору, чтоб прибрали в номере, но того на месте не оказалось. И вообще, в холле — ни души. Ключ от номера, как увесистая груша, отягощал карман, — повесил его на крючок с соответствующим номером и вышел на улицу.

По обе стороны тесной улочки Сыра-Селвилер магазины, скромные гостиницы, парикмахерские, бары, духанчики. Перед духанчиками на вертикальной вращавшейся шашлычнице обжаривались над мангалом большие куски мяса, с которых длинными ножами срезались тонкие слои, — это называлось «донер-кабаб». Керим зашел в одну из таких закусочных, заказал донер-кабаб, «чобан салатасы» — «пастуший салат», кока-колу. В тесном помещении стояло всего-навсего четыре столика, клиентов трое или четверо. На стене меню — донер-кабаб, Адана кабабы, лепешки с фаршем, жаркое, почки... Возле меню висела большая фотография бородатого старца в меховой папахе, — Керим не узнал, чей это портрет, возможно, государственный муж, литератор, ученый или богослов минувшего столетия. Официант подал в блестящих металлических тарелках донер-кабаб с нарезанной картошкой, «чобан салатасы» — с зеленым луком, петрушкой, стакан кока-кола со льдом и солодкой.

— Приятного аппетита.

Керим показал на портрет старца.

— Кто это?

— Мой отец. Отошел в лучший мир. Вот это хозяйство от него досталось.

Он был тут и хозяином, и поваром, и официантом.

Керим посолил салат, откусил мягкий, как вата, белоснежный, тающий во рту хлеб, потянул через соломку кока-колу, и почувствовал, как кольнуло сердце. Он уже знал, что каждый приступ боли связан с каким-то воспоминанием, и из потаенных, очень далеких глубин памяти стало просачиваться смутное видение, проступая все яснее и четче, как изображение на фотопленке, и перед взором ожил Секили-булаг... И лилпяр, растущий вокруг устья, и волшебная студеная вода, которую они пили, всасывая через полый стебелек лилпяр.

Он помассировал покалывавшее сердце и стал прислушиваться к проникновенно томительной музыке, которую только что поставил заботливый хозяин-повар-официант. Нежный и приятный голос исполнительницы, аккомпанировавшей себе на гитаре, напомнил по манере американскую фольк-певицу Джоан Баэз, но это была турчанка, певшая на родном языке. Она только изредка оттеняла мелодию аккордами на гитаре, преимущественно пела без аккомпанемента.

Кериму вспомнилось определение такой манеры исполнения, некогда услышанное из уст знакомого врача-сабирабадца Агабейли, — «яван охума». Хорошая метафора. «Яван охума» — как «хлеб всухомятку». Он вкусил хлеб всухомятку — еще кусок. Хлеб показался даже вкуснее, чем донер-кабаб. Мясо было постноватым.

Вслушался в слова песни — они показались знакомыми.

Прошла, промчалась жизнь моя.
Прошла, как ветра дуновенье,

И мне все мнится до сих пор,
Прошло единое мгновенье...

Юнис Эмре! Конечно же, Юнис Эмре.

Тому свидетель сам Господь,
Душа моя вселилась в плоть,
Настанет время, упорхнет,
Как птах из клетки — для сравненья.

— Кто эта певица? — спросил он у хозяина-повара-официанта.

— Ясемин Гумрал. Понравилось?

— Очень.

У него были кассеты большинства турецких звезд. Но о Ясемин Гумрал он ничего не слышал и по телевидению не видел, даже фото на глаза не попадалось. Молода ли, в годах ли, красива ли, невзрачна ли или ничего — не знал. Но на миг ему показалось, что может пойти хоть на край света на звуки этого голоса. Можно плениться красотой, изяществом, смехом, запахом волос женщины, лучистым взглядом, мимолетным поворотом головы, но, оказывается, можно влюбиться и в голос, только в голос. Куда бы ни позвал, ни поманил его этот голос — был готов бросить все и устремиться за ним, бросить все — работу, семью, жизнь, которой жил, родину... Ясемин Гумрал уже пела другую песню — собственного сочинения, как она сама сообщила. Песню о тоске разобщенных душ.

Обнялись два континента
над Босфором на мосту.
Нам же сойтись не суждено...

Керим знал и то, что никогда и никуда не помчится на зов этого голоса, никогда не бросит свою работу, семью, привычный уклад жизни, и если в этом вечном городе, который является и Стамбулом, и «чутьочку Византией», железобетонными цепными мостами соединились Европа и Азия, то ему, Кериму, никогда не встретиться, не сойтись с обладательницей этого голоса.

Не доев донер-кабаб, он съел всухомятку весь хлеб, уплатил тридцать пять тысяч лир и вышел на улицу.

В ушах все еще звучал голос Ясемин Гумрал и печальные неумолимые истины древнего поэта: «Прошла, промчалась жизнь моя. Прошла как ветра дуновенье...»

Вновь ожила перед глазами Шуша, мечеть Гевхар-ага, мгновенная ассоциация соединила строки Юниса Эмре неувыдающим двустипшием поэтессы Агабейим-ага, старшей сестры Гевхар-ага, бейтом, со звучным по настрою и ладу:

Любовь ко мне явилась в ночь
и в ночь ушла,
Не помню, как и жизнь
прошла и прочь ушла...

Как ему было объяснить все это — тоску по безвозвратно ушедшим былым дням, шушинскую ностальгию Агабейим-ага в «золотой клетке», в роскошном дворе тегеранского правителя — мужа, — как все это объяснить окружающим людям — Бехиджаханым, даже и Доган-бею, и Эролу, добродушному, как медведь (так ли уж добр медведь, он не знал, но люди отчего-то питают к косолапому «хозяину» теплые чувства), водителю компании «Варан», автобусному попутчику с мохнатыми бровями?..

Как объяснить, чем была Шуша — не только для его народа, но и конкретно для него самого, Керима, и что значит и каково потерять этот город? Каково — когда у тебя «из головы дым идет» при невыносимо мучительной мысли, что родник Хан-гызы, могилы Вагифа, Навваба, старинные очаги достославных семейств Гаджигули, Мехмандаровых, мечеть Мемаи под пятой врага? Любопытно знать: есть ли в турецком языке такое — «дым из головы идет»? А если нет, каков эквивалент?

В наступающих сумерках светились и сияли огни реклам. Табло со светящейся бегущей строкой вновь сообщало о карабахских событиях, инициативах ОБСЕ, о разъяснениях и заявлениях президента, премьера. А Керим думал о словах семилетней девочки, увиденной в Баку, на телеэкране, и сердце шемило, как в безжалостных тисках.

— У нас в Шуше был дом, был отец, и было дерево во дворе...

Было... было... было...

— Каждую ночь мне снится, что наше дерево распустило цветы...

Где-то он читал древнее предание: тюркский хан попадает в плен к китайцам. Император Поднебесной оказывает ему всяческие почести, содержит пленника в подобающих его сану и славе условиях. Но хан хранит угрюмое молчание, смотрит тучей, никогда ни разу улыбка не тронула его губ. Несколько лет вот так и прожил — нелюдимым и молчуном. Денно-ночно безмолвствовал устремив взоры в пространство, в сторону родимой земли. Летописец завершил предание словами: «Вот так глядел, глядел всю жизнь и умер». Этот печальный сказ для Керима был потрясающим выражением невидимого, неслышимого горя человеческого сердца, затаенной, сокровенной его тоски, угасания души.

Кериму казалось, что он до конца, до доньшка проникает и ощущает эту душевную рану, неприкаемую тоску, одиночество, боль, невыразимую словами и потому могущую быть только умалчиваемой?

Я не помню, как же жизнь
прошла и прочь ушла.

Удивительная вещь — поэзия, одной строкой может сказать то, чего хватило бы на повесть, на роман.

Керим был человеком литературы: вся его жизнь прошла среди слов, в общении с книгами, стихотворными строками, текстами, и этот книгомир был

для него столь же реален, как мир сущий, полон воспоминаний, горестей и радостей.

Строка высокородной Агабейим о незамечаемом беге времени, слова Юниса Эмре о быстротечности жизни, проходящей в мгновение ока, всколыхнули другие пласты памяти, другие тексты. Вспомнил самые потрясающие творения мировой прозы о закате жизни — толстовскую «Смерть Ивана Ильича», чеховскую «Скучную историю», «Смерть в Венеции» Томаса Манна, «Господина из Сан-Франциско» Бунина, «Снега Килиманджаро» Хемингуэя...

Предсмертное состояние, холодное дыхание смерти, ледяющее душу, страх смерти, вползающее в сердце предчувствие рокового конца, последние исповедальные счеы с прожитой или непрожитой, не сбывшейся, как бы хотелось, не сумевшей сбываться жизнью. Почему так все сложилось? Почему я поступил так, а не иначе? Почему я сделал то-то, а не то-то? Вообще, в чем был смысл прожитой жизни, — последний спрос с себя, последнее раскаяние, бесполезность этого раскаяния, непоправимость, необратимость. Керим знал людей, которые не жили, а проживали, прожигали жизнь. Знал людей, которые тоже не жили, — а словно отбывали назначенный срок, влача тусклые, бесцветные дни.

На ум пришло стихотворение Расула Рза:

Говорят, вечера навевают печаль,
Говорят, угнетает крошечная ночь.
Говорят... говорят..
Ну а днем? Как-нибудь
Нам до вечера б дотянуть...

Да, для многих и многих жизнь — только лишь ожидание, ждут, пока наступит вечер, настанет ночь, — томительный, гнетущий вечер, нескончаемая темная ночь... Чтобы опять же ждать и дожидаться — с открытыми бессонными глазами и каждое наступившее утро — не праздник, не великое чудо мироздания, а только лишь стадия в череде ожидания дня, вечера и затем ночи, вечного нескончаемого ожидания.

Может быть, и народившаяся жизнь — тоже некий срок наказания, который тебе надо отбыть? Ждем конца, исхода, финала, как подолгу ждем на остановке не желающего подойти трамвая, автобуса... Куда нас повезет этот «транспорт», — не к новому ли пункту ожидания? Каждый шаг, каждая пядь, каждый миг, день, год этой изнурительной дороги, ведущей от колыбели до могилы, — ожидание, ожидание, — люди ждут, как если бы ждали, пока пройдет насморк, пока выдадут зарплату, пенсию, ждут последнего акта, финала. Люди? Разве он сам, Керим, не один из них?

Но ведь были, были те, кто жил по-иному. Взять того же Садыра. Керим никому никогда не завидовал. И Садыру не завидовал — ни его «Мерседесу», ни роскошной пятикомнатной квартире, доставшейся в наследство от тещы-академика, в Доме ученых, ни даче в Пиршагах, ни деньгам, которых куры не клюют, рублям, лирам, долларам, ни уладам, ко-

торым он сейчас, наверное, предается со своей Наташей... или, кажется, Надеждой? Но, между нами говоря, похоже, и ты чуток равнодушен к этой Нат... Надежде? Да уж, ничего себе... аппетитная... Как сказал Гараджаоглан: «Словно снег на эйлаге, грудь бела, мне припасть бы, и пропасть бы, умереть...».

В этом таинственном мироздании одному только существу завидовал Керим, — Аллаху, астафулла¹. Кериму представлялось, что жизнь — плод сотворчества Всевышнего с человеком, но Всевышний знает весь сюжет этого действия, а главное — конец, а человек — нет. Керим, точь-в-точь как древние суфии, видел человека богоравным и, не сомневаясь в существовании обоих, не был твердо уверен, кто кого сотворил. Человек ли Творца, Творец ли человека? Ведь для человека Бог — лишь тот, кто существует в его воображении и иного не может быть, и, значит, Бог — субстанция, существующая в его, человека, воображении, сознании, представлении, и в таком случае, воображение, сознание, представление столь же материальны, как сама действительность. И с каждым угасающим человеческим разумом исчезает Бог и возрождается вновь в ином сознании и воображении. Но безотносительно к первичности или вторичности сущего — одна истина для него была неоспорима: Господь ведает. Он всеведущ. А человек — нет. Может, в этом и счастье человека? Как сказал Физули — «Неведеньем была душа блаженна...» И он же говорил: «Не тот умудрен, кто сущего мира премудрость постиг, Мудрец только тот, кто тайн мироздания не знает...»

Господь ведает и то, что было, и что есть, и что будет. Человек же не знает былого — ему приходится лишь верить свидетельствам таких же людей — и не может постичь сути происходящего. И пребывает в совершенном неведении о грядущих событиях.

Не могуществу и мудрости Всевышнего завидовал Керим, он завидовал его всеведению. Было у Господа досье на всех людей от Адама и Евы до Керима, — доскональный перечень каждого поступка, помысла, пусть даже неосуществленного, каждой мысли, обрывка мысли, искорки мимолетного желания, — все запечатлено в неистощимой, необъятной и бесконечной божественной памяти. Он ведает не только корни, источники, движители событий, — он предвидит и их последствия, плоды — на пять лет или пять тысячелетий вперед.

...И знает о каждом из нас во много раз больше того, что мы знаем сами о себе. Несоизмеримо больше. Даже Христос, Моисей, Мухаммед, Будда, Конфуций, Низами, Монтень, Шекспир, Достоевский, Марсель Пруст, Фрейд... — все вместе взятые — не знают о человеке и миллионной доли того, что ведает Бог. Ибо Бог знает самые трепетные движения человеческой души, самые тонкие наития человеческого разума в контексте всех других людей, прошлого и будущего, — в их сопряжении и противостоянии, прогрессе и регрессе, составлении и борении. Человек этого не зна-

ет. Быть может, и не должен знать, и это само по себе доставляет одну из мудрых тайн, ведомых лишь Богу?..

Что произойдет через час. Через час он вернется в свой отель. А вдруг нет? Вдруг? Не приведи бог (то-то и оно!), ему на голову упадет камень и уложит насмерть? «Астафулла!» Чур, чур! Типун тебе на язык. Нет, через час он непременно вернется в тесную комнатку в отеле. «Тесную, как склеп». Опять это ужасное сравнение! Представил свое обиталище и похолодел. Чем позже вернется туда — тем лучше. Только для того, чтоб переночевать.

Находился, намаялся, а ко сну не тянуло. Предвидел, что долго не сможет уснуть. Боялся маятных, гнетущих мыслей, завладевших его существом, боялся сердечных «сюрпризов». Здесь, на улице, в человеческой толкотне и суете, съедаемый и терзаемый горькими, невеселыми думами, воспоминаниями, он мог, по крайней мере, рассыпать их вокруг, расплескать, развеять по лицам встречных-поперечных, растворить в мешанине уличного гомона, автомобильного гула. А в сумерках и безмолвии гостиничной клетки вся сумятица наплывающих мыслей, чувств обернется червем, гложущим и грызущим его изнутри.

«Вернусь в отель, когда уж совсем изведусь...» — решил про себя. Но после полудремотной ночи в автобусе, после разочарований и переживаний уходящего дня у него уже и сил не оставалось слоняться и плутать по улицам. Ноги налились свинцом, еле держат. Туфли, взятые у Садяра, вроде разносились, но теперь, когда ноги набрякли и вздулись после автобусного томления, они нестерпимо жали.

Всю жизнь мечталось побывать в Стамбуле, побродить всласть от зари до зари по городу, исходить его вдоль и поперек, и вот теперь, когда мечта сбылась, исполнение оказалось невозможным. Волоча ноги, доплелся до набережной, и когда в глаза бросилась надпись на пристани — «Ускюдар» — направление переправы через пролив — его осенила хорошая идея. «Сяду на теплоход, билет стоит недорого, тысяч пять лир, — отправлюсь через Босфор в Ускюдар и обратно». Над Босфором опускался дивный вечер. «Сиди себе на палубе, любуйся морем, на европейский, азиатский берег. А как обратно вернусь — приспее и пора отойти ко сну. Потопаю в отель — и на боковую». На ум взбрела когда-то слышанная смешная фамилия «Атды-ятды Батдыгалдыев»².

Уплатив пять тысяч лир, купил жетон, бросил в шелку на контрольном турникете и прошел в зал ожидания, теплоходик уже причалил, и молодые парни — пассажиры, не дожидаясь, пока закрепят концы и перекинут сходни, нетерпеливо перескакивали с палубы на причал. А пассажиры постарше, посolidнее и терпеливее сошли по сходням, посудина разгрузилась и последним сошел на берег одинокий, отрешенный от суеты, наверное, никуда не спешащий, как и Керим, пассажир, поплелся ленивой походкой, и только когда он завернул за угол и

¹ «Прости, Аллах».

² Приблизительный аналог — «Легкопалкин — Всепроспалкин».

скрылся из виду, служащий открыл двери, и поток новых пассажиров хлынул в салоны и на палубы двухпалубного теплохода «Шехид Акбулут».

Керим устроился на верхней палубе, в носовой части, и погрузился в созерцание неповторимой панорамы вечернего Стамбула, с мусульманско-христианскими силуэтами — минареты и купола мечетей, Айя София, внушительный ствол Генуэзской башни, искрящийся огнями дворец Чираган, маяки на Босфоре, мигающие буи, огни лайнеров, теплоходов, баркасов, моторных лодок...

Он думал — человек в неведении не только о далеком будущем, но и о том, что произойдет через час. Ведь совсем недавно он думал, что через часок будет у себя в отеле, а вот же — оказался на теплоходе, пересекавшим Босфор, и, переправившись через Мраморное море, через час ступит ногой на азиатскую землю.

Слово «недавно» — «байаг» — напомнило ему турецкое баяты — в Турции говорят «мани».

Dünyaya uyağ gəldim
Yatmadım, oyağ gəldim
Ömür deyir yuz ildir
Könül deyir bayağ gəldim¹

Что нашептывала душа ему, Кериму? Впрямь ли он явился в мир «недавно»? Или «сто лет назад»?

Мост, соединивший два материка, виделся теперь лишь силуэтом, и огни нескончаемого потока машин издали на сумеречном фоне напомнили порхающих по воздуху светлячков.

Да, и человек — наподобие светлячков. Где ему, бедняге, не предвидящему свою участь хотя бы на час, предугадать на месяц вперед то, сколько еще отпущено ему жизни на брэнной земле?

Керим не умел молиться, но в последнее время обращался мысленно ко Всевышнему с одной-единственной просьбой: «Господи, не прошу у тебя долгой жизни, но только вразуми меня — знаменьем ли, намеком ли, знаком ли, — сколько мне осталось жить: год, два, пять или... язык не поворачивается сказать — ...десять... Я бы тогда знал свой расклад...».

Но Всевышний безмолвствовал.

Из репродукторов на судне лилась старинная турецкая песня, очень полюбившаяся Кериму:

Здесь края чужие — Муш.
Перевал — губитель душ.
Уходящим нет возврата,
Отчего же, почему ж?
Здесь йеменская страна,
Степь-пустыня зелена.
Уходящим — нет возврата,
Отчего же? Чья вина?

¹ В мир я пешком пришел,
Не во сне, а в явь пришел.
Жизнь твердит: сто лет назад,
А душа: недавно пришел.

В этой песне тлела тоска «мехметов»², в начале века тянувших солдатскую ношу в Йемене и зачастую не возвращавшихся назад, тоска заждавшихся и не дождавшихся их.

Через пару часов он будет у себя в отеле. Ляжет спать. И, быть может, приснится ему никогда не виданный Йемен или Шуша, куда встарь отправлялся каждое лето, привольный простор Джидыр-дюзю, редчайший дар шушинской земли — цветок «хары бюльбюль». Потом наступит утро и все истает, и Джидыр-дюзю, и волшебный цветок. Он встанет и отправится в университет. На прием к ректору.

Как-то решится вопрос? Удастся ли намерение Керима? Аллах знает. Вот и доехали! В том-то и дело. Именно так: Аллах знает. Только и только он. Один он ведает все. Ведает о завтрашней встрече с ректором и о том, что Керим услышит в ответ. Конечно, знает и о том, что от решения вопроса косвенно зависит и будущая судьба его дочери. О Господи, не разочаруй меня, не сокрушай, сделай так, чтобы сбылось мое чаянье, — молил он Аллаха, — иначе как я вернусь в Баку, домой, в семью («тюфтяй», «размазня», «неудачник»), на службу — («слыхал, наш «герой» вернулся не солоно хлебавши»...).

Этот мучительный вопрос-загадка пульсировал в мозгу; ответ на него знал один Господь, и Керим завидовал всеведущему небожителю. Завидовал — то есть верил на все сто процентов в его существование и уповал на его милость и еще — побаивался. Только чуточку, потому что не знал за собой никакого греха, лиходейства, постыдного поступка перед Ним, и если Он справедлив, если знает все и вся, то уж хорошенько переворошил, покопался в биографии — «объективке» Керима где по полочкам разложены добро и зло. Теплоход приближался к азиатскому побережью, и он ясно различал частные виллы, одна краше другой. Каждый особняк, в два-три этажа — со своей окраской, неповторимым архитектурным решением, использованным стройматериалом.

У многих под террасами, выходящими на пролив, — свои моторные лодки, а у иных — яхты, от полюсвенных кают которых по воде тянулись мерцающие полосы. На водной глади, под лунным сиянием искрились серебристые осколки. Он представлял себе и интерьер этих вилл — насмотрелся дизайнов таких роскошных жилищ на телеэкране, в цветных журналах.

Виллы обставлены мягкой мебелью, устланы коврами, сады — райские кущи, с бассейнами, гаражи, открывавшиеся дистанционным релейным управлением, три шикарных авто во дворе и сауна, и теннисный корт, винный погреб, на первом этаже — бильярдная, огромные залы для раутов, бары, украшенные всевозможными напитками, на крышах, в соляриях, — нежащиеся, загорающие под солнцем изящные дамочки в бикини, параболические антенны, принимающие все телестудии мира. Владельцы

² «Мехметами» называют турецких солдат-новобранцев.

этих вилл проводили дневное время в небоскребах холдингов в общении с деловыми людьми, в переговорах — через компьютеры, факсы, карманные радиотелефоны с космической связью — с офисами в самых отдаленных городах, звоня из автомобилей аж в Нью-Йорк, Сингапур или Рио-де-Жанейро...

А вечерами их ждали яхты, дорогие рестораны, пышные банкеты, а ночами — казино, найт-бары, общество благоухающих, искрящихся драгоценностями и улыбками дам в декольтированных нарядах. Зимой — поездки на Улудаг, горнолыжные забавы. Летом — пляжи Анталы, клубы аквалангистов, подводная охота, прогулки на водных лыжах; игра в гольф, биллиард, на тотализаторе, игра в казино, игра, игра, игра...

В стамбульских, анкаринских трущобах тоже жили люди. Жили люди и в палатках беженцев — в Мильской, Муганской степях. Появлявшиеся на свет, жившие, рожавшие, умиравшие на обшарпанных циновках и килимах, расстеленных вдоль парапета на набережных, тоже были люди. Ютившиеся в лодках, ни свет ни заря закидывавшие сети в море, весь век с семьями, детьми проводившие в этой рыбачьей посудине, встающие и засыпающие вместе с солнцем, — тоже были люди.

Почему так несправедливо, нелепо расписана книга Божьих дарений? И к какой части книги было ближе положение Керима? Вернее, от какой отстояло дальше — от пятизвездных отелей или трущоб? Или и то, и другое было далеко от него — как звезды в небе?

Что же дальше — край мой? Юность?
Или звезды в вышине?..
Сквозь березы свет струится,
Теплый, желтый свет в окне...

А для него, для Керима, откуда исходило манящее тепло светящегося «желтого окошка»? Из Баку ли? Из Стамбула? Из Шуши? «В городе на семи холмах затерялся мой бутон... (В Стамбуле — родном городе — потерял свой цветок Назым...)»

...Ни стыдиться дум о смерти,
Ни бояться — не резон...

Назым, вырвавшийся из капиталистического ада и вступивший в коммунистический рай, по его собственным словам, «подышал» в самой благолепной сердцевине этого эдема — в Москве.

Мне чужбина — пуше смерти,
Ах, цветочек мой, цветок...

А Мамед Эмми, вырвавшийся из коммунистического ада, сподобился капиталистического рая и угас с именем Азербайджана на устах...

— Чай, чай, бублики!..

Ветер с Мраморного моря крепчал. Палубные зерцатели разбежались и набились в салоне. Керим остался на палубе в «гордом одиночестве», и зазыва-

ния судового продавца с перекинутой через плечо плетеной корзиной адресовались только к нему.

— Чай, чай, кому чаю? Бублики...

Керим замотал головой.

— Благодарю, не требуется.

Продавец ушел — палуба совсем обезлюдела. Стало холодно не на шутку. Он продрог, к тому ж и проголодался. Вроде и не перекусил часок тому назад. Зря он не дождал тот данер-кабаб, и сейчас зря отказался от услуг продавца — мог бы хоть бубликом заморить червяка... Казалось, и птицы марты, выстроившиеся в ряд на волнорезе, озябли — жались друг к другу.

Эти съездившиеся птицы, холодные, неласковые огни маяков, буев, судов, далеких домов, качка на теплоходе — все будто напоминало кадры какого-то фильма и он был не действующим лицом, а зрителем, толком не понимающим своего выбора. «Действительно, какого рожна я потерял тут... усталый, голодный, без денег, взрослый дядя, у которого хлопот полон рот, которому все обрыдло, какого черта втемяшилась блажь — пуститься в такую даль в погоне за призрачным заработком? С какой стати попусту сорить днями на последней финишной прямой жизни, и без того прожитой в суете? Почему он всю ее прожил с неотвязной мыслью, что он у кого-то в должниках? Когда он избавится от этого долга? Кому он должен? Уж не всем ли? До каких пор он будет обольщаться иллюзией, дескать, все еще впереди или нечто светит впереди. Ничего впереди нет, ничегошеньки. Как нет ничего и позади. Только бремя бесплодно прожитой жизни, согнувшее спину. Вот и все. ...И не прожить заново эту бестолковую жизнь, прокрутив ее как кинолентку...

Но существует ведь еще и вера в потустороннюю жизнь. Будто бы по завершении земной жизни, за каменным ее порогом — могильной плитой, начинается новая жизнь. Но останется ли в той жизни — если она существует — память здешнего земного бытия, — может ли он сохранить, уберечь в той, потусторонней, памяти этот стамбульский вечер, этот ветер, веющий с Мраморного моря, шемайскую песню «Здесь йеменская страна...», белый лайнер, следующий из Черного в Мраморное море, силуэты чабанов в мохнатых папах, проступающие сквозь туман на эйлате Гырх-гыз как фантастические, ночные видения, неприкаянную птицу, доверчиво угнездившуюся на носу плоскодонки во время их путешествия по Куре, песню «Лачин», которую напевала мама, одиночество и боль до конца не понятого никем отца, тутовое дерево на бузовнинской даче, удивлявшее сочетанием белых ягод на одной ветке и черных на другой, чарующий голос Ясемин Гумрал — сможет ли он уберечь всю эту массу воспоминаний, красок, слов, звуков, образов, толкающих друг друга, наплывающих друг на друга? Единственное сокровище, достояние, которое стоило бы взять с собой на тот свет, — память, ее бесценные залежи. И если прожитая тобой жизнь будет стерта из памяти, вычеркнута, выброше-

на, забыта, значит, ты не продолжаешь жить, а начинаешь жить заново, с нуля. А это совершенно другое дело. Нечто, начинающееся и кончающееся небытием. Так что ж — снова затевать этот бессмысленный сюжет? А стоит ли? Прожили, насмотрелись...

В детстве Керим долгое время никак не мог поверить, что когда-нибудь он умрет: «Пока я вырасту, люди изобретут такое лекарство, что не будут умирать...» Самая незыблемая вера в собственное бессмертие у него опиралась на наивное и простое рассуждение: «Да как может быть, чтобы меня не было? Как я могу исчезнуть? Где ж я буду сам?»

Однажды этому наивному оптимизму положила конец столь же простая, но жуткая мысль: «Ладно, а где ты был до того, как появился на свет? В небытии. Не повстречайся случайно твои будущие отец и мать, не понравились они друг другу, не возникни у них желание — тебя и не было бы вовсе. И для тебя, до зачатия в лоне матери и появления на свет, ничего не существовало... Ни людей, ни улиц, ни деревьев, ни этого небосвода, увешанного гроздьями звезд... Так и все пребудет — после твоей смерти. А для тебя не будет ни неба, ни моря, ни звезд. Только пустота, беспросветная тьма небытия...».

Теплоход причаливал к берегу. Отдавали концы. Сколько осталось, если бы знать, сколько осталось до конца, до пустоты, до небытия. «Остальное — молчанье», — как говорит Гамлет.

Эх, да что ломаешь голову, изводишь себя, будь что будет! «Не получится разговор с ректором, не смогу найти подход, уговорить, уломать — вернусь восвояси! Ну, пусть себе судачат, ну, почешут языками пять дней, десять, месяц, а потом все забудется. И с приданным как-нибудь выкрутимся. Все ведь выдают дочерей замуж... Женятся, женят... не все же, как я, кусают себе локти. Ничего, запрягусь, буду вкалывать, накатаю диссертацию не одному денежному профану, а десяти, продадим семейное добро, и самое дорогое — книги отца и то, что я сам насобирал — продам, на что они впредь? Что мне терять? Долго ли до конца?... Одолжу денег у Садяра — на пару-другую лет». Это был самый мучительный, невыносимый и, быть может, даже невозможный способ выйти из положения. Но был и худший... как он ни пытался выкинуть из головы, но и этот путь маячил перед глазами как запасной вариант.

Изверившись во всех вариантах, отчаявшись, он приходил к решению: на худой конец выложу Садяру все, впрочем, он и так в курсе моих проблем, попрошу включить меня в состав приемной комиссии, и я один разочек, всего один-единственный, черт возьми, шепну на ушко одному из этих толстопузых дядь, дающих мзду у женского туалета, или «попрошу спичек» у студентов на экзамене...

Тьма уже загустела, но Керим, кажется, и в темноте видел, представлял, чувствовал, как лицо заливается краской стыда, как горят уши...

Садяр, конечно, пойдет навстречу, уважит просьбу. Кериму казалось, случись такое, Садяр даже обра-

дуется. Такие, как Садяр, не верят в то, что кто-нибудь на свете может остаться до конца чистым, без пушка на рыльце... Они уверены: «рано или поздно»... И стоит их прогнозам подтвердиться, они испытывают радость, будто находят некую индульгенцию для себя: «А как же? Я же говорил... Ну, конечно... Рано или поздно... Да и как быть ему, бедолаге... Да, да, разумеется, понимаю, все понимаю, но отныне и ты, Керим, и твой соратник Гияс не корчите из себя ходячую добродетель, не глядите на всех прокурорами... Все мы люди, человеки, у каждого свой уровень запросов, потребностей... Человек, как говорится, вскормлен сырым молоком. Да и молоко, между прочим, дорожает день ото дня, ха-ха-ха... Так-то, брат, Гудбай...»

Ладно, мир не повернется, если и я один раз отступлюсь... отступлюсь... Или Аллах не простит мне греха? Но он же всевидящ и всеведущ... и все понимает лучше меня.

— Эфенди, вы не сойдете на берег? — Это был судовой служащий. Теплоход давно причалил, все пассажиры сошли — оставался один Керим.

— Я вернусь обратно.

— Надо вам сойти и приобрести новый билет.

Керим так и сделал.

Когда завершил обратный рейс на европейский берег, у него уже и сил не оставалось добраться до отеля. И сердце давало о себе знать острым покалыванием.

Увидев драндулет с надписью «Таксим» на ветровом стекле — маршрутку, по-здешнему, «долмуш», он «проголосовал», сел в машину. Доводилось ему ездить в маршрутке и в Анкаре. Одно наблюдение подтвердилось и здесь. Почему-то пассажиры маршруток никогда не вступали в разговор между собой, не общались. В автобусах, трамваях — другое дело, и словом перекинутся, и пошутят, посмеются, при случае и подискутируют. А в «долмуше», глядишь, народу — битком, возле водителя — двое, по три человека — во втором и третьем рядах, молча уплатят за проезд, возьмут сдачу и сидят, набрав в рот воды. Как при покойнике.

Маршрутка остановилась в квартале «Таксим», справа от Центра культуры имени Ататюрка. Керим направлялся к отелю. Олеандры в сквере справа расцвели, и их сладковатый аромат, мешаясь с запахом свежескошенной травы на газонах, пьянил.

Есть месяц прекраснее, благоуханнее мая? Как было близко и как было далеко счастье, блаженство, обещаемое этими запахами?

Отель был пустынен. Ни души. Администратора нет на месте. Бери ключ от любого номера, иди, открывай.

Керим, естественно, взял ключ от своего номера. Лифт стоял на первом этаже, с открытыми дверями. Вошел в кабину, нажал на кнопку «пятый».

Когда переступил порог номера, от затхлого, спертого воздуха затошнило. И окна нет, чтоб проветрить. Оставил дверь на время открытой, но это не освежило воздух — в коридоре тоже воздух застоялся

и был волглым, сырым, стены и снаружи, и в номере заплесневели. Закрыв дверь, он снял верхнюю одежду, умылся. Заметил, что один стул исчез. Вот ведь какая ценность! Он-то точно помнил — стульев была пара. Значит, в его отсутствие в номер заходили. А из шифоньера, интересно, одежонку убрали? Нет, все как было, — поношенные костюмы — серые, желтые в полоску, в клетку, черные пиджаки с замызганными и затертыми до блеска воротниками, плащ в пятнах, ратиновое пальто с истертыми на локтях рукавами, соломенная, фетровая шляпы, черные мокасины, черные туфли с ремешками, ботинки с развязанными шнурками, расплзшиеся шлепанцы, выцветшие ковбойки, тенниска, когда-то имевшая белый цвет, дешевый шерстяной пуловер, джемпер без пуговиц... И те же аляповатые галстуки...

Он разулся, снял носки, разделся — надо было навесить, наложить свою одежду на чужое старье, хотя он и чуть брезговал чужим. Но вдруг заметил незанятую вешалку, — на нее и нацепил свой пиджак, брюки и водрузил кепку. Выпростал края одеяла, подобранные под матрац, выключил свет, свалился в постель и уснул как убитый.

* * *

Его разбудила боль. Это были уже не прежние мгновенные покалывания. Сердце сжало железными клещами, боль отдавала в спину, под лопатку, растекалась по всему телу, с трудом поднял правую руку, провел ладонью по лбу — холодная испарина. К беспощадной, жестокой боли примешался страх — он внезапно испытал такую беспомощность, отчаяние, что захотелось вскричать, позвать на помощь, и с ужасом осознал, что и кричать нет сил. Еще более ужасная леденящая мысль вспыхнула в мозгу: «Инфаркт?» Тогда уже не подняться — сердце не выдержит, оборвется. Под рукой ни телефона, ни кнопки вызова. Попытался приподняться в постели, но тут же от скрутившей боли распластался навзничь и больше не предпринимал попыток.

Как сообщить о своем состоянии? Когда узнают? Не раньше, чем утром. Или днем. Может, взглянет уборщица прибрать. И то вряд ли. Похоже, в этом номере вовсе не убирают.

Иначе столько баракла не оставалось бы в шифоньере. Боже, что за сумасшедшая боль! И как он пойдет завтра к ректору, если сердце не отступит? А не пойдет — тогда все надежды лопнут как мыльный пузырь.

На какие шиши он справит приданое? Где найдет столько денежных неучей, метящих в ученые? Или и впрямь придется «чиркать» у студентов? Ничего себе юмор. Нашел время шутить... О боже, какая дикая боль! К черту! И ректора, и эту импортную дребедень, и «спички». Лишь бы эта боль отпустила... С ума можно сойти. Неужели инфаркт? Как же тогда? О Господи, пощади и помилуй. Кто выгашит меня отсюда, кто увезет? Куда? В какую больницу? Если даже микроинфаркт, ишемия, — минимум месяц проваляешься без движения. Лекарства, врачи... Да кто меня станет вы-

хаживать, обхаживать, на какие деньги? ...Узнай Садяр — приедет ли? Возьмет ли на себя хлопоты? Ему же послезавтра лететь в Баку! Доклад предстоит... Нам бы вместе... да вот... Нет, не бросит он меня на произвол судьбы... Сам не сможет, другому поручит... И моих дома не вспугнуть бы... придумает отговорку, чтоб их успокоить. Надеюсь и расходы за мое пребывание здесь оплатит... Хорошо, что хоть он при деньгах и не жлоб. Как там их заработал, раздобыл, нажил, — не мое дело, главное, широкая душа, не оставит друга в беде... Хорошо, что я в стычках, в пылу спора не перегибал палку, не портил с ним отношений. Он, Садяр, знает все это и при случае, когда речь заходит о «трудо-вых» и «нетрудовых», сводит все на шутку: «Ты — такая, я — такой», — как у Полада в песне поется.

Да уж самое время — песни петь... тут взвыть хочется... сердце раскалывается, трещит по всем швам, нет, не раскалывается, не трещит, а сжимается в комочек, как в железных тисках, вот-вот искрошится, оборвется, упадет...

Нет, ничего не может со мной стрястись, не может... А если... как тогда со свадьбой дочери? На сколько придется отложить? А после... Может, и не суждено мне увидеть свадьбу. И Шушу увидеть — не судьба, даже окажись такая возможность, — никудышным сердцем на такую высоту... Что за мука, что за наказание, о боже. В кармане пиджака валидол... попробуй теперь доберись, достань, не додумался положить рядом... нет, не похоже, что тут одним валидолом обойдешься.

Попытался вспомнить, в каком кармане пиджака положил таблетки. И где повесил пиджак. Казалось, он сквозь дверку шифоньера с заляпанным зеркалом ощупывал, перебирал взглядом подряд всю одежду, вывешенную внутри, и в этот самый миг, скрученный страшной болью, он осознал страшную истину: **ОН УМИРАЕТ.**

В утлом номере захудалого отеля завершалась пятидесятивосьмилетняя эпопея жизни. До конца оставались считанные минуты, от силы — часы, до неумолимо грядущего Конца — в одиночестве, без участия, без друга, в безмолвии. И вскоре для него не останется ничего — ни предстоящей встречи с ректором, ни происшедшего неприятного разговора с Бехиджа-ханым.

В эти мгновения он не испытывал никакой неприязни к этой женщине. Он даже жалел и сочувствовал ей, до слез ему было жаль Бехиджа-ханым, при мысли о ее одиночестве, о том, как она растила-лелеяла калеку-дитя злосчастной сестры, единственное жалкое удовольствие, кайф, утеху в ее жизни — эти бесцельные катания в поезде Стамбул—Анкара, туда и обратно, — комок подкатывал к горлу. И взору представала Лятифа — измученная мать, вытаскивавшая в Ходжалинском лесу колючки из ручонка мертвого ребенка по одной, по одной...

...И он знал, знал твердо, что всего этого вот-вот не будет, не останется в памяти и самой памяти не будет...

...и другая догадка осенила его, каким-то наитием он разгадал тайну этой комнаты; все стало теперь ясно ему, — загадочное поведение администратора, то, как он колебался, предлагая Кериму этот номер, то, как испытующе ощупывал взглядом Керима, пытаюсь определить, подходящий он клиент или нет.

В этом номере отеля поселялись, чтобы умереть. В этот номер отеля приходили — сами того не ведая, своими ногами, добровольно, люди, которым суждено было умереть, обреченные на смерть. Их приводила сюда судьба, рок, и одежда в шифоньере была ни чем иным, как наследием, последним следом, оставленным на земле умершими, одинокими, сирыми людьми, когда-то, в разное время, в разные месяцы, годы испутившими дух в этом гостиничном номере...

...Теперь среди них останется последний след Керима, кандидата филологических наук Керима Аскероглу — серые брюки, синий пиджак, коричневая рубашка, черная кепка и черные носки. И еще туфли... Но они вовсе не мои... Садыра... Туфли... Мысль о туфлях Садыра была последней мыслью Керима на этом свете, и последний приступ нестерпимой боли, прежде чем навсегда остановить сердце, погасил его разум и повергнул в вечный мрак.

* * *

«По предложению и инициативе известного английского тюрколога Джорджа Льюиса Королевское астрономическое общество Великобритании присвоило одному из новооткрытых астероидов имя покойного литературоведа Керима Аскероглу — автора важного открытия в тюркологии. Ныне в бесконечной мгле Вселенной мерцает и небесное тело, носящее имя нашего соотечественника, талантливого азербайджанского ученого Керима Аскероглу» (*Из газет*).

Стамбул, Баку, Загульба, 1993–1994 гг.

Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ

БЕЛЫЙ ОВЕН, ЧЕРНЫЙ ОВЕН

(*Утопические и антиутопические сказки*)

Сказка первая

...И тогда появятся два схлестнувшихся овна — белый овен и черный. Белый овен обратит черного в бегство. Ты вскочи на белого овна, как только сядешь на него верхом, выберешься на белый свет. А сядешь на черного — окажешься в царстве тьмы...

Сказка о Мелик-Мамеде

Мелик Мамедли проснулся на звуки государственного гимна, вернее, проснулся не совсем, а слышал эти звуки еще спросенок. Каждый раз, ложась спать, он устанавливал таймер компьютера на утренний

час, когда передавали гимн, и ежеутренне вставал под торжественные аккорды, но сегодня, удивительное дело, еще пребывая в полусне, он был охвачен особым чувством радости. Отчего же звуки мелодии, которые он слушал ежедневно, вызывали сейчас столь благостное настроение? И, еще не стряхнув с себя дрему, он догадался о причине: ведь сегодня день праздника Новруз, и ему предстояло пережить этот день, как все по всей стране — с чувством большого воодушевления, радости, гордой уверенности и умиротворения. И так же, еще пребывая в полусне, он подумал — не будь неблагодарным, разве ты, как и все, эти последние годы, дни и ночи не живешь с тем же чувством безмятежной эйфории?..

Короче, пора было вставать. Рывком поднялся с постели и дослушал гимн до конца стоя — это вошло у него в привычку.

Мелик знал, что в эти минуты с таким же чувством патриотического воодушевления и гордости этот гимн, звучащий по всем двенадцати телерадиоканалам, слушают миллионы людей — от Дербента до Хамадана, от Казахстана до Казвина.

Он, конечно, настроил компьютерный приемник на волну теле-радиоканала «Чагдаш»¹, где работал вот уже тринадцать лет комментатором и автором-режиссером. Канал уделял преимущественное внимание вопросам культуры. Другие каналы, при всем стремлении к универсализму, все же тяготели к определенной тематике. Единственный государственный канал +АЗРТ, разумеется, старался отображать возможно полнее жизнь республики и международную панораму. Однако у других, частных, каналов были свои направления и, стало быть, своя публика.

«Туран» вещал главным образом о тюркском мире; «Хазар» и «Апшерон» — о Баку и близлежащей области; «Араз» посвящал свои основные передачи Южному Азербайджану; «Улдуз», излюбленный канал молодежи, занимал юную смену музыкой, спортивными передачами и развлекательными шоу; «Хилал» отдавал эфир преимущественно религиозным беседам — истории ислама, трактовке священного Корана, жизнеописанию пророков, имамов и ученых богословов; этнографические, фольклорные темы, культурное наследие, старинные обычаи и традиции были в центре внимания «Новруза»; «Единство» ориентировалось на зарубежную аудиторию и национальные меньшинства в республике; «Савалан» говорил и показывал из Тебриза, «Кяпаз» — из Гянджи...

Мелика Мамедли, признанного в стране тележурналиста и телережиссера, настойчиво зазывали все каналы, но он предпочел «Чагдаш» — приобщение публики к отечественной и зарубежной культуре, к сокровищам мировой литературы и искусства стало его жизненным кредо.

Хотя Мелик неоднократно получал приглашения от политических партий, действовавших в стране, он

¹ Чагдаш — современник.

ни на одно из них не отвечал положительно и, вообще, не лез в политику. Он был твердо убежден, что отныне, с восстановлением исторической территориальной целостности Азербайджана, разрешением почти всех социальных, экономических и идеологических проблем, занятие политикой — в известном смысле, приятное хобби, вроде аэробики, коллекционирования почтовых марок или бабочек.

И действительно, — после перетягивания канатов правыми и левыми, когда сперва, при осаживании предпринимательства и бюрократическом невнимании к национальным ценностям, доминировал электорат правых, а затем, при разгуле коррупции, баснословном обогащении одних и обнищании других, тон задавала «левая» пропаганда, — все эти проблемы были раз и навсегда сняты; большинство избирателей голосовали за правые или левые партии как бы по традиционной привычке, по инерции унаследованных от родителей симпатий и предпочтений.

В Милли Меджлисе было представлено пять партий — две правого толка, две — левого и одна центристская. Правые выдвигали на первый план национальные ценности, идеи тюркства, последовательно отстаивали рыночную экономику; левые — ратовали за социальное равенство, опираясь в основном на рабочий класс; и — центристы, принимавшие определенные ценности тех и других, занимавшие, можно сказать, примирительную позицию. И у власти ныне находилось коалиционное правительство центристов и независимых, беспартийных депутатов.

Но стоит ли в этот праздничный, щедрый солнечный день вспоминать о политике!

Мелик самокритично покачал головой.

Политические события очень мало интересовали граждан процветающей республики — после освоения новых морских нефтяных и газовых месторождений, ввода в строй еще двух нефтепроводов помимо линии Баку — Джейхан, приносящих стабильные дивиденды, позволивших довести средний заработок на душу благоденствующего населения аж до тысячи баксов!

Теперь Азербайджан по уровню жизни населения оставил позади Арабские Эмираты, по степени развития экономики и культуры поравнялся с самыми передовыми европейскими странами. За последние два года медицинское обслуживание, среднее и высшее образование, коммунальные услуги стали бесплатными, общественный транспорт (за исключением такси) — тоже; и за хлеб платить не надо.

Кровавые карабахские события, экономическая разруха ушли в далекое прошлое, в воспоминания. К слову, вчера Мелику позвонил сын из Шуши, он занимается сооружением фуникулерной линии от Джидыр-дюзю до лесного массива Топхана. В Новруз принято собираться всей семьей. Жаль, что на сей раз не удастся. Бейрек — в Шуше, жена Айпери оформляет спектакль в Тебризе, а дочь Бурла читает лекции в Керкуке...

Во вчерашнем телефонном разговоре Бейрек похвалил отца: участки трассы от горы Кирс до «Гырх-

пиллекан»¹ и в районе массива Топхана и дома известного как «Пристанище Ибрагим-хана», уже пройден. Остается состыковать оба отрезка, за месяц управятся. Спасибо мингечаурцам, сработали отменные вагонетки, любо-дорого смотреть. И теперь, по словам сына, направляясь летом в живописные кущи к Иса-булагы², пассажиры фуникулера будут «пролетать» через реку Гаргар. Бейрек был фантазер. Несколькими годами назад, когда ему пришла в голову идея о фуникулере, никто не принял это всерьез, но вот, поди ж ты, сбывается мечта... А теперь он загорелся мыслью о канатной дороге к эйлагу «Гырх гыз». А почему бы и нет? За последние годы Шуша действительно стала Меккой интуристов. Горный воздух, целебные ключи, зимой — раздолье горнолыжникам, охота, альпинизм. Исторические памятники... Со всех стран мира тянутся сюда туристы. Пятизвездочные и поскромнее отели, выросшие на Джидыр-дюзю у «Эрим-гяльди»³, в Топхана. в лесах вокруг Иса-булагы, с трудом справляются с потоком гостей, приходится бронировать номера задолго до прибытия. Особый бум наступает во время ежегодных музыкальных фестивалей имени великого Узеира Гаджибекова, — участники и гости размещаются не только в Шуше, но и в окрестных городах — Лачине, Агдаме, Ходжалы, Агдере, Ханкенди, Гарабулаге...

Бейрек рассказывал по телефону не столько о фуникулере, сколько о том, как в Шуше праздновали последнюю среду — «Ахыр чершенбе» — накануне Новруза. Сын впервые встречал «Ахыр чершенбе» в Шуше и с жаром описывал бега на карабахских скакунах, старинную игру човкан на Джидыр-дюзю, говорил о ритуальных кострах, плававших до утра, через которые ребята перепрыгивали, изгоняя хворобу, а чтоб благополучие было еще вернее, бросали в огонь пучки руты; о роскошном фейерверке, озарявшем всю округу, о звонких голосах певцов-ханенде, разносившихся эхом в горах, о юных певцах — «Карабахских соловьях», перепевших искушенных ханенде и удостоившихся премии «Хары-бюльбюль»...⁴ Да, сын живописал все эти подробности с таким жаром, что Мелику как въяве предстали картины Новруза, который ему дважды довелось праздновать в Шуше. «Знаешь, — говорил Бейрек, — профессора консерватории имени Навваба⁵ наравдаться не могли...»

Умывшись и сделав зарядку, Мелик «зашел» в свою электронную почту на компьютере.

Масса поздравительных сообщений от коллег — из Турции, Ирана, России, Грузии, западных стран...

¹ «Гырх-пиллекан» — «Сорок лестниц» — скалистый склон ниже плато Джидыр-дюзю в Шуше.

² Иса-булагы — «Родник Исы» — излюбленное место отдыха неподалеку от Шуши.

³ «Эрим-гяльди» — скала на подступах к Шуше

⁴ «Хары-бюльбюль» — уникальный цветок, встречающийся только на высокогорных лугах близ Шуши; название переводится как «шип и соловей».

⁵ Мир Мохсин Навваб — знаменитый шушинский ученый, автор трактата о музыке и мугамах.

Пробежав глазами эти тексты, он стал читать письмо из Керкука — от дочери. Вот уже два года, как Бурла вела курс азербайджанского языка и литературы в Университете имени Физули в далеком Ираке.

«Дорогие мои папа, мама, Бейрек! Всех вас поздравляю с праздником Новруза. Всем вам в этот светлый день желаю крепкого здоровья. Я обещала, что в этом году проведу Новруз с вами в Баку, но, жаль, не удалось. Завтра улетаю в Урумчи, пригласили коллеги из Университета имени Махмуда Гашкарлы, а оттуда мой путь лежит в Москву, из Москвы полечу в Бахчисарай — там предстоит читать лекции в Университете Исмаила Гаспринского...»

«Ишь, разлеталась, чертовка!» — улыбнулся Мелик.

«...Очень переживала, что не смогла воспользоваться нынешними «новрузовскими» каникулами и махнуть в Баку. Ужасно соскучилась по вам. Сколько же можно общаться виртуально, переписываться по Интернету! Знайте: вы всегда в моем сердце. Всех вас крепко целую. Бурла».

Мелик с сожалением подумал, что ни двадцатилетняя Бурла, ни двадцатипятилетний Бейрек пока не обзавелись семьями, не одарили родителей радостями бабушки и дедушки.

Мельком просмотрел сегодняшние газетные сайты, — может, попадутся новости культуры, которые пригодятся в телепрограмме. Газета «Ени гюн» сообщила о предстоящем майском международном кинофестивале прикаспийских и причерноморских стран в Набрани...

Ну и ну, целый калейдоскоп, фейерверк мероприятий, фестивали, декады, конкурсы, выставки, музыка, литература, культура, театр, попробуй успеть осветить, откликнуться, а тут еще один сабантуй, сколько же, право, может быть мероприятий, праздников... в Гобустане через каждые три года празднества в память праотца Горгуда, на Мугани через каждые два — спортивные игры «Кероглу»¹, в Гяндже — дни Низами, в Нахичевани, в религиозном центре «Азхаби-Кяф», — международный научный форум «Ислам на Кавказе», в театре под открытым небом, в Нарын-кала², исторические действия, в Шемахе — дни поэзии Сабира, в Казахе — дни поэзии Вагифа и Самеда Вургуна, в Шуше — поэтические и музыкальные меджлисы — Молла Панаха Вагифа, Натеван, Джаббара Гарьягды-оглу, в Габале — мемориал Юниса Эмре³, в Шеки — народные юморины; в Ленкорани — конкурс песни и пляски, в Мардакянах — Есенинские чтения, в Тебризе — неделя, посвященная устату Шахрияру, в Ардебиле — симпозиум по творчеству Хатаи, в Мараге — вечера мугамной музыки, в Товузе, Сальянах, Туфаргане — ашугские турниры... Хотя на куски разрывайся, в лепешку разбейся, но дай в эфир материал, как бы другие каналы не обскакали...

¹ Кероглу — герой одноименного народного эпоса-дастана.

² Нарын-кала — древняя цитадель в Дербенте.

³ Юнис Эмре — выдающийся средневековый поэт, классик тюркоязычной литературы.

Газета «Огуз»... в Казани театр имени Рудольфа Нуриева готовит балет на основе Третьей симфонии и скрипичного концерта Кара Караева, приглашен из Парижа Роже Дюпон, слывающий самым авангардным хореографом... В Небитдаге открыт музей, посвященный азербайджанским нефтяникам-первопроходцам туркменской нефти. В Москве начала работу международная научная конференция: «Евразийское духовное пространство и исторические связи русско-славянского и тюркско-татарского мира»... Стамбул: неделя грузинского фильма. Газета сетует: почему бы и не азербайджанского? «Ишчи чирагы» требует: пусть правительство объяснит причины «долгостроя» с рабочей здравницей в Кельбаджаре, подкрепляя критику заявлением профсоюзов. «Азад Азербайджан» возвещает о предстоящем футбольном матче между командами «Боз Гурд» и «Рабочий», защищающими спортивную честь правых и левых партий. «Ну, теперь, чья сторона проиграла, та и будет валить вину на судью».

Журнал «Чинар»: репортаж о подготовке к биеннале кавказских художников на Гей-Гёле (в июле). Фото: мемориальный родник «Ахмед Джавад» на дороге к Гей-Гёлю⁴...

Журнал «Тюрк ели»: на обложке — снимок памятника Назыму Хикмету в Стамбуле. Цветные фотографии, запечатлевшие дни талышской культуры в Шеки и выставку лезгинского и аварского народного творчества в Нахичевани...

«Одлар юрду»: корреспонденция с киногородка «Карадаг», — о съемках на крупнейших студиях «Азербайджанфильм», «Туранфильм», «Хазарфильм», «Гобустанфильм»...

Еженедельник «Шейтан-базар»: жареные факты и сплетни о кинозвездах — обитателях приморских вилл.

Мелик не поленился заглянуть и в сайт еженедельника «Пери-джаду» — гороскопы, заклинания, чудодейства, магии, прогнозы и пророчества всевозможных экстрасенсов. «Надо же, и в двадцать первом веке находятся любители такого чтива и даже верящие во всю эту ахинею».

А вот и свежеразпечатанный весенний альманах «Девять» — ну да, последние крики и вопли моды. Почему же «девять»? Вспомнил присловье, — девиз альманаха: «Гезелик — ондур, доггузу дондур»⁵.

Мелик задержал взгляд на сайте «Азербайджан оджагы»: в Ханкенди армянский Театр имени Ширванзаде готовит к постановке пьесу «Кеманча» Джалила Мамедкулизаде. Вот это дело! Хорошо, что выбрали именно это произведение, проникнутое духом высокого человеколюбия, призывающее к примирению и взаимопониманию. Верно, минувшие тяжкие события еще не изгладились из памяти людей, еще долго будут беречь души, но теперь права азербайджанцев...

⁴ Ахмед Джавад — известный поэт, репрессированный в 1937 году. Его перу принадлежит, в частности, стихотворение «Гей - Гёль», ставшее хрестоматийным.

⁵ «Красота — десятка, девять же — нарядка (наряденье, одежда)».

байджанцев, вернувшихся к исконным очагам в Армении и права карабахских армян обеспечены в равной мере, не осталось повода хвататься за оружие и идти стенка на стенку... теперь, слава богу, с обеспечением тех же прав «грузинским» азербайджанцам и восстановлением территориальной целостности Грузии, с удовлетворением культурных и экономических нужд всех национальных меньшинств, — на Южном Кавказе, как и на Северном, настали долгожданный мир и стабильность. Плоды мирного сотрудничества не замедлили сказаться, полностью ликвидирована безработица, набрала обороты промышленность, ожила земля, развернулся туризм. Весь Кавказ превратился в Мекку туристов. Компания «Шелковый путь» организовала грандиозный туристский маршрут «От Байкала до Балкан», в иных случаях переходящий заявленные координаты и берущий начало от Орхонских памятников в Монголии или Якутии-Саха и дотягивающийся до Республики Северный Кипр.

Не забыли и про детские туристические маршруты. Туристы чаще всего предпочитали путешествовать в автобусах или поезде; экспресс «Три стрелы» доставлял их от восточного Туркестана, Алтая, Казахстана, Средней Азии до каспийских берегов, отсюда мощные паромы «Азербайджан» и «Туркменистан» брали на себя поезда, автобусы и переправляли в Тюркандский порт близ Баку. Дальше маршрут пролегал до Турции — по автостраде Баку — Тбилиси — Батуми или по трассе Баку — Худаферин — Сада-рак — Измир, а оттуда — рукой подать до Европы. Другая суперкомпания — «Кавказтур» — предлагала туристам полюбоваться на черноморское и каспийское взморье, побывать на Нефтяных Камнях, вдохнуть высокогорный воздух Бакуриани, насладиться красотой альпийских лугов Теберды, Домбая, живописного озера Гейча¹, Дилижанской долины...

В сувенирах не было недостатка, — чеканка кубачинских мастеров, кубинские ковры, изделия лачинских медников, пекинские шелка, баскальские келагаи².

Он заглянул в бюллетень «Вестник». В госдраматре имени Мирзы Фатали Ахундаде с аншлагом шли пьесы Гусейна Джавида. В Государственном театре оперы и балета имени Узеира Гаджибейли предстояли гастроли солистов прославленной «Ла Скала». Театр мугамов имени Гусейнгулу Сарабского в концертном цикле «Семь мугамов» представит публике мугамы «Чаргях», «Сейгях», «Раст», «Шур», «Баяты-Шираз», «Хумаюн», «Шуштер»... В театре Гусейна Араблинского анонсирован шекспировский «Кориолан» в исполнении грузинских мастеров сцены...

Синема-клуб порадует любителей кино ретро-спективным показом шедевров Чаплина и Феллини...

Триумф, апофеоз музыки — концерты в музыкальном центре «Кара Караев», в концертном зале

«Ниязи», в Доме камерной музыки «Фикрет Амиров», в эстрадном театре «Тофик Кулиев», Театре песни имени Рашида Бейбутова, джаз-клубе имени Вагифа Мустафаде; народные зрелища-игриша «Гаравелли», «Килимарасы», «Зорхана», «Шабах»³...

Праздничные выставки открывались в Историческом музее имени Шаха Исмаила Хатаи, в Музее литературы имени Низами, в национальной художественной галерее имени Султана Мохаммеда⁴, в Музее мировой культуры имени Гаджи Зейналабдина Тагиева, в Музее современного искусства имени Саттара Бахлулзаде, в Музее прикладного искусства, в Музее Армии имени Зии Бунятова, в библиотеках «Гасанбек Зардаби» и «Микаил Мушфиг»...

Мелик устал нажимать клавиши электронного блокнота-памятки; конечно, успеть на все концерты, выставки — дело немыслимое; он наметил, кому из сотрудников куда сходить, где побывать, а сам выкроит время, чтобы непременно посетить музей первобытного искусства, расположенный под открытым небом на склонах горы Горгуд. Говорят, экспозицию музея пополнили найденные в Лерике каменные изваяния лошади, овна, — это особый мир. Обязательно надо сходить поглядеть. Все недосуг. Он все еще не удосужился посетить музей народного искусства в Ичери-шехер, — там представлены изделия златокузнецов, медников, резчиков по дереву, гончарное дело, старинная каллиграфия... Эх, сколько упущенного! Вчера, скажем, в Пушкинском доме культуры прошла презентация нового издания «Братьев Карамазовых». Хорошо бы прочесть новый перевод романа. Жаль, что не смог послушать недавнюю лекцию Абрама Губермана «Традиции религиозной толерантности в Азербайджане» — в Еврейском центре имени академика Ландау.

Пригласили на вечер поэзии Хафиза Ширази в Доме иранской культуры имени Бехзада — какое удовольствие — послушать стихи великого персиянина в исполнении иранских артистов... Увы, увы, не удалось.

Завонил видеотелефон. Он поднял трубку и увидел на крохотном экране лицо жены. От его внимания не ускользнуло, что она чем-то расстроена. После обычных приветствий, праздничных поздравлений Мелик спросил:

— Ты, похоже, не в духе. Что невеселая такая?

— А от чего веселиться? — отозвалась Айпери. —

В Баку задержали декорации. К Новрузу не успели с постановкой...

Она уже несколько недель находилась в Тебризе — готовили постановку оперы «Кёроглу» в театре имени Абдулкадыра Маррагаи. Декорации сцены в Ченлибеле не пришли к сроку, и премьеры безнадежно опоздала. Мелик переменял тему, чтобы отвлечь жену от тягостных мыслей.

³ Смысл этих понятий (соответственно) — импровизации — небыллицы, состязания силачей, потешное представление, мистерии — жанры азербайджанского народного площадного театра.

⁴ Знаменитый азербайджанский художник-миниатюрист.

¹ Гейча — другое название озера Севан.

² Баскал — горный поселок в Исмаиллинском районе Азербайджана.

— Ну, а как с ролью Нигяр? Нашли исполнительницу? — Он-то знал, что нашли.

— Я же тебе говорила, нашли. Студентка консерватории имени Урмави... Сценического опыта — мало. Но голос — неплохой, яркий. — Она опять не сдержала своей досады. — Надо же... Все было так гладко... хорошо... и вдруг, на тебе, так подвели. Я ведь просила их: отправьте декорации маршрутными автобусами фирмы «Гыр-ат». А они решили сэкономить, отправили через «Дюр-ат»¹. И вот результат. — Она никак не могла успокоиться

— Да не бери ты в голову! Нет худа без добра. Эта заминка позволит мне успеть на премьеру. Через неделюшь примчусь в Тебриз...

— Тогда обязательно «Гыр-ат»ом!

— Да нет, на колесах некогда. На крыльях прилечу! Утром вылечу, ночным рейсом вернусь. Звонил Бейрек из Шуши, трудится там. Бурла тоже аукнулась, собирается вылететь в Урумчи...

— Я в курсе. Они и мне звонили. Бейрек взахлеб расписывал шушинские торжества. И здесь праздник Новруз встретили на славу. Ночные костры на горе Эйнал-Зейнал — феерическое зрелище... Я набросала пару эскизов. А завтра запылет факел на башне крепости Эрк...

— Знаю. Помнишь, в прошлом году я оттуда телепередачу подготовил?

— Как же не помнить! Ну, ладно. Будь здоров. Еще раз с праздником. Целую. — Лицо Айпери на дисплее засветилось улыбкой.

Мелик спустился на лифте, вышел во двор и, достав пульт дистанционного управления из кармана пальто, направил в сторону дверей гаража и нажал кнопку. Двери открылись. Другая кнопка распахнула дверцу автомобиля марки «Джейран», детище сумгаитского автозавода в сотворчестве с «Фиатом». Бейрек и Айпери усердно агитировали его купить «Марал» — творение гянджинского автозавода, сотрудничающего с «Фордом», но он остался верен «Джейрану», более скромному, но юркому и приткому, — в самый раз при его телевизионной горячке.

Завел мотор, выехал, с помощью пульта запер двери гаража; вырубил со двора на проспект Шейха Мохаммеда Хиябани². Мелик жил в доме, расположенном в жилом массиве «Баят», некогда называвшемся (он где-то читал) поселком «8-й километр», странное название, — почему восьмой километр, с какой точки отсчета восьмой километр? Вообще, в былые времена любили прищипывать номера микрорайонам (тоже словечко из коммунальных «изобретений») — первый, второй, третий микрорайоны... по порядку рассчитайся! И домишки, сработанные здесь на скорую руку, тяп-ляп, имели такой вид, что Аллах упаси (видел их Мелик в киноархивных хрониках).

¹ Гыр-ат, Дюр-ат — клички боевых коней героя народного дастана Кероглу.

² Лидер национально-освободительного движения в Южном Азербайджане.

Он вспомнил, для сравнения, нынешние названия городских районов и массивов — «Афшар», «Гаджар», «Шахсеван», «Баяндур», «Борчалы», «Зангезур», «Игдир»... Но, что ни говори, в глазах Мелика его махалла «Баят» была самой живописной и благолепной из всех. За тридцатипятиэтажной высоткой, где он жил, зеленел парк «Гараязы», где среди роскошных куш звенел водопад «Учан су» — «Летящая вода».

Ведя машину на умеренной скорости, он переговорил по мобильнику с давними знакомцами-коллегам в Анкаре, Нью-Йорке, Москве, Тегеране. Он заранее условился с ними, что видеохронику о праздновании Новруза в Азербайджане CNN, TRT, московская «Евразия» и тегеранский «Иран-нёв» возьмут именно у «Чагдаша», что сулило хорошую рекламу и приличный доход каналу. «Другие каналы лопнут от зависти». Мелик усмехнулся и попенял себе за столь тщеславное злорадство. «Впрочем, они тоже, должно быть, не сидят сложа руки. Ведь не лыком шиты...». Большинство работающих на других каналах являлись также классными профессионалами. Со многими он был на дружеской ноге.

С площади Хиябани он выехал на площадь «Чанагала», где возвышалась величественная статуя Мустафы Кемаля Ататюрка, затем его путь лежал через бульвар «Гарагоюнлулар»³, один из семи знаменитых бакинских бульваров. После передислокации черноморских заводов за черту Баку, в район Уч-тепе, Приморский парк простерся от Баилово до Зыха, опоясав всю «подкову» бухты и попав в Книгу рекордов Гиннеса как самый протяженный бульвар в мире. Самым шикарным и фешенебельным бульваром столицы был бульвар Физули, тянувшийся от площади Джафара Джаббарлы до проспекта Нариманова. В той зоне находились элитные здания и отели; здесь красовались Дворец Физули, некогда носивший имя вождя мирового пролетариата, Драмтеатр, театр Оперы (новое здание); кинозалы «Айнур», «Далга», городской театр имени Джаббарлы, бесчисленные выставочные салоны; на пересечении бульвара с улицами Алибека Гусейнзаде и Ахмедбека Агаоглу эти два мыслителя-сподвижника встали рядышком, воплощенные в изваяния.

И бульвар Физули, и бульвар Хазар, то бишь бывший Приморский, по вечерам расцветивались столь яркой лампией, что этот световой потоп, наверно, было видать и на седьмом небе, с космических кораблей...

Карабахский бульвар, напротив, отличался строгой торжественностью и печальной тональностью, — здесь, на всем протяжении взору представляли памятники; у могилы Неизвестного шехида — знака памяти о павших в боях за Карабах — горел вечный огонь, выполненный в форме древних очагов. Монумент трагедии Ходжалы — скорбные руины, груды обугленных камней, головешек, сквозь которые постоянно взвивалась вверх струйка дыма — стон испепелен-

³ Гарагоюнлу — династия правителей средневекового Азербайджана, занимавшего обширную территорию.

ной земли. Ежечасно звучащая музыка — фрагмент симфонического мугама «Шур» Фикрета Амирова — придавала особую впечатляющую силу мемориалу. Памятник, посвященный трагедии с вертолетом, расстрелянным в карабахском небе, выглядел необычно и разительно: сквозь обломки покореженного металла, винтов и лопастей проступали лики погибших. И, наконец, как бы в утешительное завершение всех этих горьких воспоминаний перед Карабахским железнодорожным вокзалом возвышалась триумфальная арка победы.

Среди различных памятников и мемориальных ансамблей последних лет, возведенных в Баку, Мелику больше всего импонировали те, что выросли на Карабахском бульваре, и еще — памятник сопротивления на площади Нации, где некогда громоздился монумент 11-й Красной Армии. Въезжающим в город по проспекту Двадцатого января предстал с тыльной стороны танк, вставший на дыбы, при ближайшем рассмотрении оказывалось, что этот бронированный монстр осадил горстка отчаянных смельчаков, упершихся в него голыми руками... И это трагическое противостояние, и красные капли мозаичных гвоздик, усеявших точки, где некогда погибли безоружные люди, на всем протяжении проспекта напоминали о все еще не заживших ранах памяти народа.

От кинотеатра «Азербайджан» до Театра кукол вел бульвар «Семь красавиц», самый короткий по протяженности, но один из самых излюбленных и притягательных для гостей города. Дорогие супермаркеты, театр мод «Семь красавиц», выставочные галереи, рестораны как бы стремились перещеголять друг друга. Но больше всего туристов завораживал здесь фонтан «Семь красавиц». Грაციозные фигуры семи красавиц из семи стран земли по вечерам оживали магией светозффекта и как бы плыли в танце под балетную музыку Кара Караева. Туристы, по всесветно известному обычаю, бросали в бассейн монеты в надежде вновь посетить Баку. Другая экзотическая достопримечательность, приковывавшая их внимание, — башня на площади Джаббара Джафарлы. После упразднения бывшего Сабунчинского вокзала в здании «Сабунчинки» открылся Центр торговли и культуры «Аршин мал алан», — ежедневно в полдень из окон башни выглядывали колоритные фаянсовые фигурки персонажей знаменитой оперетты на музыку Узеира и отвешивали поклоны собравшимся на площади туристам.

Бульвар «Араз» брал начало с площади Единого Азербайджана. Новый штрих в ауре столицы — основательно реконструированный и расширенный стадион «Сельджук», перед которым вознеслись скульптуры трех великих сельджукских правителей — Султана Тогрула, Алп-Арслана и Мелик-шаха, восседавших на боевых конях. У входа на стадион, в Музее спорта имени Тофика Бахрамова экспонировались несметные призы, кубки, десятки золотых олимпийских и прочих чемпионских медалей отечественных спортсменов. По обе стороны площади, замыкавшей-

ся отелями «Савалан» и «Шахдаг»¹, возвышались монументы двенадцати достославных государственных деятелей национальной истории; по одну сторону — Араншаха Джеваншира, Кызыл-Арслана, Ширваншаха Ибрагима, Джаханшаха, Узун-Гасана, Шаха Исмаила из династии Сефевии; по правую сторону представляли Надир-шах Афшар, карабахские правители Панах-хан, Ибрагим-хан Джеваншир, шекинский Челеби-хан, владетель Кубинского ханства Фатали-хан, Гянджинского — Джавад-хан...

Вот между этими символическими рядами начинался бульвар «Араз». Увенчанный шестью обелисками в память о борьбе за независимость Северного и Южного Азербайджана — обелиск «Машруте»² напоминал о движении Саттархана в 1905–1906 годах; обелиск 28 мая — о первой Азербайджанской Республике; обелиск «Азадистан» — о движении под предводительством Хиябани; обелиск «21 Азера» — о создании национального правительства в Южном Азербайджане в 1945 году; обелиск 1991 года — о возрождении независимости Северного Азербайджана и, наконец, обелиск Воссоединения — «Худаферин»³.

Пока мы перечисляли эти достопримечательности, наш герой приближался в своем «Джейране» к бульвару «Ашугов», седьмому из знаменитых бульваров столицы. Каждое утро, отправляясь на ТВ, он здесь останавливался и, припарковав машину полчаса прогуливался пешком по бульвару, некогда называвшемуся Арменикендским. У входа в бульвар — скульптурная сцена, оживляющая мотивы популярного лирического стихотворения Ашуга Алескера:

В четверг у ручья ее повстречал,
Мне в сердце глаза чаровницы попали.
Лукавая бровь изогнулась, как лук,
И в грудь мою стрелы-ресницы попали⁴.

Ашуг, застывший у родника, замороженный красотой ясноглазой ханым, набирающей воду в кувшин; на камне запечатлены строки знаменитой гошмы.

Прожаживаясь по бульвару, Мелик вновь и вновь читал на каменных скрижалях у импровизированных родников любимые и памятные строки мастеров саза и сказа.

Ашуг Курбани отзывался из средневековой мглы:

Ты не казни разлукой Курбани,
Он, безутешный, горбится. Взгляни,
Не от разлуки гнутся и они —
Прямой не встретить ни одной фиалки!

Караджаоглан доносил свою печаль из восемнадцатого столетия:

¹ Савалан и Шахдаг — названия гор в Южном и Северном Азербайджане.

² Машруте — республика.

³ Худаферин — древний мост, соединявший Северный и Южный Азербайджан.

⁴ Перевод Владимира Кафарова.

Вдосталь плакал, не смеялся на веку,
Исцеленья обыскался на веку,
Снисхожденья не дождался на веку,
Смилуйся, в печаль не повергай меня...
...Та, чья грудь белее снежных гор,
В чьих объятьях смерть бы мне принять...

* * *

...Туман, рассейся с этих гор
Пускай земля плоды дарует.
Пускай тебя не видит взор,
И пусть душа впредь не горюет...

* * *

Родинка черным-черна.
(А вокруг белым-бело).
Ни проехать, ни пройти.
Все дороги замело...

На боку у нас кирманские мечи.
Рассекут и камни, руки горячи.
Власть дает указы, как их ни строчи,
Власть за падишахом, горы же за нас...

Стан ее, как у ангела, речь ее сладка.
Искони чарует этот бранный мир.
Манит, да обманет тебя, простака,
Красотой младою неизменный мир...

...Смерть от Бога и не деться никуда,
Сеть шелкова, не распутать никогда,
Дни пройдут, и годы канут навсегда,
Мы спешим все, сколько ждать еще весны?..

Как умру — все скажут: жаль беднягу.
Лишь один иль два слезами изойдут...
...В саду любимой расцвели цветы.
Сорву — убьют. А не сорву — умру я...

Слепой Вейсал пел о бренности земного бытия и
нетленности памяти:

...Минует день. Закат настанет,
Гляди, какой расклад настанет,
Вейсал уйдет, его не станет,
Кто из друзей меня вспомнит...

У каждого своя «чешма»¹ — свои скрижали-
«письмена», где оживали имена: ашуг Курбани, ашуг
Аббас Диварганлы, Пир Султан Абдал, ашуг Сары,
Гараджаоглан, Дадалоглы, Амрах, Алы, ашуг Басди,
Молла Джума, ашуг Вейсал...

Мелик подумал: благо, что эта очистительная,
свежая грусть-печаль, эта боль и тоска остались наве-
ки, озвученные в ашугских «гошма» и «герайлы», в
народных «баяты», в газелях Физули, в горестных ис-
поведях многих и многих других поэтов, в скорбных

напевах сейгях, шуштера, хумаюна². Ибо, сколь ни
безбедна и безоблачна твоя жизнь, как бы ни благо-
денствовал народ, человек не может все время пре-
бывать в блаженно-радужной эйфории, в беспамят-
ном веселье, и душе порою хочется тишины, грусти,
томления, тоски на счастливом пиршестве жизни...
Не потому ли теперь, когда наши национальные го-
рести и беды канули в прошлое, никак не может ро-
диться литература, потрясающая сердца, волнующая
умы?.. Изданий, книг, одна другой краше, изящных,
блестящих, шикарных — хоть отбавляй. Но, увы, в
этом море чтива не встретишь произведения, повер-
гающего душу в трепет пронзительным открытием,
ослепительным озарением истины... Быть может, это
возмездие, плата за сытое благополучие? Кто знает...

Испив по глотку воды из каждого родника (при-
вычка), он вернулся к припаркованной машине.
С бульвара Ашугов выехал на улицу Фиридуна Ибра-
гимии. Миновал памятник Джалила Мамедкулизаде,
Дворец спорта имени Гачага Наби, сквера Шейха
Шамиля, достиг площади Гянджи, одушевленной
монументом, посвященном Гянджинскому восста-
нию 1920 года.

Напротив сада имени Самеда Вургуна, в сквере
выросла фигура Бюльбюля, и два великих устада —
поэт и певец, казалось, приветствовали друг друга.

Дальше предстали скульптуры славных военачаль-
ников: Алиаги Шихлинского и Самедбека Мехманда-
рова³ напротив Военной Академии; на бульваре Фи-
зули, воспользовавшись заминкой на перекрестке,
задержал взгляд на новом здании театра оперы и бале-
та с цветными витражами на фасаде по мотивам опер
«Лейли и Меджнун», «Шах Исмаил», «Ашуг Гариб»,
«Кёроглу», балетов «Девичья башня», «Семь краса-
виц», «Тысяча и одна ночь», которые в вечерние часы
выглядели особенно впечатляюще; эффект усиливал-
ся воздушно-зыбким повторением витражных картин
на зеркальной глади бассейна перед зданием театра.

Проехав по проспекту Абульфаза Эльчибея, он
миновал парк Журавлей, где стоявшие рядом два
друга-устада Вагиф и Видади, всматриваясь в даль,
словно провожали взором печальный караван перна-
тых странников, воспетых в незабываемых строках.

Оставив позади проспект Сефевидов, площадь
Гызылбашей, он направился в сторону Горы Шехи-
дов, где расположился музей Шехидов, посвящен-
ный памяти павших 20 января, шехидов карабахской
войны и жертв мартовской бойни 1918 года; экспо-
наты отражали трагическую хронику пережитых на-
родом мытарств и душегубств — в 1905 году, в марте
1918 года⁴, в апреле 1920 года, подавление движения
Хиябани в 1921 году; репрессии 1937 года, разгром
народно-демократического правительства в Южном

² Названия мугамов.

³ Генералы царской армии, герои Порт-Артурской эпопеи 1904 года, позднее военные деятели Азербайджанской Демократической Республики.

⁴ Имеется в виду кровавая расправа над мирными жителями, учиненная дашнакскими бандами в Баку, Кубе и Шемахе.

¹ Чешма — родник.

Азербайджане 21 азера 1936 года, Черный январь 1990 года, геноцид над азербайджанским населением в Гукарке, в Баганис-Айрыме, в Ходжалы...

По обе стороны лестницы, ведущей от улицы Конституции к этому музею под открытым небом, демонстрировались зловещие свидетельства этих расправ и преступлений — обломки вагона метро, взорванного террористами, что стоило жизни многим согражданам и в их числе прекрасному музыканту Рафику Бабаеву; раздавленный корпус «Жигулей», на который сознательно наехали озверевшие каратели в БТР на сумгаитской автостраде в январе 1990 года, загубив пассажиров — азербайджанских ученых; тогда же изрешеченную пулями карету «скорой помощи», вызволившую раненных на январской бойне, железный костяк автобуса, подорванного на евлахской дороге...

Он въехал на территорию телецентра через верхние ворота, передал ключи от машины служащему гаража. До начала рабочего дня еще оставалось изрядно времени. Он поднялся на скоростном лифте телебашни — самой высокой на всем Ближнем Востоке — в ресторан «Булуд»¹, расположенный на самом верхнем ярусе и совершавший медленный оборот — за полчаса можно было обозреть всю панораму Баку и окрестностей. Выше ресторана располагалось открытое кафе, но в эти мартовские дни там не посидеть.

Сел завтракать, пил астаринский чай, любуясь головокружительным простором, родным городом и голубой гладью бухты, сливающейся с небом на горизонте. Профессионально наметанным взглядом окинул площадь Азадлыг, где было установлено несколько телекамер. Возвышавшееся там здание, прежде известное как «Дом правительства», теперь именовалось Дворцом Огней; на всех четырех башнях здания горело шестнадцать факелов, символизовавших шестнадцать исторических областей Северного и Южного Азербайджана, в давние времена являвшихся ханствами; на правом фланге — Баку, Гянджа, Карабах, Ширван, Шеки, Нахичевань, Ленкорань и Куба, на левом — Тебриз, Ардебиль, Зенджан, Марага, Урмия, Карадаг, Маку и Хой.

На Горе Шехидов (здесь, говорят, встарь красовался памятник большевику Кирову) пылали три факела — символ Баку.

По мере вращения ресторана на телебашне Мелик мог рассмотреть трехязыкие факелы в пяти точках окрестного пространства — на пересечении Балаханского и Сураханского шоссе, на Сулу-тепе, у Хурдаланской трассы, в Карадаге — на Ленкоранской автостраде, в Туркяне — на Приморской дороге и еще — в море, на возвышенности между островами Большая и Малая Зиря, некогда называвшейся банкой Макарова. После некоторого понижения уровня Каспия это подводное возвышение вышло на поверхность как остатки древнего городища Сабаил, и один из Трехфакельных огней зажгли здесь — у морских ворот города.

«Булуд», вращаясь, достиг точки обзора, откуда остров Наргиз был виден как на ладони. Мелик вспомнил, что когда-то вокруг названия этого острова шли горячие споры. Предложения заменить старое название — «Наргин» — на «Большая Зиря» — встретило возражения под тем доводом, что на Каспии имелось несколько островов с названием «Зиря» и нововведение внесло бы путаницу. Потом кто-то вспомнил, что в рассказе давно позабытого писателя по имени Анар этот остров был назван Наргиз». (Этот самый Анар, по рассказам старожилов, возглавлял существовавший тогда Союз писателей, а впоследствии до конца дней проработал кондуктором маршрутного автобуса Сураханы—Азизбеков.)

Короче, остановили выбор на этом названии, близком по звучанию старому еще и потому, что здесь ежегодно проводится праздник цветов. Теперь остров Наргиз стал одним из излюбленных мест отдыха и развлечений на Каспии. Против такой метаморфозы в свое время также звучали возражения, связанные с недоброй репутацией острова в советскую эпоху, когда здесь, по достоверным свидетельствам, совершались расстрелы безвинных людей, а трупы бросали в море... Именно потому на том острове воздвигли памятник жертвам репрессий. Оппоненты приводили противоположный довод: эти люди пали жертвами советской инквизиции именно потому, что мечтали видеть свой народ свободным и счастливым. И если их потомки, взрослые и дети, будут приезжать сюда отдыхать и развлекаться, это явится воплощением их заветной мечты и возрадует души убиенных и загубленных... Словом, предложение было принято, и на преобразившийся остров хлынули потоки людей, особенно в весенние и летние месяцы, катера, теплоходы привозили сюда тысячи людей, детей и взрослых. Гигантское «Чертовое колесо», сооруженное здесь, было видно на всю бухту, с Приморского бульвара и, конечно, из ресторана «Булуд» на телебашне. Строители раскрасили «колесо» в семь цветов радуги. При взгляде с берега полколеса оставалось за рельефом острова; видимая дуга казалась радугой, повисшей над ним; а с кабин «колеса», взмывавших ввысь, взору катающихся представала карта Азербайджана, воссозданная пестрядью несметных цветов на развращенной поверхности. Здесь до утра действовали развлекательные центры «Тысяча и одна ночь», «Омар Хайям», «Бахлул Даненде», предлагавшие посетителям интересные шоу, концерты; в подводном ресторане можно было вкушать дары Каспия и Куры.

В траурные дни, разумеется, все развлекательные центры на острове закрывались; прибывающие на остров различные делегации посещали монумент Жертвам репрессий, возлагали венки, после минуты молчания бросали в море цветы — в поминовение погибших.

Между берегом и островом сновали морские трамваи с «аппетитными» названиями, «Гызылбалыг», «Белуга», «Шамайка» и т.п., шустрые таксикатера, моторные и гребные лодки, парусники, сда-

¹ Булуд — туча.

ваемые в аренду. Конечно, попадались и личные яхты, базировавшиеся на Баиловском мысе, при яхт-клубе, впечатлявшие фантазией своих создателей. Но самым красивым и грандиозным плавсредством на этом маршруте была бригантина «Хазар», с кафе на палубе и рестораном в салоне.

Тем временем «Булуд» продвинулся по дуге еще на несколько градусов, и взору посетителей представило Баиловское нагорье, на высшей точке которого вырос отель, решенный в форме старинной твердыни — «Ченлибель». На верхней площадке этой крепости возвышалась фигура легендарного Кёроглу на своем боевом коне Гыр-ате.

Ожили и другие острова апшеронского архипелага: выросли здравницы, появились ухоженные пляжи, дома отдыха; туда пролегали новые сухоходные маршруты; более того, на судах можно было добраться от Баку до Сальян, а оттуда по Куре до Евлаха; от Сабирабада туристы могли продолжить круиз и по реке Араз. Каботажное плавание охватило Астрахань, Энзели, Махачкалу, казахстанские и туркменские порты — на этих маршрутах курсировали лайнеры «Деде-Горгуд», «Низами». Работы хватало и морвокзалу, и Баиловской пристани, и причалу на Приморском бульваре у каспийского музея-аквариума. Музей расположился на ярусах гигантской плавучей буровой установки, отслужившей свой срок и пришивартованной к пирсу; он наглядно повествовал об истории моря, о мореходстве, рыбном промысле, морской нефтедобыче; экспонаты дополнялись сферическим аквариумом из высокопрочного стекла.

«Булуд» позволял рассмотреть бывшую бухту Ильича, где лес ржавых вышек сменился «Диснейстаном», — как догадывается читатель, здесь не обошлось без американского опыта и технических ухищрений; что касается названия, то азербайджанской стороне пришлось вести долгие прения с закавказскими партнерами. Чтобы отстоять национальную окраску названия, а главное, пополнить ряды диснеевских персонажей местными сказочными «кадрами» — Джиртданом, Дивами-чудищами, пери, волшебниками-дервишами, Старушонкой-кувшиноглазкой, Ха-ха-ханым, источающей цветы из хохочущих уст, Охотником Пиримом, Армуданбеем и прочими забавными электронными диковинками, выкидывающими всякие смешные штучки и строящими гримасы на потеху и радость детворе.

Отсюда тянулась канатная дорога на гору «Горгуд», зеленый склон которой украсил ресторан «Золотой шатер», а окрест раскинулись стилизованные алачиги, шалаша, юрты одноименного отеля со всеми удобствами цивилизации. На склоне со стороны Шиховского пляжа, в «Белом шатре», расположился Театр дастана, также окруженный атрибутами древнего становья. Здесь же детвору забавлял мифический персонаж дастана — Тепегёз¹, обитающий в пе-

щере, в отличие от прототипа, управляемый электроникой. Хотя появление чудища поначалу повергало маленьких зрителей в страх, но его дальнейшие ужимки и выходы вызвали веселый смех.

По мере вращения «Булуда» все лучше можно было рассмотреть вершину горы «Горгуд», где проступали силуэты гигантского мемориального комплекса «Деде-Горгуд», состоящего из пяти сюжетных композиций, — это был сам вещий Праотец Горгуд с копузом в руках; доблестный Салур Казан на боевом коне, преследующий врагов; гордая Бурла-хатун в окружении сорока тонкостанных девушек, могучий Гараджа-чобан, вырывающий с корнем вековое дерево, к которому был привязан врагами, и, наконец, Бамсы Бейрек с Бану-чичек.

«Булуд» медленно описывал круг, и в воображении Мелика оживали места, которые отсюда, с телебашни, не видать, но которые он обошел пядь за пядью; морские трамваи, отчалив от Сангачал, пройдя через причалы Карадага, Шихово, Биби-Эйбата, Баилово, сделав остановку на центральной городской пристани, миновали Ахмедлы, Понешли, Зых, Говсаны, Туркяны и завершали маршрут у 100-й буровой на Шаховой косе. Эта сотая буровая, уже давно законсервированная, стала тоже достопримечательностью; туристы, поднимаясь в лифте или по трапам на верхотуру вышки, могли созерцать всю бухту и Апшерон, вооружившись биноклями. Вскоре морские трамваи, говоря, пролят свой путь до северных поселков полуострова, а оттуда — до Сумгаита и Джората...

Мелик мысленно представил вулканические сопки Локбатана, Чеил-дага, перенесся к живописному приволью заповедника «Джейран-батан», — он знал, что в этот праздничный день там в специально отведенных местах устраиваются пикники; задымят мангалы с шампурами, источая дразнящий запах шашлыков, в тендирах — земляных печах зарумянится хлеб-лаваш; музыка, песни, веселье...

«Размечтался о шашлыках... — усмехнулся он про себя. — Обойдись пока хлебом с сыром и поторапливайся...»

«Булуд» продолжал вращение. Перед глазами проплыли городские кварталы, высотки, а вот и его небоскреб, тридцатизэтажка; и новые великаны в массиве Понешли. А вот зеленая маслиновая роща на Зыхе; вдалеке — гора Гачаглар, где темной точечкой виднеется пещера Разина...

«Булуд» совершил полный круг. Мелик вновь задержал взгляд на площади Азадлыг, замкнутой громадой Дворца Огней.

Вся площадь была выложена цветными мозаичными плитами, воссоздающими в тысячекратном увеличении орнамент знаменитого ковра «Шейх Сафи». Напротив виднелся многовековой патриарх — Хан-чинары, привезенный из колыбели независимости современного Азербайджана — Гянджи.

По обе стороны — две чинары — сажены. С легкой руки публицистов эту молодую чету чинар называли символами Свободы и Ответственности, — два

¹ Тепегёз — одноглазый исполин, наподобие циклопа из античных мифов.

чувства, обозначающие непереносимые условия прочности, вечного существования Независимости.

Пройдут годы, и молодые чинары пойдут в рост и сравняются с Хан-чинары, символической точкой отсчета истории независимости.

Не случайно здесь, под Хан-чинары, — вспомнил Мелик, — остолбили дорожный указатель, показывающий расстояния до самых отдаленных пунктов, шесть стрелок указывали протяженность пути — в километрах и морских милях — на восток — до Шахдениз, на север — до Дербента, на северо-запад — до Сыныг-кёрпю¹, на запад — до Садарака, на юго-запад — до Урмии, на юг — до Зенджана.

На фасаде Дворца Огней, там, где когда-то возвышалась статуя Ленина, выросла фигура смельчака, который в девяностых годах, когда площадь бушевала митингами, вскарабкался по отвесной стене и водрузил трехцветное знамя на фасаде, — изваяние было выполнено по известной фотографии из хроники тех дней. Смелчак «окаменел», а стяг был живой, настоящий.

Здесь же были начертаны знаменитые пророческие слова Мамед Эмина Расулзаде: «Сгяг, однажды поднятый, уже не падет».

После основательной реконструкции Дворца Огней национальный парламент — Милли Меджлис — размещался здесь; в зале заседаний, наряду с государственным флагом и гербом, были запечатлены основные положения Конституции:

«Объединенная Азербайджанская Республика — единое, свободное, демократическое, светское государство азербайджанско-тюркской нации. Все граждане Азербайджанской Республики, независимо от расы, национальности, языка, вероисповедания, социального положения, сословной принадлежности и пола, равноправны. Азербайджан — неотъемлемая часть великого тюркского мира. Азербайджанский народ — собрат всех тюркских народов и всех национальных меньшинств, проживающих в стране. Азербайджан привержен принципам мирного сосуществования, дружбы со всеми народами и взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами мира».

Конечно, эти тезисы стали причиной определенных дискуссий и дебатов, но были приняты в результате консенсуса всех партий и независимых депутатов, представленных в Милли Меджлисе. Левые и правые партии смогли прийти к соглашению еще в одном важном вопросе и внесли совместное предложение в правительство. Правительство поддержало обращение депутатов, и теперь в Пантеоне, сооруженном в центре столицы, символе национального примирения, — покоились останки четырех государственных деятелей — Мамед-Эмина Расулзаде, Алимардан-бека Топчибашева, Фатали-хана Хойского и Наримана Нариманова, привезенных на родину из Анкары, Парижа, Тбилиси и Москвы по договорен-

ности с властями соответствующих стран. А прах Сеид Джафара Пишевари² был перевезен из Баку в Тебриз и похоронен в благолепной усыпальнице.

А как Физули, упокоившийся в мечети имама Гусейна в Кербеле? Насими, казненный средневековыми фанатиками в сирийском городе Алеппо?.. Возвращение их останков на историческую родину натолкнулось на ряд трудностей, но все же их удалось преодолеть; на бакинской, азербайджанской земле обрел покой и Мирза Фатали, чьи останки были привезены из Тбилиси.

Усыпальницы-тюрье Насими и Физули, решенные в традициях восточного зодчества, вознеслись в стиле западного модерна мавзолей Мирзы Фатали, хотя такое архитектурное решение и вызвало продолжительные дебаты. Но со временем три соседствующие усыпальницы стали привычными для горожан символами народной памяти о великих сынах отечества.

Мелик перевел взгляд с нагорья на центр столицы, где виднелся универмаг «Дейирман», разместившийся в здании бывшей мельницы. Перед ним стояли импровизированные ветряки с разноцветными лопастями, — воспоминание о старом Апшероне. «Дейирман», один из крупнейших универмагов в столице, конкурировал с супермаркетом «Караван». Над «Караваном» по ночам голографическим эффектом воссоздавался образ мерно движущегося каравана; очевидно, экзотические ветряки «Дейирмана» были ответом на «голографический» вызов конкурента.

Поближе от «Дейирмана» — сад памяти о 18 марта 1918 года, — некогда именовавшийся Садам 26-ти. Дата напоминала о жертвах побоища, учиненного здесь дашнакскими головорезами над мирным азербайджанским населением. Монуменг скорби и ежечасно звучащий «Реквием» Кара Караева отныне обрели свой истинный исторический адрес. Статуи нескольких личностей, считавшихся революционерами и отличавшихся особой жестокостью, чудом уцелели в постсоветское время и позднее избежали уничтожения, вопреки желанию многих. Увековеченные в мраморе реликты собрали во дворе здания бывшего КГБ — ныне Музея жертв репрессий. Здесь, куда эти увековеченные персоны посылали людей на верную гибель, они сами, пусть и в облике изваяний, отбывали вечное тюремное заключение...

Мелик взглянул на часы. Полпервого. Оставался один час двенадцать минут до смены зимнего календаря весенним — начала нового года по древнему летоисчислению. Официант отметил его кредитную карточку; попросившись, он вошел в кабину лифта, спустился в партер, сел в вагонетку подземки и, доехав до шахты «Чагдаша», другим лифтом поднялся на седьмой этаж. Его постоянный помреж Эрхан был на месте. Поздоровавшись, поздравили друг

¹ Мост Сыныг-кёрпю находится на границе Азербайджана и Грузии.

² Лидер национально-освободительного движения в Южном Азербайджане. Погиб в 1946 году в автомобильной катастрофе, подстроенной советскими секретными службами.

друга с праздником. Он сел за стол и занялся рассматриванием мониторов, на экранах которых оживали различные виды на протяжении всей дороги от Янар-дага¹ до Девичьей башни.

— А где Янар-даг? — Он повернулся к помощнику.

— Во-от, на первом мониторе.

— Это же мотель «Янар-даг». На что мне мотель! Ты забыл, что главный образ — огни, вырывающиеся из-под земли.

— Есть и огни, — отозвался Эрхан. — На резервном мониторе. Я-то думал, начнем с мотеля, — смущенно добавил помреж.

Мелик постарался смягчить замечание шуткой:

— Наверно, твое воображение влекут цыганские пляски в мотеле.

— В мотеле цыганских танцев не увидишь. Там ритуальные танцы Огня. А цыгане выступают в караван-сараях «Гарачи»².

— А где этот «Гарачи»?

— В Гобустане. Чуть выше заповедника древних захоронений «Софи Гамид». Вы не бывали там?

— Нет. Такие изыски — про вас, молодых, — ответил Мелик и подумал: «Надо бы побывать». — В Гобустане, говоришь?

В последний раз он ездил в Гобустан минувшим летом — на представление свето-звучо-музыки под открытым небом. Народу масса, иголке негде упасть, экзотика, феерия, люди прибывали на морских трамваях, в автобусах, легковушках, даже вертолетах; а интуисты тешили ездой по древней караванной дороге на фаэтонах, в паланкинах, которые тащили верблюды.

— А вот и огни, — сказал помреж.

На экране первого монитора заплясали голубоватые язычки пламени, вырывавшиеся из-под земли.

— Пусть чуть укрупнят план.

Через десять, нет, уже через восемь минут юноша в белой чохе, в белой папахе на белом коне, обязательно по имени Новруз (в этом году сподобились выискать на эту роль гонца даже и с фамилией как нельзя подходящей — Байрамлы!³), должен был зажечь факел от огней Янар-дага и, мчась во весь опор, повезти огонь до Баку, до самой Девичьей башни, спешиться, подняться на верхотуру и возжечь Большой Огонь. Причем точь-в-точь в миг «смены года».

Мелик взглянул на хронометраж в электронном блокноте.

— Приготовиться! Начали!

— Готовы, — отозвался помреж. — Мелик-бек, вы в эфире.

Мелик:

— Здравствуйте, дорогие телезрители! С праздником вас! Пусть этот прекрасный праздник принесет вам радость, и пусть все дни, все годы вашей жизни

будут светлы и благословенны. Пусть наступающий год, как и год уходящий, будет счастливым для всех нас, нашего народа, нашего государства. Вы сможете с помощью канала «Чагдаш» пережить все волнующие и радостные мгновения этого светлого праздника. Сейчас наши камеры показывают кадры с Янар-дага. Эти природные негасимые огни, восходящие из лона нашей земли, предопределили имя нашего Отечества — Страна Огней. И сейчас огонь, перенятый у самой земли, будет доставлен в Баку, к Девичьей башне — гордости нашей истории... — «Похоже, получается несколько высокопарно», — подумал Мелик и сбавил тон: — Зажженный здесь факел доставит в столицу молодой гонец по имени Новруз Байрамлы...

Он нажал на кнопку, и диктор за кадром озвучил короткие сведения о всаднике-факельщике, одновременно появившемся на экране: родился тогда-то, там-то, образование, семейное положение и т.д. Отметим: имярек мастер спорта по верховой езде.

Хотя Мелик накануне на компьютере просмотрел различные снимки Новруза, но сейчас, на мониторе, вестник Весны выглядел еще пригожее и колоритнее — осанка, статья, брови вразлет, молодецкие усы и белая одежда были очень к лицу этому двадцатитрехлетнему удалцу. И конь-огонь, карабахских кровей! Точно в назначенное время вестник Весны подъехал к огням, исторгавшимся из-под земли, поднес факел, который тут же вспыхнул, и понесся во весь опор...

Камеры вдоль дороги прослеживали стремительную скачку — приближение Новруза Байрамлы. Мелик комментировал это захватывающее зрелище, расцветивая свой рассказ экскурсами в старину.

Вестник на белом коне, проскакав по склону горы Шубаны, проследовал по древней Караванной дороге и устремился к Волчьим воротам. На экране монитора возникло изваяние Боз-гурда⁴; посвятив несведущую часть публики в смысл и значение древнетюркского тотема, режиссер поручил направить камеры на мемориал «15 айлюля».

— Дорогие телезрители! Эти места, конечно, вам хорошо «знакомы». Мы неоднократно вели передачи с этого мемориала. Наверное, вам приходилось бывать здесь и на экскурсиях. 15 сентября 1918 года, — вы знаете, что по-турецки «сентябрь» называют «эйлюль» — Исламская Кавказская Армия именно отсюда вошла в Баку и, сражаясь плечом к плечу с бойцами Азербайджанской Армии, освободила город от врагов. Сейчас на этом мемориале, как вам известно, сооружена диорама, воссоздающая эпизоды сражений за Баку. В диораме запечатлены образы инициатора этого победного похода Энвер-паши и командующих-победителей — Нури-паши и Мурсал-паши... Проспекты, начинающиеся отсюда, названы именами этих славных военачальников. Именно по этим проспектам пройдет путь Новруза. Вот он, на белом коне, скачет к Волчьим воротам. Уже миновал

¹ Янар-даг — гора на Апшеронском полуострове, с вечно горящими природными огнями.

² Гарачи — цыгане, сохранившийся под этим названием караван-сарай.

³ Байрам — праздник.

⁴ Боз-гурд — «серый волк».

их... Направился по проспекту Мурсал-паши к площади «15 эйлюля»...

Мелик знал, что в народе эту площадь называют площадью Трех пашей или площадью Мехметчика¹, — во избежание путаницы, возникающей из-за созвучия слов «июль» и «эйлюль» (сентябрь).

Мелик поочередно нажимал кнопки пульта дистанционного управления: «Поглядим, что показывают другие каналы» АЗРТ — официальные поздравления; «Туран»: праздничные видеорепортажи из Ташкента, Казани, Ашхабада; «Араз» — из Тебриза; «Хилал»: о религиозных корнях праздника; «Улдуз»: репортаж о вестнике Весны, перемежающийся с рекламой и клипами.

Вестник уже спускался к площади Азнефти.

— Возьми крупным планом вышку на площади! — скомандовал режиссер. — Потом, отдельно: станок-качалку!

И сам — в эфир:

— ...Сейчас вы видите символическую вышку на площади Азнефти. Непрестанно работающая качалка говорит о неистощимости подземных и морских кладовых черного золота, доблестном труде наших славных нефтяников. Сейчас Вестник-Новруз достигнет площади и, совершив круг, устремится к Девичьей башне по проспекту Хазар. Вы видите: сейчас движение транспорта по всему проспекту приостановлено. Тысячи людей на Приморском бульваре и с противоположной стороны стоят в нетерпеливом ожидании Вестника на белом коне... — Уйдя из эфира, повернулся к помрежу: — Девичью башню — общим планом. Потом — панораму внизу. — Снова — в эфир: — Сколь щедра наша природа, столь же богато наше духовное и культурное наследие... Перед вами реликвия седой старины — древняя Девичья башня. Вот сорок стройных нарядных девушек с «сэмэни»², цветными свечками, праздничными «хонча»³ в руках, придающими особое очарование торжеству... А вот из стайки красавиц выходит в зеленом платье сама Бахар-хатун, Весна-красавица. Новруз спешил к Девичьей башни... Пьет шербет из преподнесенного Бахар-хатун кувшина... И, вздев пылающий факел, входит вовнутрь твердыни...

— Показать восхождение по лестнице? Там тоже установлены камеры, — спросил помреж.

— Нет, — отозвался Мелик. — Кадры из полумрака не будут смотреться... Людей покажите, народ. А после — верхнюю площадку. Будет эффектно: вдруг — раз! — и взметнулся факел. И Вестник на верхотуре. А после — наш сюрприз, — многозначительно добавил он.

Сюрприз заключался в нехитром трюке, придуманном Меликом. Годом раньше он разослал операторов заснять момент возжигания огня на празднике

на древних твердых Апшерона — в Нардаране, Рамана, Мардакянах и, разумеется, на Девичьей башне; запаслись видеозаписями этого же ритуала в дербентской крепости Нарын-кала, крепости Шамиля в Илису, башне «Гяларсан-гёрьярсан»⁴ в Шеки, на Чираг-кала в Дивичи, в карабахском Аскеране, на хичеванской Алындже, шемахинском Гюлистане, лахичском Нияле, в крепостях Базз и Эрк в Южном Азербайджане. Задумка Мелика: в один и тот же миг взору телезрителей предстанут зажигающиеся праздничные огни во всем этом огромном пространстве, на древних твердых исторической родины.

Хотя формально в таком монтаже была толика хроникального несоответствия показываемых кадров, по существу же никто не мог упрекнуть их в отступлении от правды — все это происходило и происходит сейчас. «То-то будет «фитиль» другим каналам», — усмехнулся Мелик.

Большой факел запылал. Год сдал свои полномочия. И год вступил в свои права. И грянул праздник. Мелик решил не «разбрасываться» по разным уголкам и районам города, а сосредоточить экран на происходящем в древней цитадели — Ичери-шехер.

За Девичьей башней, на Базарной площади являют свое искусство и сноровку канатоходцы. В восстановленной резиденции бакинских ханов — Музее Старого Баку, — восковые фигуры дервиша, амбала, гочи⁵, а также реликты старых времен — конка, фэтон, «газалах» (одноконная повозка), рисунки и гравюры средневековых европейских путешественников, художников, запечатлевших Баку, первые фотографии города, карикатуры Азима Азимзаде... На площади перед музеем потешали бакинцев Кечал и Коса — фольклорные персонажи. Через крепостные ворота народ валом валил, спеша лицезреть веселое действо и игрища.

Во Дворце Ширваншахов, в старых банных строениях, застеленных коврами, состязаются силачи, борются на поясах, кипят поединки на мечах...

У туристов глаза разбегаются: что предпочесть? Заглянуть ли в кондитерскую с восточными сладостями, — у входа поролоновый муляж Мешади Ибада, — или в сувенирную лавку, где видится фигура Гаджи Гара⁶? Или податься в мейхану «Дервиш»?

— Дальше веди программу сам, — обратился Мелик к помощнику. — Я должен мчаться в Туркян. Еще раз с праздником. Удачи!

Завел мотор, выехал на проспект «Хазар», где уже возобновилось движение транспорта, но заторы, давка, пробился к площади Азадлыг — в Черный город, перевел дух, здесь поток машин чуть поредел... Извлек кассету из бардачка, вставил в магнитофон, включил: «Чакона» Баха, божественная музыка, Мелик обожал ее.

Остался позади университетский городок — Говсаны, справа простерлась голубая гладь бухты; теперь

¹ «Мехметчики» — так в Турции называют солдат-аскеров национальной армии.

² Сэмэни — зеленые всходы пшеницы, которыми украшают столы к празднику Новруз.

³ Хонча — праздничные подношения (сладости, орехи, пшат).

⁴ Смысл названия: «придешь — увидишь».

⁵ Гочи — сорвиголова.

⁶ Персонаж комедий У. Гаджибекова и М. Ф. Ахундова.

на магнитофоне зазвучало торжественно-раздумчивое, окрашенное печалью «Адажио» Альбиниони.

В чем тайна сокровенной, покоряющей силы этих гениев? Что делает их такими близкими, родными? — думал он. Их отделяют от нас столетия, все было тогда другим. Совершенно другим. Эпоха, среда, нравы, обычаи и традиции, этикет, манера поведения... Но поразительно, как эти далекие чудоеи в камзолах, панталонах, с жабо и напудренными париками — Бах, Альбиниони, Вивальди, Корелли, Моцарт... предвидели, предугадали лад его, Мелика, души, как ярко, выразительно озвучили его переживания, настроение, порывы и чаянья!.. Эти старинные волшебники словно прочли его сердце, самые сокровенные движения души человека XXI века, азербайджанца по имени Мелик Мамедли, и облекли их в чарующие, дивные звуки! Разве это не чудо?! Чудо далеких веков.

Ему пришло на ум: но ведь и то, что он может внимать этой музыке здесь, в своей машине, тоже чудо, чудо XXI века. Тоненькая коричневая магнитная лента, свернутая в кассету; включил магнитофон, и рождаются звуки, льются мелодии, завораживающие тебя... Современникам Баха и Моцарта, наверно, такое и не снилось.

Тихое дуновение моря струилось сквозь приоткрытое стекло дверцы, ласково глядя его волосы. Справа на обочине выросла надпись: «ТЮРКЯН». Город Тюркян, выросший на территории бывшего поселка, стал своего рода Ассамблеей тюркского мира — здесь размещались многие общетюркские экономические, культурные, финансовые структуры, СМИ, посольства и постпредства суверенных тюркских государств...

У въезда в город магистраль раздваивалась. Верхняя трасса вела к площади Религий — здесь возвышалась грандиозная мечеть Ахмеда Ясеви, построенная Турцией, рядом — маленькая церковь, возведенная для христиан-гагаузов, напротив — синагога для прихожан-караимов, буддийский храм — дар Тувы и якутское шаманское капище.

Поодаль от площади находился спорткомплекс «Манас» с открытыми и крытыми площадками для игр, плавательным бассейном. Отсюда начиналась зеленая полоса лесопарка Отюкян, опоясывавшая шоссе на тюрканский аэропорт, а другим концом окаймлявшая ярмарку Великого Шелкового пути близ аэропорта Бина. Лесопарк украшали всевозможные породы деревьев, привезенных со всех уголков тюркского мира и посаженных на Апшероне, благо, что эти переселенцы прижились.

На ярмарке демонстрировались и продавались товары не только тюркских стран, но и со всех континентов планеты. Чего только здесь не было! От казахско-киргизской домбры до дагестанской бурки, от узбекских узорных халатов до туркменского ахалтекинского скакуна, от китайского фарфора до кашанских ковров... арабские пряности, японские татами, благоухающие сандаловые прутья из Индии, даже африканские ритуальные маски. Новейшие

технологии Запада, Японии, Кореи поражали воображение. Ресторанов, кафе не счесть — «Арал», «Иссык-куль», «Алтай», «Мермере», «Агры-даг»; здесь можно было отведать и казахский бешбармак, и узбекский плов, и турецкий «имамбайылды»... и еще много гастрономических изысков, испить и кумыс и, кажется, живую воду из райского родника. Все эти блага «прилетали», «приплывали», «приезжали» всеми видами транспорта. Из международного аэропорта Бина лайнеры совершали рейсы во все концы света, а из тюрканского — самолеты «Байконур» летали в столицы и крупные города тюркского мира.

Мелик свернул от развилки направо и по улице Салавата Юлаева доехал до площади Орхон, представляющую собой огромный круг. Ровно в центре — десятикратно увеличенные копии древних Орхонских писем — Большого и Малого «Гюльтекина» и «Тонугуг»; площадь обступали четыре здания — университет, театр, научный центр и библиотека; в Университете Кемаля Ататюрка готовили специалистов по этнографии, краеведению, истории, языку, литературе, географии и экономике всех тюркоязычных стран. На сцене Театра имени Назыма Хикмета шли пьесы в исполнении гастролирующих коллективов разных стран. Сегодня вечером, как оповещали афиши, шел спектакль курдского театра — «Мохаммед Гази».

Научно-исследовательский центр, носящий имя Махмуда Гашгарлы, вел изыскания по совместной истории и по общим литературным памятникам тюркских народов, готовил сводные и двусторонние словари, общетюркскую энциклопедию; здесь же работала комиссия по алфавитной, языковой и терминологической адаптации.

Библиотека имени Фараби стала сокровищницей тюркологической литературы и рукописных источников, представленных в микрофильмах, в компьютерных копиях с книг и текстов, хранящихся в крупнейших библиотеках Баку и Стамбула, Ташкента и Тегерана, Багдада и Каира, Москвы и Петербурга, Вашингтона и Нью-Йорка, Лондона и Парижа, Рима, Берлина, Вены, «Матенадарана»...

Мелик выехал с площади Орхон на бульвар Гуннов, где по одну сторону размещались дипломатические миссии двух десятков суверенных и автономных тюркских республик, а по другую — центры уйгурской, турецкой, чагатайской, туркменской, казахско-киргизской, итиль-уральской и крымско-татарской культуры, носившие имена Юсифа Баласагунлу, Юниса Эмре, Алишера Навои, Махтумкули, Абая, Габдуллы Тукая и Исмаила Гаспринского. В двух соседствующих зданиях — очаге Зия Гей-Алла и клубе Султана Галиева собирались политики правого и левого направления, которые скрещивали копыя в жарких спорах по различным вопросам.

А вот и площадь Огузов. В отличие от Орхонской площади, она была решена в форме квадрата, в духе Самаркандского ансамбля Эль-Регистан; стиль зодчества, орнамент фасадов, глазурь, геометрия — все

напоминало Самарканд, Бухару, Хиву; площадь венчали два здания-близнеца — отель «Туран» и дворец «Эрконокон», третий угол занимал Тюркский музей, четвертая сторона, открытая, выходила к морю. Перед «Тураном» пестрели санджаги-знамена и вымпелы древнетюркских держав и государств; «Эрконокон», украшенный флагами современных тюркских государств, являлся своего рода «ЮНЕСКО тюркского мира», сосредоточив в себе комиссии по экономике, культуре, науке, образованию, информации, здравоохранению, спорту... Здесь же разместились турбюро, авиагентства, справочные службы, офисы СМИ.

Мелик подъехал к музею, вышел из машины и передал ключи служащему паркинга. Мельком глянув на афишу — «Выставка: сокровища тюркского мира 22 марта — 22 апреля», — предъявил журналистское удостоверение и вошел в музей. Народу — пруд пруди. Особенно густо в фойе, где экспонировался знаменитый ковер «Шейх Сафи». Мелик некогда лицезрел этот уникум в лондонском Королевском музее Виктории и Альберта. Но, в отличие от британской экспозиции, с тусклым освещением, здесь ковер заиграл всеми красками и оттенками, залитый светом. «А может, это оттого, что вернулся на родину... — подумал и тут же приструнил себя: — Ну ну, не впадай в пафос, господин Мамедли... К тому же для особого ликования нет причин, через месяц наш чудо-ковер опять улетит в заморский край...».

Шедевр вернулся на родину в самое лишь на месяц после долгих переговоров с британской стороной, причем с солидной охраной. Строго охранялся и ковер «Пазыраг», считающийся древнейшим в мире, обветшалый, поблекший от времени, тоже под пуленепробиваемым стеклом. Так же, как экспонат из Казахстана — «Гызыл дойушчу» («Золотой воин»), как ватиканские и дрезденские списки «Книги Прародца Горгуда». Целая толпа интуристов окружила древнюю карту «Пири-Раис», внимая объяснениям гидов на разных языках. Диву давались и заморские гости, и школьники: оказывается, этот Пири Раис задолго до открытия Колумба обозначил на карте континент, впоследствии названный Америкой!

«Можно работать шикарную программу, — подумал Мелик, внося заметки в электронный блокнот. — Выкроить бы время».

Возвращался в Баку не по Южной приморской трассе, а по окружной дороге.

Наступали сумерки 22 марта — Дня весеннего равноденствия. Только сейчас вспомнил: с утра ничего не ел. Придорожных закусовых, ресторанов — хоть отбавляй. Но его выбор был предопределен — ресторан «Бакинские ночи», что на Зыхе. Конечно, были рестораны покруче, с кухней посмачнее, были и экзотичные места. Но в парке «Лунные ночи», в ресторане «Бакинские ночи» привлекало не меню, а открывавшийся с веранды пейзаж. Любимый город представлял ему обычно с большой высоты или с прибрежной «подковы», со стороны левого мыса. А отсюда — вид справа. Нечасто выпадала такая возмож-

ность. Он мог часами любоваться чарующими видами Баку, бухты, открывавшимися с этой точки.

Заказал еду, подкрепился, потягивая вино «кипчак». Уходить не хотелось. Погрузился в созерцание вечерней лампионии города. Светящийся поток машин, текущий по бульварам Хазар и Физули, разноцветные огни кораблей, стоящих на рейде, парусников, спящих по бухте, мерцающее ожерелье Чертова колеса на острове Наргиз... По другую сторону «подковы», словно из легендарных снов, восходили над морской гладью белокаменный Сабаильский замок, освещенный лучами прожекторов с верхотуры отеля-крепости «Ченлибель». Замок казался фантастическим видением. «Скоро там начнется вечер поэзии... Не слабо ли нашим служителям муз передать это очарование?...»

Любопытно: на иных катерах, спящих по бухте, стали вдруг зажигаться факелы. «Это что-то новое, — подумал Мелик. — раньше такого не было. Может, начитались кавказских впечатлений Дюма-отца и решили воссоздать давнюю картину бухты?... Во всяком случае, находка удачная. Молодцы!»

Артиллерийский залп заставил его вздрогнуть, хотя он и ждал салюта. Из сторожевиков «Бабек» и «Саттархан» в небо взвились ракеты, рассыпавшие радужные ореолы, искрометные букеты, которые озаряли темень, очерчивая причудливые узоры

Но странное дело: среди всей этой феерии, пестрых праздничных картин, веселой, браваурной музыки его вдруг охватила безотчетная грусть. Что было тому причиной? Некое внушение голоса свыше, что ли, предостережение о преходящести земного бытия, о конечности отпущенного срока? В последние годы, благодаря неслыханным достижениям медицины, в Азербайджане, как и во всех передовых странах мира, средняя продолжительность жизни колебалась в пределах 70–80 лет. Мелик имел основания полагать, что впереди еще лет двадцать — двадцать пять лет жизни. Но ведь предположительный отрезок времени имел свой предел, свою пограничную черту.

Сызмала проникшись верой в Бога-Аллаха, он верил и в существование потусторонней жизни. Рассуждал: может, тот, запредельный, мир краше, благополучнее этого, земного, мира? Пусть так. Но, во всяком случае, человек, даже вынужденный переживать тяжкие дни, лихолетья на этом свете, даже обреченный на страдания в этой юдоли скорбей, не хочет распрощаться с жизнью. А что говорить о человеке, который беззаботно живет в благополучной стране?..

Беззаботно... Но так ли уж беззаботна, безмятежна его жизнь, как у других сограждан? Конечно же, нет. Избавиться от социальных бед, жилищно-бытовых проблем, материальных, финансовых тягот, — это еще не значит — жить беззаботно. Никакой общественный строй, самое справедливое общество, самые распрекрасные условия не могут оградить и застраховать человека от тоски одиночества, безответной любви, мук ревности, горечи несбывшихся мечтаний и надежд, боли утрат близких... Да, боли

утрат... Эта боль угнездилась в его душе, точит исподволь, через многие годы, когда не стало отца, мамы, когда похоронили двоюродную сестру...

Конечно, и он сам, и весь народ могли подвергнуться великим бедствиям, когда давнишние политические противостояния, обернувшиеся смертными «разборками», привели страну на грань гражданской войны, — осуществись угрозы внутренних сепаратистских сил и агрессии извне, события могли принять совершенно другой оборот. Наверное, он, Мелик, сейчас не находился бы здесь, в парке «Лунные ночи», в Баку, в Азербайджане, а может, его и вовсе не было бы на свете... К великому счастью, все опасности были отражены, предотвращены, извечный инстинкт самосохранения нации победил властолюбивые страсти и амбиции, и начавшееся с той поры сперва медленное, постепенно нарастающее темпы развитие, возрождение пришло в конечном итоге к сегодняшнему надежному положению.

Ныне в Азербайджане нет безработных, бедных граждан, злосчастных изгоев. Нет несчастных, но все ли счастливы? В том-то и дело. Когда несчастен народ, несчастливы и все сыны и дочери этого народа, но когда народ достигает счастья и процветания, не все и не каждый из сограждан может сказать: «Я — счастливый». Хотя, естественно, он спокоен за судьбу своей страны, государства. Он рад этому, он даже социальное счастье, но в личном измерении каждый сам по себе когда-нибудь неизбежно оказывается лицом к лицу с Одиночеством, с Предназначенным Расставанием, в конце концов, со Смертью. Разве не так?

Что за мрачные мысли лезут в голову — в такой праздничный день? Нашел время философствовать. Посмотри на город, какая красота, какое очарование! Гигантские фигуры Вещего Горгуда, легендарного Кёроглу, видение Сабаила, восставшего из-под вод Каспия — в фосфорическом свете прожекторов, Девичья башня с пылающим светильником Новруза, расцветенные корабли, катера, яхты в бухте, Чертово колесо на острове Наргиз, виртуальный верблюжий караван, мерно плывущий в пространстве над универмагом, факелы над Дворцом Огней... — ради того, чтобы увидеть весь этот праздник жизни, право же, стоило явиться в мир, стоило жить...

И если уж настанет пора ухода, то стоит ли делать из этого трагедию, стоит ли страшиться, если ты жил как человек, трудился праведно и уходишь как человек?.. Все мы уйдем, но останется Девичья башня, останутся скалы Гобустана с древними рисунками, останутся каменные узкие улочки Ичери-шехера, останутся Шекспир и Физули, Бах и мугам «Сегях»...

Но как же интересно знать, что будет, что станется, как станется после нас? Вспомнились давно читанные стихи:

Знать бы, кто над Хазаром затеплит новые огни?
Знать бы, кто споет новые песни,
На языке каком, когда мы уйдем?..

Тревоги поэта о будущем родины оказались напрасны. Огни над Хазаром вновь зажигаются нами. И песни новые поем на своем языке.

Быть может, Мелику вера в Аллаха передалась по наитию детского сердца через бабушкины моления и благословения. Он, по сути, не был истовым богомольцем, никогда не отправлял религиозные обряды, не совершал намаз, не соблюдал мусульманский пост орудж и совершить паломничество в святые места не сподобился. При всем том, ежевечерне, перед сном грядущим он нашептывал придуманную им самим и порой даже озвучиваемую в телевизионных передачах молитву.

И сейчас, здесь, на веранде «Бакинских ночей» в таинственных кушах парка «Лунные ночи», в теплом вечернем свечении неповторимого, но ежегодно повторяющегося праздника он про себя нашептывал свою молитву: «О Господи, благодарствую за этот наш день. Не обдели и впредь этим счастьем — народ мой, друзей моих и очаг мой. Пусть худший из дней наших будет таким. Пусть никто из нас никогда не воззовет в отчаянье: Как быть мне! Что поделает мне! Вдосталь лиха хлебнули мы на веку, пережили вдосталь невзгод, много раз оказывались на краю смерти-погибели. Но выстояли, выдюжили, выжили и трудами праведными вырвались к светлым дням, добились благоденствия. Пусть оно продлится на веки вечные, Боже великий. Аминь».

Сказка вторая¹

И вдруг он увидел: надвигаются, дерясь и сшибаясь друг с другом, черный и белый овен. И тотчас изловчился и сел верхом на белого овна. Но белый овен скинул его на спину черного овна. И понес его черный овен в царство мрака...

Сказка о Мелик-Мамеде

I

Мелика Мамедли разбудили звуки азана. Он медленно раскрыл отяжелевшие веки, глянул в окно: еще темно. Раздался стук в дверь.

— Кто там?

Голос из-за двери:

— Вставайте, ага². Пора утреннего намаза.

В воображении ожил номер отеля, где он остановился минувшей ночью и сразу забылся сном, — кровать, шкаф, стол, стульев не было, старая истоптанная циновка на полу и две подушечки-мутаки.

Голос из-за двери:

— Ага, место совершения намаза — на первом этаже, в гостиничной молельне.

¹ Примечание: События, происходящие во второй сказке, не являются хронологическим продолжением предшествующей; эти две череды событий представляются альтернативными в одном и том же отрезке времени.

² Ага — господин.

Протянув руку, он включил ночник. В углу номера — указатель направления Киблэ и молитвенный коврик.

— Я совершу намаз в номере, — сказал Мелик.

— Хорошо, — отозвался голос за дверью.

Он поднялся и подошел к окну. Еще не рассвело. Заглянул в карманный календарь: 22 марта, день весеннего равноденствия. Вспомнил, что некогда, в стародавние времена, этот день отмечался как праздник Новруз. Вздохнул глубоко. Умылся у ручной умывальника, устроенного прямо в комнате, глянул в тусклое зеркало. Показалось, борода за день заметно отросла. «Там вам лучше фигурировать с бородой», — вспомнил он напутствие Эрхана.

Выйти из номера не спешил: пусть думают, что занят совершением намаза. С момента, как он вступил в отель, каждый его шаг был под наблюдением. Он это знал. Но, наверно, технический уровень у хозяев был не настолько высок, чтобы установить приборы слежения и внутри номера.

Звуки азана разносились по всей зоне.

Зона! Он почувствовал, как кольнуло в сердце. Город, где он родился и вырос, учился, трудился, любил и был любимым, построил семью, стал отцом, — теперь стал Зоной. Вернее, зонами, еще точнее, тремя. Баку был расчленен на зоны. Каждая со своим политическим строем. В мире их именовали попросту зонами, СМИ употребляли скучные обозначения — Первая, Вторая, Третья Зона; но были и официальные названия — Первая значилась как Бешишти — Бади-Кубе¹, Вторая — Бакинская коммуна, Третья — ВАКУ-СИТИ. Несколько лет назад, командированный в Стамбул в качестве тележурналиста, Мелик Мамедли и вообразить не мог, что командировка затянется так надолго, на многие годы, и ему, как и миллионам сонародников, оставшихся на чужбине, путь на родину будет заказан; здесь произойдут столь ужасные события, что омрачат жизнь Мелику, как и любому истинному азербайджанцу.

Вернувшись по прошествии многих лет, он представлял, сколь тягостным будет это возвращение, но пережитое вчера превзошло самые худшие его предположения.

Покинув Баку, он был вынужден обретаться в Турции. И там сначала пришлось намыкаться. Материальные трудности сами по себе, — горше всего неведение об оставшейся в Азербайджане семье, невозможность получить хоть какую весточку о ней, пути-дороги были перекрыты, прерваны даже почтовое, телеграфное сообщение; после тех ужасных дней он не знал, живы ли, нет ли жена Айпери, сын Бейрек, дочь Бурла... Скучная радость последних лет — добрая весть, которую узнал от Эрхана — единственного знакомца, сумевшего выбраться из Азербайджана и прибыть в Турцию. Какими путями он добрался — Мелик не знал, да, по правде говоря, и

не допытывался. Можно было предположить, что он связан с секретными службами какой-то из Зон. Иначе как было добраться Оттуда Сюда? У кого на службе состоял Эрхан — у исламистов ли, коммунистов ли, демократов ли, — какое это имело значение в соотношении с доброй вестью, которую он принес?

Оказалось, что и жена, и дети смогли уцелеть, выжить в те роковые, страшные дни. Какой еще большей радости было ждать в такую злосчастную пору?

Эрхан передал ему адреса, номера телефонов всех троих. Мелика озадачило то, что семья его жила по разным адресам, врозь. Эрхан грустно улыбнулся:

— Не только по разным адресам — по разным зонам...

В старые добрые времена он работал при Мелике, под его началом. Наверняка Мелик сделал своему бывшему подопечному немало хорошего и благого, следуя завету: «Отпусти пойманную рыбу в море, рыба не поймет, Бог поймет». Он не обременял память перечнем своих благодеяний. Но сейчас, столкнувшись с редким человеческим качеством — благодарной памятью, он был приятно удивлен. Вполне вероятно, что Эрхан прибыл в Стамбул с определенным заданием, но Мелика, по его словам, разыскал по собственной инициативе, чтоб сообщить добрую весть. «Узнают, что я встретился с вами, — шкуру с меня дерут», — сказал он. Кого он имел в виду? Клерикалов? Коммунистов? Демократов? Мелик не спрашивал. Впрочем, Эрхан не стал бы отчитываться. Во-вторых, Мелик потерял всякий интерес к таким материям. После всех потрясений и катаклизмов не осталось ничего, что бы связывало его с суетным миром. Он знал о своем недуге. Знал и о том, что ему осталось жить считанные дни. Одно только желание, одна мечта была у него — хоть на закате дней свидеться с семьей.

Эрхан словно прочел его мысли.

— Хотели бы встретиться с женой, детьми?

«Уж не волшебник ли он?» — Мелик ушам своим не поверил. Возможно ли это? Эрхан сказал, как бы отвечая на его сомнения:

— Нет ничего невозможного на свете. Я договорился: вас командировают от одной из турецких газет, якобы для подготовки корреспонденции обо всех трех зонах.

— Но ведь ни одного турецкого журналиста туда не впустили.

Он сказал: «туда». Язык не повернулся произнести: «Баку», «Зона». Теперь родина для него была «там».

— Верно. И не только турецкого. Вы будете первым журналистом в мире, которому удастся увидеть все три зоны. До сих пор в любую из них редко кому удавалось заглянуть из пишущей братии. Причины — политические цензуры, страна проживания, личные убеждения. Но вы будете первым, преодолевшим эти барьеры. Первым и единственным.

Мелик не сдержал любопытства:

— Но как тебе удалось этого добиться?

— Если кому-нибудь скажете, что это устроил я, то впредь ни вы, ни кто другой меня больше не увидит.

¹ Бешишти — рай, Бади-Кубе — старинное название Баку («Город ветров»)

— Я буду хранить молчание. Но мне-то ты можешь сказать.

— Не обессудьте. Не могу. Надеюсь, придет время, когда смогу открыть эту тайну. А пока вам нужно только получить пробивные визы, заполнить анкеты. Вам выдадут документ, позволяющий посетить все три Зоны.

— Зачем мне три Зоны, — наконец ему пришлось произнести это ненавистное слово. — Мне бы только свидеться с семьей.

Эрхан вновь горько усмехнулся:

— Дело в том, что члены вашей семьи живут в разных Зонах, а переезд из одной в другую заказан.

Он выполнил все формальности, получил нужные документы, где значилось, по отдельности, что имярек командирится в Бехишти — Бади-Кубе, в Бакинскую Коммуну и в Vaku-Siti.

Мелик понимал, что этим шансом обязан конспиративным хлопотам бывшего коллеги. Но не знал, что потребует Эрхан взамен за эту услугу. Он уже давно утратил веру в бескорыстное добро и в человеческую благодарность.

Как бы то ни было, он получил весточку о семье и был готов отправиться в эту поездку, пусть даже сопряженную со смертельным риском.

Из-за блокадных условий из Турции за границу разрешалось выезжать лишь одним-единственным авиарейсом — в Женеву, оттуда — продолжить странствие на самолетах «Панамерикэн».

Эрхан уведомил его, что на все три Зоны имеется один аэропорт — Vekode.

— А что это означает?

— Аббревиатура от трех слов — Вера, Коммуна, Демократия.

Мелик улыбнулся, впервые за последние годы. Эрхан продолжал:

— Вам придется пройти через три контрольно-пропускных пункта и три таможни. Постарайтесь взять поменьше вещей. И с учетом особенностей каждой Зоны, чтобы на таможне не изъяли. Да, вот еще что... — Эрхан извлек из кармана пачку долларов. — Возьмите. Вам на каждом шагу понадобятся.

— У меня есть деньги, — замялся Мелик.

— На те деньги вы даже из аэропорта не выберетесь. Как знаете. Но если не возьмете — и ехать не стоит.

Мелик сдался:

— Я не знаю, как отблагодарить тебя.

— Это я на всю жизнь обязан вам, — возразил Эрхан. — Вы спасли моего ребенка...

Только сейчас Мелик вспомнил, что еще в той жизни, на той родине, у Эрхана родилась двойня и оба мальчика через месяц погибли из-за сердечной недостаточности. Родился третий — с тем же пороком сердца. И Мелик, пользуясь своей профессиональной популярностью, поднял на ноги лучших кардиологов. Мальчик был спасен. Не зная о дальнейшей участи сына Эрхана, осторожно спросил:

— Как твой сын?

— Как огурчик! Благодаря вам...

Мелик еще раз поблагодарил и, кладя деньги в карман, добавил:

— За мной должок. Верну при первой возможности.

— Нет, это я в долгу перед вами. Помните, я тогда еще работал в типографии помощником метранпажа, а вы были незнаменитым корреспондентом. Задерживали — в который раз — зарплату, а у меня в кармане ни копейки, даже хлеба не на что было купить. Вы, узнав об этом, достали из кармана пару рублей: «Вот всё, что имею». И протянули мне рубль — половину ваших средств.

— Ну, знаешь ли, это — мелочь... по сравнению...

— Дело не в сумме... — перебил Эрхан. — Вы поделились последним.

На прощание Эрхан напутствовал:

— Что бы там ни увидели, не отчаивайтесь. Вы столкнетесь со многими странностями...

Действительно, нелепицы начались еще в пути: спустя три часа после вылета из Женевы в Баку стюардесса объявила на трех языках — английском, русском и фарси, — мол, самолет идет на посадку, просьба пристегнуть предохранительные ремни.

Мелик созерцал сквозь иллюминатор землю. С облачной высоты ему предстал родной город, который вот уже столько лет ему только снился. Большая часть города была погружена во тьму или же виднелись редкие сиротливые огни; другая часть расцветала многоцветной иллюминацией. Стюардесса, обходя ряды, раздавала пассажиркам чадры. Дамы, сидевшие с открытыми лицами, иные даже в мини-юбках и декольтированных платьях, принялись укутываться в черную чадру. Стюардессы придирчиво следили, чтобы ни один волос не выбивался из-под покрывала. Мелик предвидел такое, зная, что первый пограничный пункт на пути — Бехишти — Бади-Кубе, потому и требовалось соблюдать закон о «хиджабе». Но когда бородатый стюард, подойдя к нему, предложил снять галстук, он не смог скрыть недоумения:

— Кому какой вред от моего галстука?

— Ага изволит говорить верно, но таков порядок, — сокрушенно покачал головой бородатый бортпроводник.

Мелик заметил, что и другие пассажиры тихо-смирно развязывают свои галстуки и сдают стюарду, а тот прикалывает к ним булавкой номера билетов, заверяя, что на обратном пути этот галантерейный атрибут будет возвращен.

Сойдя с самолета, он подошел к пограничному пункту под вывеской с арабской вязью: «Бехишти Бади-Кубе» и развевающимся зеленым флагом с лумесяцем.

На проверку документов ушло битых полчаса. Пограничники долго сверяли соответствие паспортных снимков с лицами предъявителей, иногда отлучаясь куда-то для консультаций, вновь возвращаясь и впиваясь глазами в документы. Кое-каких пассажиров отозвали в сторону и куда-то увели.

У Мелика заколотилось сердце, сейчас вот выищут какую-то закавыку, обнаружится какая-то хреновина, и все пойдет прахом, рухнет мечта, которой жил и дышал столь долгие годы.

— Ага, предъявите ваши документы! — Голос пограничника прервал его мысли. Он протянул паспорт и выданную ему бумагу. Пограничник, после долгого разглядывания, переворачивания, перелопачивания, проставил печать и вернул.

«Слава Аллаху», — вздохнул с облегчением Мелик и перешел через границу. Досмотр на таможене занял еще больше времени. Ему пришлось ждать своей очереди целых два часа. Бородатый таможенник велел открыть сумку, переворошил, перебрал содержимое — три сорочки, нижнее белье, домашнюю одежду, мыло, зубную щетку и пасту, электробритву, блок сигарет, пару кассет... наконец выудил галстук:

— А разве в самолете не отобрали у тебя галстук?

— Отобрали.

— Тогда что же это такое? — Таможенник крутанул галстук в воздухе.

— А это... это второй... — замялся Мелик. — Прозапас... — Похоже, его деморализовала спесь пограничных служаек, и он ощущал себя виноватым, не имея никакой вины.

Таможенник не унимался:

— Разве тебе мало одного ошейника шайтана? Хочешь подарить кому-то? Или продать?

— Астахфуруллах!¹ — выдавил из себя Мелик. — Я не спекулянт. Да и кому я могу продать этот старенький галстук.

Таможенник, не слушая его, бросил галстук в ящик с конфискованными вещами. С этим галстуком были связаны определенные воспоминания, и Мелик не хотел его терять. Вспомнил «рекомендации» Эрхана. Конечно, это был рискованный шаг, который мог все испортить, но в нем зыграло упрямство; оглянувшись, он тихонько извлек из кармана пятидесятидолларовую купюру и протянул служаке.

— Этот галстук — память о моем покойном брате.

Таможенник проворно сгреб купюру в лапу.

— Тогда другое дело. Если память о покойном брате, то какие тут могут быть разговоры. — Извлек конфискованный галстук из ящика и вернул Мелику.

Все эти быстрые манипуляции с изъятием и возвращением галстука, сгребанием купюры говорили о сноровке в этом деле.

Мелик, пройдя эти погранично-таможенные барьеры, достиг второго пункта с серпастым-молоткастым красным флагом и надписью кириллицей на азербайджанском и русском языках: «БАКЫ КОММУНАСЫ». «БАКИНСКАЯ КОММУНА». На стене большущий портрет персоны внушительного вида в темных очках, закрывавших изрядную часть лица. Над портретом было начертано изречение:

«ПОБЕДА КОММУНИЗМА НЕИЗБЕЖНА,
ИБО НЕСОМНЕННА»

МАРАТ

А надпись под портретом призывала:

ПОД МУДРЫМ РУКОВОДСТВОМ
ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ТОВАРИЩА
МАРАТА ВПЕРЕД, К ПОЛНОЙ ПОБЕДЕ
КОММУНИЗМА ВО ВСЕМ МИРЕ!

Стоя в очереди у КПП на границе, Мелик вспомнил слова Эрхана о том, что никто не видел глаз товарища Марата Гарагёзова; по слухам, глаза у него косые, потому и не снимает темных очков.

Наконец дошла очередь Мелика.

— Заполните анкету нашим алфавитом, — сказал пограничник, мельком бросив взгляд на его документы.

Он вышел из очереди, приблизился к пологой полке. Переписал все кириллицей. Пришлось снова занять очередь. Наконец прошел КПП, но вновь застрял при таможенном досмотре.

Таможенник, повертев в руках кассеты, спросил:

— Что это?

— Музыка. Песни азербайджанских композиторов. В Турции они выпущены под названием: «Азери шаргилери» без указания авторов.

— В Турции? — насторожился таможенник. — Сюда ввозить пантюркистские кассеты запрещается.

«Была не была», — подумал Мелик и протянул чинуше полусотенную купюру. — Это же песни советских композиторов, живших в прошлом веке.

Таможенник знакомым проворным движением сгреб купюры.

— Ах, советских? Тогда можно. — Затем он взялся за магнитофон. — А это что такое?

— Магнитофон.

Таможенник нажал на клавиши. Зазвучало радио.

— Это же радио!

— Аппарат комбинирован. И проигрыватель, и радиоприемник.

— У нас запрещено слушать чужое радио.

Мелику пришлось разориться еще на полсотни долларов. Теперь он совершал это более уверенно.

Третий погранпункт. Здесь реял голубой флаг.

«Три границы — три флага, — с горечью подумал он. — Зеленый, красный, голубой. Будь эти три цвета вместе — составили бы триколор бывшего Азербайджана...»

Пограничник, пробежав глазами документы, велел ему тиснуть большим пальцем в дискетку. Затем вставил дискетку с отпечатком пальца в компьютер, нажал на какие-то клавиши, взглянул на дисплей. — Можете пройти.

И здесь таможенник осмотрел все вещи.

— Наркотики?

— Нет, голубчик, не балуюсь.

Таможенник взял в руку блок турецких сигарет.

¹ Астахфуруллах (арабск.) — «Упаси Аллах».

— Что это?
 — Сигареты. Турецкие.
 — К нам ввоз любых сигарет, кроме американских, запрещен. Подлежит изъятию. — Потом почему-то добавил: — А я, между прочим, никогда не пробовал турецких сигарет.

— Я заядлый курильщик. К этим привык. Можем поделиться: половину тебе, половину — мне.

— О'кей, — согласился контролер и, распечатав блок, взял себе шесть пачек, вернув владельцу четыре.

Едва пройдя таможенный контроль, он увидел броские рекламы. Стюардесса, с картинной улыбкой раздающая кока-колу пассажирам, отвечающим столь же картинной улыбкой. Надпись латиницей:

ОТПРАВЛЯЯСЬ В ПУТЬ-ДОРОГУ, КОКА-КОЛУ ПЕЙ ПОМНОГУ!

Выходя из здания аэропорта, Мелик глянул на часы: полтретьего ночи. А самолет совершил посадку в полчетвертого — пополудни. Одиннадцать часов их мурыжили здесь! Три часа полета от Женевы и — столько времени на пограничную волокиту!

Подошел к первой машине на стоянке такси, потянул ручку дверцы — заперта. Тут к нему подкатило такси из задних рядов; таксист распахнул дверцу, приглашая его садиться. Он сел на заднее сиденье; тут кто-то открыл переднюю дверцу: бородатый молодой человек обратился к нему: «Ага, ваш покорный слуга тоже следует в город, если вы не против, будем попутчиками». «Пожалуйста», — отозвался Мелик. Такси покатило по автостраде, обнесенной колючей проволокой, освещенной яркими фонарями с одной стороны; с другой стороны дорогу обступала темень. Мелик обратил внимание на туши дохлых собак, валявшихся вдоль ограды на обочине.

— Откуда столько собачьих трупов?

— Глупые твари, — отозвался шофер. — Нарываются на проволоку, а по ней ток пропущен.

— Зачем же ток понадобился?

— Кяфиры надумали, — объяснил бородатый попутчик. — Бояться, что люди с той стороны к нам перебегут...

— Псы эти бродячие были, голодные. Всех сгребут и сожгут, — сказал таксист.

Мелик осматривал окрестность, но не находил никаких знакомых примет. За колючей проволокой — вспаханная нейтральная полоса. Дальше, о правую сторону — светящиеся разноцветные рекламы латиницей, — очевидно, это была территория ВАКУ-SITI. Слева — тьма-тьмушная.

— Это Бади-Кубе?

— Нет, ага, — отозвался бородатый парень. — И по эту сторону — логово кяфиров. По-иному — Бакинская коммуна. Наш Бехишти Бади-Кубе — дальше, впереди.

Мелик вдруг узнал Сураханскую дорогу.

— Сураханская дорога, не так ли?

— Да, ага. Это район «Сура-хане».

— Здесь прошло мое детство, — вздохнул Мелик. — Наш дом стоял недалеко от Атешгяха.

— Где-где? — переспросил шофер.

— Был такой храм огнепоклонников, — пояснил бородач.

— Был? — удивился Мелик. — А теперь?

— Снесли. Какая нужда в капище нечестивых в мусульманском государстве?

Такси затормозило перед закрытым шлагбаумом. Подошел полицейский и, просмотрев документы всех троих, откозырял «Хейри шеб»¹. И поднял шлагбаум.

— Ага, добро пожаловать в Бехишти Бади-Кубе, — сказал бородатый парень.

Они настигли и стали объезжать большой обоз; за громыхавшими арбами тянулись толпы людей.

— Кто эти люди, куда они тащатся на ночь глядя?

— К Янар-дагу, — ответил шофер.

Мелик заметил по отражению в переднем зеркальце, как бородач укоризненно покосился на шофера.

— Нет, ага, наш братец шофер изволит ошибаться. Эти люди идут на Нардаранский пир². Они двинулись в путь ночью, чтобы успеть туда к утреннему намазу.

Мелик помнил: отсюда до Нардарана изрядное расстояние.

— Столько пути — пешком?

— Ага знает, что пешее паломничество более богугодно.

Свет фар выхватывал из тьмы это ночное шествие; Мелик обратил внимание на большие казаны, погруженные в арбы.

— Подъезжай к гостинице «Иршад», — сказал бородач шоферу.

Мелик был человеком, умудренным опытом. С первых минут он почувствовал, что этот бородатый парень подсел в такси неспроста, наверное, подослал для слежки. Но, видно, соглядатай был явно неискушенный, так скоро выдал себя; иначе он не стал бы и заикаться об отеле «Иршад».

— Как вы догадались, что мне надо именно в отель «Иршад»?

— У нас же всего один отель. — Шофер опередил ответ бородача.

Тот вновь смерил таксиста укоризненным взглядом.

— Нет, есть и другие места. Но я подумал, что столь благородному господину пристало останавливаться именно в «Иршаде». Или я ошибаюсь?

— Нет, вы правы. Мне там забронирован номер. Я забыл представиться — Мелик Мамедли, журналист, — добавил он. «Пусть считает, что я не догадываюсь, какого поля он ягода. А то ведь оконфузится. Хотя наверняка все обо мне знает».

— Очень рад, — отозвался бородатый попутчик, — познакомиться с таким интеллигентным и

¹ Доброй ночи (*фарс*).

² Пир — святилище.

именитым гостем. Меня зовут Имамгулу. Имамгулу Бехбехани.

Такси уже катило по полутемным улицам города. Лучи фар выхватили из сумрака полуобгоревшее, полуразрушенное здание. Мелик похолодел, узнав это здание: «Исмаилийе», здесь находилась Академия Наук... Торчали одни стены. Пустые глазницы окон с обуглившимися рамами напоминали скелет.

— Кто погубил это здание?

— Кыфиры учинили... во время известных смут... — ответил бородач.

— Постой, постой... Здесь же рядом было еще одно здание... Хранилище рукописей...

— К великому сожалению, и оно, и многие дома на этой улице сгорели и были порушены...

— Сгорели? И рукописи тоже?

— Увы, ага. Если горит дом, разве могут уцелеть рукописи?!

Мелик схватился за голову.

— О, Аллах... Ведь в этих письменах была вся наша память, история...

— Ага, вы, вижу, очень просвещенный человек, понимаю ваше смятение. Но что поделаешь? Такой был роковой жребий. А нынче... уже издано множество новых книг. На днях вышло собрание сочинений агаи¹ Кесреви. — Бородач, словно вспомнив о чем-то, спросил: — Кстати... вы знаете этот проект?

— Полагаю, да. Некогда Николаевская улица, позднее — Коммунистическая, а затем — «Истиг-лалият».

Имамгулу удовлетворенно ухмыльнулся:

— А теперь это улица Ахмеда Кесреви². В честь ученого мужа, выявившего наше истинное происхождение.

Такси ехало по многожды переименованной многострадальной улице, окруженной разрушенными, обгорелыми домами. Мелик вспоминал, что сюда выходил прекрасный сад, теперь на месте вековых деревьев чернел пустырь; только по уцелевшей Филармонии он узнал этот некогда заветный живописный уголок. Здание Филармонии сохранилось. Но соответствует ли теперь своему назначению?

— Что здесь находится? — спросил он.

— Пятничная мечеть, — в один голос ответили таксист с бородачом. Имамгулу добавил: — Самая большая мечеть в городе. По утрам вы сможете услышать азан с ее минаретов. И до гостиницы «Иршад» отсюда рукой подать.

Доехали до отеля. Шофер взял сумку Мелика, сошел с машины и Имамгулу:

— Агаи Мелик, позвольте услужить вам.

Когда Мелик, достав доллары, хотел расплатиться с таксистом, Имамгулу воспротивился: — Ага, он не возьмет у вас этих шайтановых денег. Не беспокойтесь. Я уже уплатил.

Администратор гостиницы седобородый сонный мужчина, протирая глаза, взял у гостя паспорт, протянул бланк с графами на арабском алфавите. Мелик принялся было заполнять, но его остановил голос Имамгулу:

— Ага, писать на алфавите нечестивых — грех.

— Надо на арабском?

— На исламском.

— Я умею читать на араб...исламском, а вот писать, жаль, не горазд...

— Вы ничуть не беспокойтесь. Я заполню.

Мелик, диктуя незваному помощнику данные о себе, чувствовал, что Имамгулу все эти сведения известны не меньше, чем ему самому.

Наконец с формальностями было покончено. Администратор протянул ему ключ.

— Двенадцатый номер.

Имамгулу проводил его на второй этаж, до дверей, зашел в номер, окинул взглядом.

— Шам хейир, — сказал он. — Милостью Аллаха вновь увидимся.

Было четверть четвертого. По-местному, четверть шестого. «Местное время, — с горечью подумал он. — Время родного города называю «местным временем». Конечно, в такую рань звонить жене негоже. — Он окинул глазами номер. — Да тут и телефона нет!»

Решил позвонить утром снизу. Лег в постель и, после всех впечатлений дня, кажущихся галлюцинацией и кошмаром, провалился в глубокий сон.

Имамгулу знал, что говорит: наутро они вновь встретились. Спускаясь на первый этаж, он увидел вчерашнего знакомого сидящим на диване, сложившего ноги под себя. При виде Мелика поднялся.

— Доброе утро! Я, знаете ли, подумал, что вы, как бы то ни было, странник. Может, помощь какая понадобится. Так что я к вашим услугам.

— Спасибо. Не мешало бы выпить чаю...

— Конечно, конечно.

Прошли в маленькую чайхану. Бородатый официант подал на стол завтрак с чаем. Имамгулу протянул газету «Сиратуль-мюстагим»³.

— Потом, — отозвался Мелик. Показав на большой портрет на первой полосе, спросил: — Это Агаи Муштехид?⁴

— Да. Наш верховный муштехид Агаи Бади-Кубейи. Здесь опубликована его проповедь. Сегодня по телеканалу «Иман» также передадут. Это действительно просвещенный человек, ученый муж. Ему нет равных и в светских, и в религиозных науках.

Мелик, слушая речь Имамгулу, обильно оснащенную арабскими и фарсидскими словами, знаковыми из классической литературы, но полузабытыми, думал про себя: «Бедный наш язык! В каком же он состоянии оказался, если сей молодой сын отечества не может сказать пару фраз на беспримесном родном языке...»

¹ Агаи (ага) — господин.

² Ахмед Кесреви — ученый-иранофил.

³ В переводе с арабского «Правый путь».

⁴ Муштехид — духовный наставник у мусульман.

Он уже ясно осознавал, что впредь, все время его пребывания в этом Бехиште Имамгулу от него не отвяжется и будет следовать за ним по пятам. От Имамгулу не скроется и его намерение свидеться с женой, может, он уже и знает, конечно же знает:

— Я должен позвонить...

— Извольте, ага, сообщить номер.

Мелик назвал четыре цифры телефонного номера жены, затем, чуть помедлив, последней заведомо назвал другую цифру. Хотел «прощупать» своего «опекуна»; знает ли он и этот номер?

— Позвоните. Хочу переговорить с Айпери-ханым.

— С кем? — заметно удивился Имамгулу.

— С Айпери-ханым. Это моя жена.

Слово «арвад» — «жена» не сразу дошло до Имамгулу, привыкшего говорить на архаичном языке, напичканном арабизмами и фарсизмами. Мелик пояснил:

— То есть «Оврет». «Зовдже», значит.

— А-а, конечно, разумеется.

Имамгулу отошел к администратору и долго о чем-то с ним толковал. Тот позвонил куда-то, потом передал трубку Имамгулу, который набрал записанный на бумажке номер. И вдруг насупил брови. «Наверно, последняя цифра сбила его с толку. Выдаст ли он себя?» — подумал Мелик.

Имамгулу устремился было к нему, но раздумал, помедлил, набрал последнюю цифру. Вопрос — какую? Названную Меликом — ложную, или истинную, которую знали они оба? В таком случае, он раскрыл бы свои карты.

Выждав паузу, начал говорить. Что именно — Мелик не слышал. Отставив трубку, жестом поманил: «Извольте, ага». Мелик подошел. «Махрух-ханым», — сказал «опекун», передавая ему трубку.

— Махрух-ханым? Кто она?

— Вы же сказали: ваша супруга.

Может быть, Мелик ошибается в своих подозрениях, Имамгулу, набрав именно записанный номер, просто из-за технической осечки попал к другому абоненту? Мелик хотел было уже повиниться, мол, последнюю цифру перепутал, но какое-то чувство побудило его взять трубку.

— Алло!

— Я слушаю вас.

Это была она, его Айпери! Годы состарили ее голос. Ведь столько воды утекло! Глухой, поблекший, печальный голос. Но ее голос. Мелик не смог бы перепутать этот голос ни с каким другим на свете.

— Здравствуй, Айпери. Это я.

— Простите, ага. Вы ошиблись номером.

— Как это «ошиблись»? Да это же я, Мелик! Только три дня тому назад я узнал, что ты жива-здорова, мне передали твой адрес, телефон. Сейчас я здесь, в отеле «Иршад». Куда мне прийти? Как нам увидиться?

В трубке — полная тишина. Мелику почудились сдавленные звуки, похожие на всхлипывание. Может, только почудились? После паузы донесся голос:

— Через час я буду в холле «Иршада». — И сразу отбой.

Мелик засекал время и подошел к Имамгулу.

— Спасибо, что помогли. Но почему вы назвали ее «Махрух»?

— Сама так представилась: Махрух-ханым.

Имамгулу не обмолвился о последней цифре, Мелик тоже держался как ни в чем не бывало. И без того все было ясно.

Он сел в вестибюле лицом ко входу и, непрерывно дымя сигаретами, стал ждать. «Опекун» примостился поодаль и делал вид, что занят чтением «Сиратуль-мюстегим», а изредка, уставясь на телеэкран, внимал проповедям канала «Иман».

— А что, здесь телевидение только проповеди передает? — поинтересовался Мелик.

— Нет, почему же. И новости сообщает, молитвы, передачи по истории религии... Транслирует из мечети намаз...

— А, скажем, представления, стихи, музыку?

— В день Ашура¹ передают «шахсей-вахсей», поют «марсия», «новхе»...

— Танцы, светские песни, мугам?

— Астахфуруллах, ага! Все это — деяния шайтана.

«И мугам?» — хотел было спросить Мелик, когда увидел входящую в вестибюль женщину, закутавшуюся в черную чадру с головы до пят. Одни глаза были видны. Когда-то лучистые, жаркие, яркие глаза — теперь они выглядели потухшими, усталыми и печальными. Но это были ее глаза!

Вскочил с места, кинулся навстречу жене, о которой столько лет не знал ничего ровным счетом. Женщина отпрянула, будто ей привиделся призрак, остановилась на расстоянии. Осекся и Мелик. Замедлив шаги, он продолжал приближаться к ней с широко распростертыми руками. Но, видя, что она вновь, съезжившись, попятилась на шаг, застыл на ходу. Рука его повисла в воздухе.

Он чувствовал, что «опекун», навострив уши, следит за каждым их жестом.

— Простите, но я не могу подать руки чужому мужчине.

— Чужому? Да это же я, Айпери, я — Мелик, твой муж!

— Меня зовут Махрух.

— ...Ну... пусть Махрух. Во всяком случае, ты моя законная жена.

— Нет, — сказала женщина, — в том-то и дело. Мы не заключили брак по шариату...

Мелик был ошарашен.

— Ну тогда как быть с нашими детьми? У нас ведь сын, дочь. Разве ты — не мать их?

Она потупилась:

— Это был мой грех. Я тысячу раз каялась, чтобы всемирносердный Аллах простил грехи мои.

Имамгулу, не выдержав, вмешался в разговор:

¹ «Аш у р а» — день поминовения убиенных имамов: далее перечисляются траурные плачи, песнопения.

— Аллах милосерден! И простит вас.
 — О каком грехе вы говорите? — обомлел Мелик. — Разве это грех — стать матерью?
 — Без заключения брака по шариату — да... Это прелюбодеяние, да простит мне Аллах.
 — Считается незаконным, — подтвердил Имамгулу.
 — Ладно... присаживайся... э-э... присаживайтесь.
 Женщина села в кресло напротив, поодаль от мужчин. Мелик не находил слов, о чем говорить. И она хранила молчание. Воцарилась тягостная тишина.
 — Скажи-ка, — нарушил молчание Мелик, — у тебя нет связей и с родными детьми? С Бурлой, с Бейреком?
 — Они мне не родные дети. Они отступники, которые на услужении у кяфиров...
 — Вот оно как, — только и выдал из себя Мелик.
 Снова воцарилось молчание.
 Махрух (теперь она действительно была Махрух, вовек неизвестной-неведомой, — не Айпери, с которой он долгие годы клал голову на общую подушку):
 — Если у господина нет ко мне больше вопросов, позвольте мне покинуть вас.
 Мелика обожгла мысль: вот сейчас, сию минуту он вновь потеряет свою жену, на этот раз навсегда.
 — Погоди, повремени... не спеши уходить... Расскажите хоть, как ты, как вы... как житье-бытье у вас?
 — Спасибо, живем — не жалуемся, милостью Аллаха и щедротами ни в чем не нуждаемся.
 — А где ты... вы работаете?
 — Преподаю в медресе. Веду уроки каллиграфии.
 — Но ведь ты... вы были художницей.
 — То была ошибка молодости. Изображать чело века возбраняется. Иншаллах, Всевышний простит мне и этот грех.
 — Значит, преподаешь каллиграфию? — бессмысленно повторил он, не зная, о чем говорить.
 — Да, ага. Учю переписывать Коран по графике «насах», «насталих», «куфи».
 — А на каком языке?
 — Конечно, на азербайджанском, — опередил ее ответом Имамгулу.
 — И на зебани-фарс¹. В школе тоже занятия ведутся на двух языках. Есть у нас и Данешгях².
 — Почему бы тебе не преподавать в унив... в данешгяхе?
 — Там преподавание ведется на фарси, — сказала Махрух.
 — Но студенты знают и свой родной язык, — поспешил вставить реплику «опекун». — Чем больше языков знаешь — тем больше пользы. Не так ли, ага?
 — Разумеется.

— Да, кстати, поздравляю с праздником Новруз, — сказал он.
 — Новруз? — смешалась она.
 — День восшествия на престол Святого Али, — вмешался в разговор Имамгулу.
 — Спасибо, — бесстрастно сказала Махрух.
 Сквозь стекла вестибюля Мелик увидел толпу паломников, вроде тех, которых они обогнали ночью.
 — На Нардаранский пир держат путь?
 — Да. А может, в Бузовны, к Али-аягы³.
 Махрух вновь попыталась окончить тягостную встречу. Мелик решил:
 — Агайи Бехбехани! — сказал он. — Эта женщина... тридцать лет была моей законной женой, как бы вы ни считали. Мы официально сочетались браком по законам тех времен. Так что позвольте нам минут пять поговорить с глазу на глаз. Может быть, у нас есть что сказать друг другу. Не возражаете?
 — Нет, разумеется.
 «Опекун» встал, отошел и сел на почтительном расстоянии, однако не спускал глаз с них.
 Поток людей, бредущих перед окном, не было конца.
 — Зачем им таскать с собой столько посуды, scarба? — спросил Мелик.
 Махрух проследила за его взглядом.
 — Ни на какой пир не идут они. На Янар-даг идут.
 — На Янар-даг?
 — Да, — отозвалась она, не глядя на него. — В домах нет ни газа, ни дров, и деревья все перерубили. Ташатся на Янар-даг, чтоб там, на природных огнях, сварганить себе еду, — быстро и тихо проговорила она и, повысив голос, произнесла уже другим тоном: — Да, ага, они направляются на святилище. Наши люди очень набожны.
 Мелик понял, что к чему. Он сидел спиной к Имамгулу, а тот не сводил взгляда с Махрух-Айпери. Наверное, научился «читать» речь по артикуляции губ.
 Махрух, повернув лицо к улице и делая вид, что наблюдает за движущейся толпой, прошептала:
 — Что бы ты ни слышал здесь — не верь. И моим словам — тоже. — И снова вошла в роль: — Мои питомцы занимаются с таким рвением, что до окончания медресе успевают по семь раз переписать Коран.
 Мелик тихо сказал:
 — Я вызволю тебя отсюда.
 — Это невозможно, — безнадежно отозвалась она, повернув лицо к нему. И, спохватившись, продолжала: — Да, да, это совершенно невозможно! Мы не можем общаться со слугами шайтана. Будь это даже собственный сын или дочь!
 Говорить было больше не о чем. Она поднялась.
 — Ага, весьма признательна вам. — И, прикрыв пол-лица платком-яшмаком, чтобы скрыть движение губ, тихо произнесла: — Я считала тебя умершим. И ты впрямь считай меня покойницей...

¹ Зебан (фарс.) — язык.

² Данешгях (фарс.) — университет.

³ Место в прибрежных скалах, где запечатлен след человеческой ступни, по поверью, оставленный святым Али.

Глаза ее налились слезами.

Имамгулу, увидев, что она встала, подошел. Наверно, от его внимания не ускользнула слезинка, скатившаяся из глаз. Он отвел взор. Быть может, в отчете, который ему предстояло написать, он не станет отмечать эту слезинку. Ведь и он когда-то был человеком.

— Оставайтесь с миром, ага. — К Имамгулу: — И вам всего доброго, ага.

Повернулась. Побрела к выходу. Мелику показалось, что плечи ее вздрагивают.

Вот она вышла из отеля, ускорила шаги, уходя все дальше и дальше. Мелик провожал ее долгим взглядом, пока она не превратилась в черную тень.

Он поднялся.

— Агаи Бехбехани, я сегодня должен уехать. Поручите подготовить мне счет.

— Что за спешка, ага? Побыли бы еще пару дней нам на радость. Поглядели бы достопримечательности...

— Что увидел — то и увидел, — сказал он и, опасаясь быть превратно истолкованным, добавил: — благодарение Аллаху.

— Пожалуйста, ага. Как вам угодно.

Он поднялся в номер; собирая вещи, не нашел кассеты... Кто мог их взять? Имамгулу все это время находился с ним. Магнитофон был на месте. Кому же понадобились кассеты? Обслуге? На что они ему? Вдруг на ум пришла странная догадка. Он предположил, что кассеты взял служитель отеля, чтобы слушать их тайком. Кто знает, может, и так.

Спустился в фойе, взял счет, оплатил долларами. Сдачу администратор вернул в туманах.

— Зачем мне они?

— Понадобятся, — сказал Имамгулу. — Мелочь, можете подать нищему.

— Разве здесь водятся нищие? — спросил он не без мстительной иронии.

— Конечно же, нет, — всполошился Имамгулу. — Понадобятся, когда вы перейдете в Зону красных. Говорят, там нищих пруд пруди.

— Разве там «ходят» ваши деньги?

Имамгулу подал впродолжение. Слово не воробей...

Мелику стало его жаль. Ведь в чем провинился этот служака, чтоб загонять его в угол.

— Ну, ладно. Оставайтесь с миром.

Имамгулу сказал с предельной учтивостью:

— Ага, я сам провожу вас.

Сперва фраза резанула слух, задела за живое. Но тут Мелик вспомнил, что в наречии, которым теперь здесь пользуются, знакомые слова обретают подчас совершенно другой смысловой оттенок, и «выпровожаю» означает просто «провожаю через границу»¹.

Выйдя из отеля, они прошагали по улицам бывшей цитадели — Ичери-шехер, которую сровняли с землей. Остались одни крепостные ворота, пред-

ставлявшие странное зрелище без зубчатых стен с бойницами.

— Везде ли снесли крепостные стены?

— Да, ага. Из этих камней возведена новая стена — между Бади-Кубе и кяфирами.

— А Девичья башня? — опасливо спросил Мелик. — Ее... тоже?..

— Башня осталась на стороне кяфиров. Говорят, там сейчас склад лесоматериалов.

Новая пограничная стена прошла чуть поодаль от крепостных ворот. Пограничный пропускной пункт представлял собой узкую дверь в стене.

По одну сторону реял зеленый флаг с полумесяцем, по другую — серпастый-молоткастый кумач.

— Да откроются перед вами пути милостью Аллаха, — напутствовал его на прощанье Имамгулу.

Пройдя границу, Мелик оглянулся. Имамгулу все еще смотрел ему вслед. Мелику показалось, что сейчас в глазах «опекуна» сквозила печаль.

II

Первое здание, представшее ему, показалось знакомым. Ну конечно же это было здание Музея имени Низами. Но оно совершенно преобразилось. Сводчатые, в восточном стиле, двери и окна были переделаны в прямоугольные и забраны решетками; исчез орнамент из глазури.

Осмотрел фасад: лоджии, когда-то украшенные цветной керамикой, превратились в квадратные обесцвеченные ниши. А главное, статуи классиков поэтов и писателей сменили скульптуры Энгельса, Ленина, Сталина... еще троих из новой компании он не смог узнать.

— А где же памятник Низами?

(Он возвышался в сквере напротив.) Оглянулся. Там вознесся монумент, вымахавший выше гянджинского мудреца. Белый мрамор. Очки — из черного лабрадора. Марат! Конечно, это он. По обе стороны монумента застыл караул. Надпись кириллицей над парадетом: «ПЛОЩАДЬ МАРАТА». На торце бывшего музея дощечка: «УЛИЦА МАРАТА ГАРАГЕЗОВА».

Учреждение, адрес которого сообщил ему Эрхан, находилось на этой улице, в этом же здании. Это был ВЕРХОВНЫЙ КОМИССАРИАТ БАКИНСКОЙ КОММУНЫ.

Здесь-то ему предстояло разыскать Бейрека. Он не успел сделать несколько шагов, как перед ним выросла девочка-подросток в отрепьях с малышом лет четырех-пяти на руках и, угадав в нем приезжего, но, не зная, на каком языке обратиться, показала пальцем на ротик чумазого малыша, мол, голоден. Мелик полез рукой себе в карман. Нашарил тумены и подал попрошайке. Девочка взяла их, уставилась и... плюнув на них, отшвырнула. Мелик смекнул: здесь эти деньги ничего не стоят. Он извлек из кармана долларовую бумажку. У нищенки глаза загорелись. Хватанула и... тут же, как из-под земли, вырос-

¹ В оригинале недоразумение построено на различной диалектной семантике глагола «рэд етмек» (выгнать, выпроводить; и — проводить).

ла и обступила его целая орава юных нищих. Значит, Имамгулу говорил правду...

Странное дело — большинство нишенок были такие же девочки в драных, рваных обносках, с соплисты карапузами на руках, видимо братишками. И все точно так же тыкали пальцем им в рот: мол, есть хотят, голодны.

Он снова полез в карман, достал две пятидолларовые, одну десятку, — деньги схватили на лету те, которым не досталось, сцепились с другими. Мелких купюр у него не осталось, нищая орава никак не хотела выпустить его из кольца. Наконец раздался свисток милиционера, и при виде блюстителя порядка всех как ветром сдуло. Отстала лишь одна хромоножка, которую достиг милиционер; он полез рукой ей за пазуху, вынул десятидолларовую бумажку, положил себе в карман и, дав пинка под зад попрошайке, прогнал ее.

Мелик вошел в парадную дверь комиссариата, увенчанную большим портретом Главного комиссара. У двери — милиционеры.

— Мне нужен Бейрек Мамедли. Он служит здесь. Милиционер указал на окошко сбоку:

— Туда.

За окошком, «проиллюстрированным» портретом Вождя в сером кителе, восседал мужчина в таком же сером кителе с красным круглым значком на груди и в темных очках.

— Я бы хотел увидеться с Бейреком Мамедли, — сказал Мелик. — Я его отец.

— Здесь такой человек нет, — отозвался очкарик на ломаном русском.

— Не может быть, — возразил Мелик. — Мамедли Бейрек. Инженер-электрик. Проверьте, пожалуйста.

Мужчина в сером кителе поднял телефонную трубку, куда-то позвонил, переговорил полупрошепотом, затем протянул анкету.

— Заполняйте. На азербайджанском и на русском.

Мелик заполнил и отдал.

— Документы!

Мелик предъявил. Мужчина в сером кителе долго изучал документы и сверял их с анкетными данными. Вернул анкету:

— Неправильно.

— Что именно?

— Дата.

Под анкетой Мелик проставил дату: 22 марта.

— Разве сегодня не двадцать второе марта?

— Не марта, а Марата.

— Марата?!

— Уже два года так называется этот месяц, а ты не знаешь?

— Нет.

Он заново заполнил анкету с учетом календарного новшества.

— Второй этаж, пятая комната. К товарищу Тельману Гараханову.

Мелик стал подниматься по лестнице, обставленной различными портретами Вождя — Марат верхом на коне, Марат за фортепиано...

Дойдя до пятой комнаты, открыл дверь, обшитую дерматином, вошел.

Секретарша в сером кителе с красным значком на груди выкатила строгие глаза.

— Вы к кому?

— К товарищу Гараханову.

Он протянул ей документы и анкету.

— Минутку. — Она исчезла за кожаной дверью.

Мелик окинул взглядом приемную. Все четыре стены были увешаны портретом Марата в сером кителе и испещрены надписями:

**ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЛАВНАЯ БАКИНСКАЯ
КОММУНА — ПРЕЕМНИЦА СЛАВНОЙ
БАКИНСКОЙ КОММУНЫ!
ПОБЕДА КОММУНИЗМА ВО ВСЕМ МИРЕ
НЕИЗБЕЖНА!**

На столике — толстый фолиант, красная брошюра, величиной с блокнот, и газета «Бакинская искра». На обложке фолианта, с портретом Вождя, вытиснено: «Славный жизненный путь товарища Марата». Такой же портрет — на брошюре. Он взял брошюру, полистал. Это был цитатник изречений Марата.

**МЕЧТЫ НАРОДА — МЕЧТЫ ПАРТИИ
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ, ИБО ПРАВДА ЗА НАМИ
БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ НЕ ОТДЕЛЬНЫМ
НАЦИЯМ, А ПРОЛЕТАРИАТУ**

Мелик взялся за газету от 22 марта. Стало быть, свежий номер. Тексты на азербайджанском и на русском. Над заголовками тот же призыв к пролетариям всех стран соединиться — и пророчество Марата о полной победе коммунизма во всем мире. На первой полосе, под изображением вождя в сером кителе и темных очках: «Верховный комиссар Марат Гарагёзов — стойкий и мудрый Коммунист, которого человечество чаяло на протяжении тысячелетий».

Секретарша вышла из недр кабинета.

— Входите.

Он переступил порог. Гараханов восседал за просторным столом. При виде Мелика поднялся. Но, удивительно, стоя он казался ниже, чем сидя. Поднявшись, он будто уменьшился. Вообще, был коротышка. Тот же серый китель, те же темные очки. Подал руку, вялую и холодную, как мясной фарш. Несмотря на то, что перед ним лежали документы и анкеты посетителя, он счел нужным осведомиться:

— Кто вы? Откуда сюда прибыли, каким образом и по какому поводу?

Услышав ответ, он многозначительно произнес:

— А-а... Турция-я-я... Понятно...

Узнав о цели приезда, товарищ Гараханов реагировал скептически:

— Я не верю в объективность буржуазной прессы. Но, в моем понимании, ваша цель — увидеться с сыном.

— Да, не скрою. По моим данным, он служит здесь. Бейрек Мамедли.

Гараханов усмехнулся:

— Вы, очевидно, имеете в виду Бориса Мамедова? Да, у нас есть сведения, что он на самом деле доводится вам сыном.

— Позвольте... но как это... «Борис»? Его зовут... Звали Бейреком...

— Он давно сменил имя. Кстати, а что означает «Бейрек»?

— Это один из героев дастана «Деде-Горгуд».

Гараханов напряг память.

— Деде-Горгуд... Горгуд Деде... А-а, вспомнил. Это, кажется, запрещенная антинародная пантюристская сказка.

Спорить было бессмысленно. Не то время и не то место.

— Могу ли я увидеть сына? — спросил Мелик.

— Конечно. — Гараханов поднял трубку. — Боря, зайди ко мне. Тут твой папа объявился. Да нет, не с того света... Из Турции... Впрочем, это одно и то же...

У Мелика часто забилося сердце. Сейчас он увидит сына. Бейрека... ставшего «Борей». Но все равно, это его сын.

Взгляд его рассеянно блуждал по кабинету, увешанному диаграммами, таблицами, возвещающими подъем индустрии, образования, просвещения, каноническими портретами Вождя, и вдруг зацепился за четвертого в традиционной череде Энгельс—Ленин—Сталин... Козлобородая персона напоминала мраморный монумент на фасаде бывшего Музея Низами.

— Кто это?

— Товарищ Шаумян, — торжественно возгласил Гараханов, — руководитель первой Бакинской коммуны.

— Но ведь это армянский... — начал было Мелик, но Гараханов резко перебил:

— При чем тут армянский — не армянский! Товарищ Шаумян — не армянин, а коммунист!

Мелик, чувствуя, что рискует очень многим, не мог сдержаться:

— Сколько азербайджанцев загубил этот коммунист-дашнавк в восемнадцатом году... в марте... то бишь в месяце марат!

Гараханов придал себе свирепый вид:

— Он карал не азербайджанцев, а мусаватистов. Заклятых врагов азербайджанского, русского, армянского пролетариата! — У него выступила аж пена у рта. Выпив стакан воды, он чуть убавил тон. — Оно конечно. Вы — из Турции, ваше сознание отравлено буржуазной пропагандой. Да и наши отечественные националисты в свое время повешали собак на Баккомму, на Шаумяна. Позор! Теперь мы восстановили историческую справедливость. Мы, коммунисты Бакинской коммуны, возглавляемой верховным комиссаром товарищем Маратом! Да, мы гордимся тем, что знамя диктатуры пролетариата в Закавказье вновь поднял бакинский рабочий класс! Баку всегда являлся... этим самым...

— Колыбелью, — машинально подсказал Мелик.

— Да, да. Колыбелью революции. Теперь, когда и в России к власти пришли коммунисты, весь мир узнал, что первыми на этот правый путь вступили мы.

— В России коммунисты пришли к власти путем демократических выборов, но сразу же разогнали Думу.

— И правильно сделали! Это сборище болтунов и горлопанов пролетариату не нужно. Скоро мы восстановим СССР, и пионером этого дела явится Бакинская Коммуна...

У Мелика защемило сердце.

— А кого изображают эти статуи перед музеем?

— Музеем?

— Извините, я забыл, что теперь... раньше здесь помещался Музей имени Низами.

— Низами? Низами... Ах да. Вы о поэте феодальной эпохи.

— И он тоже у вас под запретом?

— Нет. Почему же. Мы просто не печатаем такие книги. Пролетариату не нужны поэты феодализма. Кстати, вот, — он показал на фолиант с золотым тиснением, — вышла в свет новая биография товарища Марата. Советую прочесть. Очень ценный труд.

— А кто автор?

— Такие книги не пишутся отдельными людьми. Коллектив авторов. Группа пролетарских писателей, выражающих искренние чувства всего рабочего класса, не сочли нужным указать свои имена. — После паузы: — Да, вы спрашиваете о скульптурах перед зданием Комиссариата? Это памятники величайшим коммунистам — Энгельсу, Ленину, Сталину, Шаумяну, Кирову, Орджоникидзе...

— Немец, русские, грузин, армянин... А разве не было коммунистов-азербайджанцев?

— О, несчастный человек, оболваненный буржуазно-националистическими предрассудками! — воскликнул товарищ Гараханов. — При чем тут национальность? У коммунистов нет национальности. Их национальность... пролетариат! Вот послушайте, что говорит товарищ Марат. — Он встал, взял красный цитатник, зачитал вслух: — «будущее принадлежит не отдельным нациям, а пролетариату». — Понятно? Если уж вы обращаете внимание на национальность, то почему вы не заметили колоссальный монумент товарища Марата? Ведь он, в вашем понимании, азербайджанец.

— Да, конечно, — сказал Мелик.

«Когда же появится сын?» Он не мог отделаться от ощущения, что в этой галерее портретов, увековеченных, канонизированных лиц кого-то не хватает, вдруг вспомнил: Маркса. Конечно же, Карла Маркса.

— Почему же среди этих великих нет товарища Маркса?

— Да, это сложный вопрос. Дело в том, что мы ценим Маркса как основоположника научного коммунизма. Но... он был евреем... А наш главный враг — мировой империализм и сионизм. Если мы

воздвигнем памятник Марксу, развесим его портреты, нас могут понять превратно...

В этот момент открылась дверь, и вошел молодой человек в сером кителе с красным значком на груди и в темных очках, мельком взглянув на посетителя. Мелик уставился на него.

— Что, не узнали сына? — криво усмехнулся Гараханов. — Боря, сними очки.

Вошедший снял очки. Бейрек! Но какой у него холодный, чужой взгляд! Мелик хотел было, повинуясь безотчетному порыву, кинуться, обнять, но сдержался: может, эти коммунисты возбуждают такие проявления отцовских чувств? И потом... этот холодный взгляд. Протянул руку, Бейрек подал свою. Тут зазвонил черный телефон, Гараханов моментально снял трубку и вскочил с места.

— Слушаю, товарищ Марат. — Выпрямившись в струнку, он вновь показался ниже ростом. — Сию минуту. — Меня вызывает товарищ Марат. Боря, вы перейдите с гостем в твой кабинет.

Выходя из кабинета, Гараханов бросил на ходу:

— Просвети отца. Он заблуждается насчет исторических заслуг товарища Шаумяна. Похоже, подпал под влияние националистов и пантюркистов.

Вышли в коридор. Бейрек подозвал одного из серокительно-темноочковых значконосцев и, достав из кармана ассигнации, сказал ему:

— Вот сто рублей. Купи в буфете водку, селедку, пирожков или что найдется.

Мелик не знал, с чего начать разговор.

— Сто рублей — это сколько долларов?

— Столько же и долларов, — ответил Бейрек.

— Водку — за сто долларов? Недешево...

— Это по официальному курсу рубль сравнялся с долларом, — он ехидно усмехнулся, — а так — доллар тянет на наш столик.

— А в таком раскладе что получается? За доллар и водку тебе, и закуску...

— Да это только в нашем здании, в буфете комиссариата, а в городе все в десять раз дороже.

По коридору, увешанному и обклеенному тем же изобразительно-мобилизующим антуражем, дошли до лифта.

— Работа здесь имеет свои преимущества, — сказал Бейрек.

Вошли в кабину лифта. В кабине Мелик снова увидел портреты Вождя в сером кителе и темных очках, только без красного значка. Таковой был и у Бейрека. Он всмотрелся: на значке изображение товарища Марата.

Поднявшись в лифте, подошли к двери, обитой кожей, Бейрек отпер ее ключом, вошли. Тот же антураж, те же девизы. Но в этой комнате было множество приборов и несколько телевизоров. Среди официальных портретов и диаграмм Мелик с удивлением обратил внимание на изображение спящей девочки пяти-шести лет. «Неужели дочь Бейрека и, следовательно, моя внучка», — подумал он.

— Это кто?

— Шедевр одного художника — сказал Бейрек. — А ты прочти название картины.

Мелик надел очки и прочел: «Видит во сне товарища Марата».

Бейрек поинтересовался:

— А что ты сказал товарищу Гараханову насчет Шаумяна?

— Да ничего такого. Сказал, что он был дашнак.

— Нашел о чем говорить. И кому? У Гараханова мать — армянка.

Помолчали. Чтобы нарушить это тягостное молчание и как-то растопить лёд отчуждения, Мелик начал говорить о том, как, откуда, с какой целью приехал, но, похоже, все это совершенно не интересовало Бейрека, то бишь Бориса.

— Я встретился в той зоне с твоей матерью. Ты поддерживаешь с ней связь?..

— Нет, — равнодушно отозвался Бейрек. — Слышал, что в религию ударились, святошей стала... — Пауза. — К тому, до чего мы дошли, и моллы руку приложили.

— Молла или не молла, но она твоя мать.

На лице у Бейрека появилась ироническая ухмылка.

— Мать, отец... Пустые сантименты минувших веков... В этом мире у человека нет никого, кроме него самого.

Мелика охватил ужас.

— Да разве можно так жить?!

— Как видишь. Живу.

— А как с Бурлой? Она тоже для тебя — сантименты минувших веков?

— Никаких связей. Пошла в танцовщицы. В ВАКУ-SITI развлекает буржуев танцем живота.

— Танцем живота? — обомлел Мелик. — Кажется, я приехал сюда только затем, чтобы испытывать потрясения...

Бейрек оставил его слова без ответа. Вновь воцарилось молчание.

— А как у тебя жите-бытье, достаток?

— У меня неплохо. Как и у большинства работающих в этом здании.

— А вне этого здания? Каково им?

— Разве ты сам не видел? Нищенки тебя не облепили?

— Видел. А много ли их?

— Больше половины населения, — сказал Бейрек. И добавил с иронией: — Пролетарские дети.

— Эти ребята нигде не учатся, не работают?

— Ха, ха... Разве сыщется работа? А учиться... всего-навсего две школы. И там учатся дети работников комиссариата.

Мелик достал сигарету и закурил.

— Куришь?

— Нет. Это турецкие?

— Да.

— Дай-ка попробую.

Бейрек, сделав затяжку, сказал:

— Знаешь, с чего начинаются уроки во всех классах?

- Откуда мне знать.
- Сперва провозглашают лозунги во славу товарища Марата. Потом начинают насыпать проклятья.
- Проклятья?
- Да. Пусть, говорят, ослепнут враги товарища Марата, пролетариата, Бакинской коммуны, пусть отсохнут их руки, пусть их хватит кондрашка, сразит чума, холера, СПИД!
- Помнится, была у нас в селе старушка. Вот так же проклинала.
- И о СПИДе она знала?
- Нет. Но кляла в том же духе: пусть отсохнут руки, пусть язык отнимется, пусть нутро сгорит, пусть кровью изойдет, пусть заразится чесоткой, но нетей не будет.

Бейрек неожиданно ухватился:

- Вот это что-то новое. Впечатляюще. Надо бы взять на заметку и рекомендовать Наркомпросу.

Он вновь затянулся табачным дымом.

- Почему ты носишь темные очки? С глазами плохо, что ли? Я обратил внимание: все сплошь в темных очках. И все в серых кителях. Что за мания такая?

— Ходить в другой одежде не положено.

- Темные очки — тоже обязательно-принудительны?

— Нет. Это своего рода знак солидарности с товарищем Маратом. Выбор добровольный. Но все в этом здании решили, что так надо.

— Говорят, что товарищ Марат косоглаз, потому и носит темные очки. Но тебе-то зачем? Слава Аллаху, глаза у тебя как у джейрана... — Он нарочно сказал приятное, чтобы как-то сбить с него налет холодной невозмутимости, но Бейрек никак не реагировал. И вдруг, после паузы, выпалил с неожиданной злостью:

— Никакого косоглазия у товарища Марата нет! Он просто столько людей угробил, что никому не может смотреть в глаза!

Мелик так и обмер. Обвел взглядом приборы:

— А ты не боишься так откровенничать? Могут ведь подслушивать.

— Чего мне бояться? Что они могут сделать? Здесь я единственный специалист. Они нуждаются во мне. Все сплошь недоучки, дорвались до руководящих постов. Кто — бывший кулинар, кто — дворник, кто — амбал. Самый грамотный Гараханов, да и тот лет тридцать сапожничал.

— А Марат?

— В былые времена слыл в городе известным парикмахером.

— А какой он национальности?

— Аллах его знает. Вроде как азербайджанец. Говорит кое-как на азербайджанском, но лучше бы и не говорил.

Мелик обратил внимание, что у Бейрека с родным языком все в порядке. В отличие от Гараханова, то и дело вставлявшего в речь русские слова.

— Говорят, что у него есть и еврейская кровь, поэтому он такой ярый антисемит. Немногом остав-

шимся здесь евреям житья не дает. А вот этот фолиант видишь? — Он показал на уже знакомый том с золотым тиснением. — Это уже, чтоб не соврать, пятидесятое жизнеописание вождя. И каждый раз его биография обрастает новыми героическими фактами. Если учесть хронологию событий, можно подумать, что он прожил по меньшей мере сто лет. То пишут, что он был военным советником у Мао и Ким Ир Сена, то он, видишь ли, посвящал Фиделя Кастро в теорию коммунизма. То он поднимал негров в Африке на борьбу против колониализма... Но на самом деле он все эти годы цирюльничал в Баку.

— И никто об этом не знает-не ведает?

— Были знавшие. Всех жили со свету, стерли в порошок... Всех своих старых клиентов велел разыскать и отправил в тартарары. Если и остались слычайно уцелевшие, так они теперь делятся воспоминаниями о подпольной революционной деятельности товарища Марата. Да, некогда он стриг головы — теперь он их сносит.

— Ты бы придержал язык, Бейрек. Будь поосторожнее. Мало ли «ушей». Как бы потом тебе не пришлось расплавиваться.

— Не тревожься. Моя работа здесь, знаешь, в чем заключается? Забивать зарубежные радиостанции и телевидение. Чтоб никто ничего не видел и не слышал. А вот в этой комнате я установил такую технику, что никто никаких разговоров не может подслушивать, потому и могу говорить, что хочу. Конечно, если ты не вздумаешь настучать на меня...

— Как тебе не стыдно?! — взвился Мелик. — Такое говорить мне! Я же твой отец!

— А знаешь, сколько сынов на отцов накапали, сколько папаш на отпрысков своих настучали в ПэПэ? — горько усмехнулся Бейрек.

— Что это за ПэПэ?

— Пролетарский Патруль. Тайный сыск Коммуны.

Дверь открылась, и вошел служащий в уже известной «униформе» с бутылкой водки и парой пирожков. На бутылке красовался товарищ Марат.

— Ты не голоден? — Это была первая за всю встречу человеческая фраза, сказанная сыном отцу.

— Нет. — Мелик наконец решился. — Почему ты разговариваешь так... холодно, Бейрек? Сколько лет ведь не виделись. Я так тосковал по семье, так рвался увидеться... Знал бы, каких трудов мне стоило добраться сюда...

— Ну, добрался, увидел и — пришел в восторг?

— Не говори со мной таким тоном. Чем я провинился перед вами? Чем?

Бейрек, не ответив, достал из шкафа рюмку, стакан, откупорил бутылку, налил отцу в рюмку, а себе наполнил стакан всклень. И... ни слова не говоря, осушил залпом. Даже не закусил, только тыльную сторону ладони понюхал. Мелику случалось видеть такое в далеких северных краях, так порой пили русские. Наконец Бейрек-Борис нарушил молчание.

— Спрашиваешь: в чем провинился? А где ты был все эти годы? Что ты знал о тех, кого называешь

семьей? Отвалил в Турцию, жил себе преспокойненько, а теперь объявился, семью проведать решил... взываешь к чувствам, мол, отец, мол, мать, прочее. Это ли, по-твоему, отцовство?

— Ты несправедлив, Бейрек. Ты сам знаешь, все пути-дороги закрыты, всякое сообщение прервано. Как я мог связаться с вами, если даже не мог узнать, живы ли вы?

— А когда умотал в Турцию, бросив нас на произвол судьбы?

— Опять ты передергиваешь. Я не бросал вас. Я уехал в командировку на десять дней.

— И на сколько лет затянулась твоя командировка?

— Где было знать, что разразятся такие события! Где было знать!

— Нет уж, извини. Эти события начались еще при твоей бытности здесь. Ты был известным на всю страну журналистом. И что — не видел, по какому руслу идут события? Не читал газет, не смотрел телевидение, не слушал радио? Тебе было невдомек, что все эти источающие злобу, ненависть, ксенофобию писания и речи, все эти алчущие крови златоусты создают в обществе такой разрушительный потенциал, который сулит неизбежный взрыв, и все перевернется вверх дном? И взрыв произошел...

— Спусти неделю-две после моего отъезда, — уточнил Мелик.

— Но ты мог предотвратить его, находясь здесь.

— Как же я мог?

— Ты был на виду, к тебе прислушивались как к авторитетному интеллигенту. Ты мог бы призвать людей одуматься, остудить страсти, сказать: братья мои, сограждане мои, раздразнителен ведет к трагедии, не ополчайтесь друг против друга, не доводите дело до братоубийства...

— Наверно, ты забыл, Бейрек. Я зывал, вразумлял, заклинал, не раз, не два, — не вняли. Мы писали — не стали читать. Говорили — нас не услышали. Злоба ослепила людей. От криков и воплей глохли. Никого не слышали и слышать не хотели, кроме самих себя.

— Эх... — Бейрек осушил еще один стакан, закусив пирожком. — Ты знаешь, что творилось после твоего отъезда?

— Знаю. Столкновения в Баку, в районах, кровь, гражданская война... Подрыв нефтепровода Баку—Джейхан... Там писали: это дело рук АСАЛА или КРП¹.

— АСАЛА или КРП, какая разница. Три дня спустя грянул взрыв на Армянской АЭС... Теперь и территория Армении, и Карабах превратились в мертвую зону... по крайней мере лет на сто... — Бейрек горько рассмеялся. — Так-то развязали карабахский узел.

— И этот теракт приписали Турции, — сказал Мелик. — Армянская диаспора подняла вой на весь мир: дескать, в двадцатом веке был первый геноцид,

и вот вам второй. Турцию отстранили от всех международных организаций, стиснули экономической блокадой, прервали сообщение. Между тем никто до сих пор не смог доказать ее причастность к этому теракту.

— И не смогут доказать, — сказал Бейрек. — Но какое это имеет значение? Миром правит ложь! Ложь и сила! Кто сильнее — тот и прав, — не слышал?

Мелик обратил внимание: хотя Бейрек и выпил изрядно, а не терял нить логики, и речь у него оставалась вполне внятной. Будто и не выпил. Разве что глаза чуть отуманились.

— А потом грянул Мингечаур...

Он с трудом произнес это слово, то ли сказывалось выпитое, то ли потому, что название города на Куре отныне для всех азербайджанцев стало знаком самой тяжелой трагедии, самой великой боли.

— Кто подорвал мингечаурскую плотину? Доморощенные геростраты, сепаратисты, внешние враги? Или ракеты, сбившиеся с пути из-за компьютерной ошибки? Вот тайна, которая никогда не раскроется.

Мелик знал, что и взрыв на Армянской АЭС, и разрушение мингечаурской плотины, — величайшие трагедии, глобальные экологические и гуманитарные катастрофы не только двадцать первого века, а быть может, всех времен. Все равнинные районы Азербайджана оказались затопленными водой. Часть населения сбежала в горы.

— Как теперь с теми, кто успел спастись и перебраться в горы? — спросил Мелик.

— Хуже некуда. Полный беспредел. В каждом углу — свой атаман, свой башибузук, свой удельный князь, кого хочет — затопчет в грязь... Первобытно-общинный бардак...

— Ведь именно в ту пору Баку раскрыли на три части?

— Да. ООН приняла резолюцию. «Дабы пресечь анархию», сколотили три государства, раздали трем зарубежным странам по мандату. Ведь тут нефть. Разве упустят супердержавы такой лакомый кусок. Теперь вот в этих трех зонах якобы созданы три суверенных государства. Какой тут суверенитет — можешь представить себе. Товарищ Марат, даже когда по нужде сходить, испрашивает разрешения у зарубежных патронов.

Мелик чувствовал, сколько накипело, наболело на сердце у сына. Но что он мог поделать, что было в его силах перед великой бедой, которой подверглись и его дети, и он сам, и его народ?

— Сын мой, — сказал он. — Ты бы хоть попытался вырваться отсюда.

— Это невозможно. — Бейрек точь-в-точь повторил слова своей матери, сам того не ведая. — Отсюда и птице не вылететь. Ты не видел, какую стену возвели? В прошлом году один бедолага пытался взобраться, перемахнуть... пристрелили тут же. Никто даже имени его не узнал. Это не город, а концлагерь, окруженный стеной. Отсюда один путь — на

¹ АСАЛА — армянская террористическая организация, КРП — курдская рабочая партия.

кладбище, на тот свет... Вот такие дела, отец... — Он впервые произнес это слово: «отец».

И вдруг машинальным движением выхватил так и не тронутую Меликом рюмку, опрокинул, выпил.

— Пока не поздно, — уезжай. Ты счастливее, что у тебя пока есть такая возможность. Другого счастья и не ищи. А мы тут как-нибудь доживем свой век, поглядим, когда карга с косою смилуется над нами, заберет...

— Бейрек... слышать от тебя такое для меня пуше смерти.

— Громкие слова.

— Нет, это не громкие слова! Надо что-то предпринять. Действовать. Неужели не осталось здесь людей, желающих покончить с этим маразмом? Неужели все здесь смирились, опустили руки, отчаялись?

— Нет... почему же... Есть и те, кто не терял надежды.

— Где же они?

— На дне морском. А кому повезло — на острове Наргин.

— На Наргине?

— Да. Остров включили в состав территории Бакинской коммуны. Теперь там соорудили мощный концлагерь. Не будь у меня этой специальности, не будь у них нужды во мне, — кормил бы сейчас рыбок или, в лучшем случае, сидел бы в лагере. Почему бы и не сидеть? Отец — в Турции, мать и сестра — во враждебной зоне... Впрочем, не столь уж большая разница. Там концлагерь окружен морем, здесь — стеной.

Мелик закрыл лицо ладонями. Бейрек почти сочувственно произнес:

— Не бери в голову, отец. Что наши семейные невзгоды — перед великими бедствиями... сам я довольствуюсь тем, что имею. Обеспечен. Смотрю тайком зарубежные телеканалы. Смог сохранить кое-какие книги. Иногда перечитываю Джалила Мамедкулизаде, Сабира. Чаше Достоевского. Особенно «Бесы». Он, дьявол, как в воду глядел, словно все предвидел. Конечно, я не жирую, как Марат, даже пусть как Гараханов, но все же...

— То есть они богачи? Что же тогда коммунисты разглагольствуют о равенстве, пролетарские вожди...

— Равенство, братство! — Бейрек расхохотался. Это был полупьяный хохот. — Да кто верит в эти слова? У Гараханова виллы во Франции, у Марата — на всех континентах. Куда до него всяким ротшильдам и шейхам.

— Скажи-ка мне, — Мелик вспомнил один из фотопортретов вождя, — Марат играет на фортепиано?

Бейрек протер осоловелые глаза.

— Это еще что за новости?

— Я видел портрет у лестницы...

— А-а... — Бейрек расхохотался. — Ну, взбрело в голову, вот и снялся. А так, он и «Чижик-пыжик» не сможет сыграть. Ты видел и другой снимок, — на коне?

— Да.

— Так вот, он отроду не ездил не то что на лошади, даже на ишаке. И статую его ты лицезрел?

— Видел.

— Какая махина, а? Исполин! А на самом деле он на голову ниже коротышки Гараханова.

Зазвонил телефон. Бейрек взял трубку.

— Да, хорошо. Я — сейчас, — повернулся к Мелику. — Извини, Гараханов вызывает. Пойдем вместе, он завизирует твой пропуск. А то не выпустят.

Мелик с удивлением увидел на столе Гараханова маленькую тарелку с семенем.

Гараханов при виде их встал и снова показался уменьшившимся.

— Вот, полюбуйся, — показал на семенем. — Меня вызывал товарищ Марат. Оказывается, сегодня какой-то байрам. «Новруз», что ли. Так вот, ПЭПЭ сообщил, что на базаре некто продавал вот эту зелень, «сэмэни», что ли. Гараханов откусил кусок семенем, немного пожевал и выплюнул. — Фу, какая гадость, и такое можно есть? Зарубежное радио оповестило о времени наступления весеннего равноденствия — смены года, и это сообщение было услышано в нашей зоне. Товарищ Марат рассержен, куда, говорит, смотрит Борис? Немедленно, говорит, примите меры, позор! Причем в канун дня рождения товарища Марата — вождя мирового пролетариата! Так что, Борис, разберись! — Он повернулся к Мелику: — Дайте вашу бумажку. — Взял, подписал и снова обратился к Борису: — Ну как, просветил его насчет Шаумяна?

— Разумеется, — ответил Борис. — Он дал слово перевести труды товарища Шаумяна на турецкий и издать там.

— Это хорошо, — расплылся в улыбке Гараханов. — Что с того, что Турция — враждебное государство. Мы и там должны разбудить пролетариат, вовлечь в мировое коммунистическое движение. Пусть будут готовы к борьбе до полной победы. — К Мелику: — Папаша, вы там не забывайте, самые большие враги наши — империализм и пантюркизм.

— А сионизм? — не удержался Мелик.

— И сионизм.

— А панисламизм, буддизм, протестантизм, парламентаризм?

— Конечно, конечно...

На Мелика нашло какое-то дурашливое озорство, и он сыпал «измами», памятными с советских времен:

— А сюрреализм, импрессионизм, модернизм?..

Физиономия Гараханова выражала напряженные мыслительные потуги; эти слова он, быть может, слышал впервые, не понимал их смысла и терялся в догадках, — представляют ли они опасность для пролетариата?

— Фрейдиизм, филателизм, феминизм, фетишизм?... — продолжал Мелик.

Гараханов наконец облегченно вздохнул, приняв «фетишизм» за «фашизм».

— Конечно, и фашизм — наш непримиримый враг. — И перевел взгляд на Бейрека: — Я вижу, ты

основательно поработал с папашей. Ну, хорошо. Не буду вас задерживать. До свидания.

Бейрек проводил отца до дверей.

— Иди вот по этой улице Гарагезова, с площади сверни на улицу Верховного комиссара. Там — погранпункт и переход в Третью зону.

— Сынок, — сказал Мелик, — не пей много.

— Ладно, — устало ответил Бейрек.

Мелик не знал, что еще сказать. Перехватил взгляд сына, покосившегося на часы.

— Сними-ка на секунду очки. Хочу увидеть твои глаза. Может, видимся в последний раз...

— Боже, какие сантименты, — поморщился сын, но очки все-таки снял. — Пустой, отсутствующий, ничего не выражающий взгляд. Подал руку: — Прощай. — И вдруг спросил: — Как живут люди в Турции?

— Как люди, — ответил Мелик.

III

Пройдя через узкую дверь в стене, Мелик очутился в другой зоне и сразу спросил, откуда можно позвонить. Показали телефон-автомат. Купил жетон, вошел в будку и набрал номер Бурлы. Погодя донеслось бодрое, даже кокетливое: «Хелло!» Это была она, Бурла. Но голос звучал как-то иначе, заученно, что ли. Дальше последовала английская фраза. «Автоответчик», — догадался Мелик. Он немножко знал английский. «Меня нет дома, — говорил голос. — После сигнала оставьте мессаж».

— Здравствуйте, Бурла-хатун! — Он только в детстве окликал дочь так, полным именем. — Это я, Мелик, твой отец. Я нахожусь здесь... Хочу увидеться с тобой... Погодя позвоню еще...

Хотел было повесить трубку, как донесся голос Бурлы — уже не машинальный, а живой и — дрогнувший:

— Отец...

— Доченька... Бурла...

— Отец... Боже мой, ты жив!.. Как ты добрался сюда?

— Это долгий разговор. Расскажу при встрече. Мы можем увидеться?

— Конечно! Где ты находишься?

— У погранпункта. Я прибыл из Коммуны.

— Там два пункта. Ты возле которого? На какой улице?

Он прочел название улицы сквозь застекленную дверцу.

— На 42-й Параллельной. Из будки телефона-автомата говорю.

— Тогда не отходи никуда. Я пошлю за тобой машину. Черный «Мерседес». Шофера зовут Фил.

— Жду.

Через десять минут к будке подкатил черный «Мерседес». Из нее тут же вышел водитель в темно-синем костюме с фуражкой с околышем, с черным бантом на воротнике. Сняв белую перчатку, подал руку Мелику и учтиво открыл заднюю дверцу:

— Плиз!

Салон «Мерседеса» благоухал кондиционированным воздухом. Радио передавало новости на английском. Ехали широким проспектом, блиставшим витринами шикарных магазинов и пестревшим рекламами.

Машина затормозила на перекрестке у светофора. Откуда ни возьмись, подбежал мальчуган с щеткой и давай драить ветровое стекло. Ребята из его компании занялись другими машинами. Шофер, приспустив стекло, дал мальчику несколько центов. Тот сразу ринулся к другой подкатившей машине.

Зажегся зеленый свет. «Мерседес» устремился к нагорной части города и выехал в опрятный двор, обнесенный фигурной оградой. Садовник в желтом комбинезоне поливал газон из шланга. Этот уголок Мелику показался знакомым, но разительно преобразившим.

Подъехали к трехэтажному особняку. Водитель, быстро выйдя из машины, открыл заднюю дверцу.

— Плиз, — сказал Фил и направил гостя к дверям подъезда. Тут же перед Меликом вырос молодой человек атлетического телосложения и собрался было обшарить его, но Фил остановил его:

— Это отец мисс Бурла.

Атлет отстал.

— Сори, — сказал Фил, водитель мисс Бурла. По акценту Мелик догадался: — Вы азербайджанец?

— Ов коуз. Elbatta. Adim Fizuli¹.

Вошли в кабину, тоже источавшую аромат. Фил-Физули нажал на кнопку второго этажа. Поднялись.

Дверь из дубовой древесины. Фил позвонил. И... вот она, Бурла, его крошечка Бурла-хатун! Теперь она выглядела настоящей ханым, очаровательно прекрасной. Кинулась к нему.

— Ата! Ата-джан!² Если б ты знал, как я рада тебя видеть!

— Я — еще больше... — У него перехватило горло.

— Снимай пальто. Дай-ка сама повешу. — Что-то сказала Филу по-английски. Тот, откозыряв, ушел.

— Почему он разговаривает на английском? — поинтересовался Мелик.

— Окончил английскую школу.

— А по-азербайджански не умеет?

— Умеет. Как же.

— Тогда скажи ему, пусть говорит со мной на нашем языке.

— Непременно скажу.

Снимая пальто в прихожей, он обратил внимание на большую афишу и обомлел, увидев на ней фотографию полуобнаженной дочери.

— Это ты? — вырвалось у него.

— Нет, — рассмеялась она. — Одна моя знакомая. Об этом — после поговорим. Проходи.

Едва войдя в комнату, Мелик увидел сквозь стекло на всю стену панораму моря с песчаным пляжем,

¹ Меня зовут Физули (азерб.).

² Ата — отец.

но, всмотревшись, понял, что это огромное застеленное фото, выполненное столь искусно, что возникает полная иллюзия реальности. На стене справа возвышалась гряда заснеженных гор. Слева — густой лес с вековыми деревьями, под их зеленым шатром просека. Мелик обернулся — и перед ним запенилась, заклокотала горная река, низвергавшаяся с уступа роскошным водопадом. Когда Бурла закрыла дверь, водопад удлинил свой искрящийся шлейф.

— А... окон в этой комнате нет вовсе?

— А зачем мне окна? — с досадой отозвалась дочь. — Чтоб глазеть на этот поганый город?

Она подошла к бару в углу комнаты.

— Что будешь пить: виски, бренди, джин с тоником, текилу, водку, коньяк?

— Погоди, погоди, не дави. Обойдусь чаем.

Она взяла трубку внутреннего телефона.

— Лера, tee! — Окатила ласковой улыбкой: — Я забыла, ты же истый мусульманский мужчина. Тебе бы только чай гонять. Как этот... Мешади... Был такой мюзикл...

— Был, — невесело усмехнулся Мелик.

— Дай-ка я хорошенько рассмотрю тебя. Да. Чуть постарел.

— Не чуть, а очень. Особенно — за последние два дня.

— А что произошло за эти два дня?

Он рассказал о своих «зональных» впечатлениях, о последних годах вдали от родины.

— Бедная мамочка! — вздохнула Бурла. — Разве можно так жить?

— Ты не пыталась связаться с ней?

— Как? Все дороги закрыты. Ни позвонить, ни написать.

— А с Бейреком?

— Узнала по интернету его имейл, послала мессаж, сообщила о себе. Ни ответа, ни привета. Потом закрутилась, честно говоря, недосуг было. К тому же, как видно, он не хочет переписываться со мной. Тамошний режим ты сам увидел... Может, опасается.

Она перехватила его взгляд.

— Что оглядываешься?

— Темновато у тебя.

— Я люблю такое освещение.

— Мне все же кажется, что окно бы не помешало...

— Да на кой черт тебе! Хочешь полюбоваться на пейзаж? Изволь, гляди, сколько хочешь. Эти не нравятся, подбери другой... — Она взяла пульт дистанционного управления, и с нажатием кнопки все четыре стены преобразились. — Песчаная пустыня, обледеневшее озеро, причудливые скалы, дорога, простершаяся до горизонта... — А если тебе нужен свет — пожалуйста. — Нажатием кнопки — и со светильников на потолке хлынул яркий солнечный свет. — Мелик не мог скрыть изумления. Дочь забавляло его замешательство. — Ну, что еще? Воздух? Какой тебе воздух по душе — морской, горный, лесной, степной? — Переключение пульта меняло микро-

климат — дохнуло свежестью горного приволья; повеяло терпким йодистым дыханием моря; ядреным, бодрящим морозом; запахом прелой листвы, умытой дождем...

— Какие еще чудеса водятся в твоей магической комнате?

— Только здесь я могу отдыхать, — отозвалась она. — А чудес еще много. — Нажала на кнопку. Послышались птичьи голоса, гул моря, шелест листвы, соловьиная трель...

— Действительно, чудо. Такого я еще не видывал.

— Это еще не все. — Взяла другой пульт. Комнату наполнило благоухание, запах розы сменил аромат горной фиалки, затем — цветущего пшата, свежескошенной травы...

— Каким образом ты сотворила это все? — Он не хотел спрашивать: «во сколько это тебе обошлось?»

— Это мой мир. Мир, в который ухожу, отрешаясь от всего света.

— Но мир иллюзорный...

— Иллюзорный? В тысячу раз лучше настоящего. Можешь ощущать желаемое, когда тебе угодно. Хочешь — день сменяется ночью, хочешь — наоборот. Вот, смотри. — Нажала на кнопку, и комната погрузилась во мрак. — Подними голову, взгляни на потолок.

Потолок замерцал звездным небом. Млечный Путь... Созвездия... Голос Бурлы, казалось, донесся из космической бездны:

— Смотри, сейчас взойдет луна, и звезды погаснут.

Откуда-то из-за стены выкатилась луна и поплыла к потолку.

— Ладно... — сказал Мелик. — Достаточно... выведи нас в дневной мир.

Комната вновь озарилась солнечным светом.

Постучали в дверь.

— Yes! — сказала Бурла.

Вошла горничная в белом фартуке. Учтиво поздоровалась с гостем, поставила перед ним поднос с чаем и конфетами и неслышно исчезла.

— Как же так получилось, что вас раскидало по разным зонам?

Она вздохнула.

— Ох... Чтоб эти дни ушли навсегда и не повторились... Я была дома... ты обратил внимание: это же наш старый дом! Да, да, ты не удивляйся. Я построила этот особняк на месте нашей ветхой хибары.

— Все три этажа — твой?

— Разумеется.

«Но... на какие средства?» — хотел было спросить Мелик, но испугался ответа и сказал:

— Значит, ты была в тот день дома?

— Да. Грипповала слегка. Мама и Бейрек были на работе. В разных концах города. Началась стрельба... За считанные часы на улицах везде выросли баррикады. Ни проехать, ни пройти, потом... этот ужас, разрушения, пожары... На первых порах мы хоть могли переговариваться по телефону, через пару дней и телефонная связь прервалась. А потом город

разделили на три зоны. Сперва повесили колючую проволоку, а после возвели эти чудовищные стены.

— Могилы бабушки, деда, кажется, оказались в этой зоне.

— Да? А где именно?

— Неужели ты забыла? Сколько раз я с тобой навещал... В нагорной части...

— Ах да, вспомнила. Сейчас там луна-парк.

— Луна-парк?!

— Ну да. Могилы, знаешь, все равно сровнялись с землей, надгробья, плиты разрушились. Так что вот... И на других кладбищах сейчас сооружены площадки для регби, бейсбола, гольфа...

— А где же хоронят умерших?

— Не хоронят, сжигают в крематории. Ладно, хватит говорить о покойниках. — Встала, порывисто обняла отца, обвила руками шею, погладила голову. — Ведь мы и тебя считали в покойниках, а ты, вот, живой. Целехонький, выбрался. Добрался... Словно солнышко взошло в жизни моей... настоящее солнышко, нет, уже не такое, — показала на потолочное светило, и, заметив, что он допил чай, предложила: — Еще стаканчик?

— Не откажусь.

— Сейчас скажу Лере, — потянулась к трубке, раздумала. — Нет, я сама подам тебе чай. Хочу поухаживать за тобой.

Вышла. Мелик заметил на столе журнал в броской обложке — «Монитор». Взял, полистал и... вновь ему предстала Бурла в пикантных позах, в полураздетом виде. Да, это была она.

Вошедшая дочь застала отца разглядывающим журнал с нахмуренным лицом.

— Пропади пропадом эти борзописцы! Врут напропалую! Пишут, что у меня восемь кошек, четыре собаки. А у меня всего три киски и один терьер.

— Да при чем тут кошки, собаки?! Что это за снимки? Не стыдно тебе?

— Я знала, что тебе это не понравится. Ты же старый мусульманский мужчина. Но танец живота больше всех любят лицезреть эти самые мусульманские мужчины. Да, я танцовщица. Ты не знал?

— То, что танцовщица, — дело твое. Но что значат эти снимки неглиже?

— По-твоему, танцевать нужно в шубе? Странные вы люди. На пляж, что ли, не ходили, не видели девушек в бикини? Выходит, вживую ходить обнаженной можно, а сниматься — ни-ни? Если прекрасное женское тело доставляет людям удовольствие, — почему его нужно скрывать? Ты что, не бывал в музеях? Не видел Венеру, Маху, Олимпию?

— Я-то не думал, что дочь моя станет Венерой. Лучше бы я не дожил до этого дня...

— Брось, ради Аллаха. Стоит ли делать из этого трагедию, после того, что мы пережили. Вы думаете, если женщина танцует обнаженной, значит, она проститутка. Но знай, все, что я нажила, — она жестом обвела комнату, — заработала на сцене, а не в постели! Я здесь первая шоу-звезда.

— Не могла выбрать другую профессию?

— Какую? Учительствовать и подыхать с голоду?

У меня нет ни мужа, ни богатого любовника, чтоб содержал меня. Все заработала трудом своих рук. Ну, пусть пупком даже. Да, я исполняю танец живота. Причем лучше всех.

— И имя, кажется, переименовала: «Бура».

— Менеджер мой счел, что так звучнее.

Встала. Подошла. Обвила руками ему шею.

— Ата, ата-джан. Ну, не сердись на меня. Я тебе сообщу приятную новость. Ты обрадуешься: я меняю профессию.

— Да ну? Кем же ты станешь? Не стриптизершей ли?

— Нет уж. Мэром!

— Кем, кем?

— Мэром. Мэром ВАКУ-SITI.

— Какой ж из тебя, прости, мэр?

— Почему бы и нет? Чем я хуже других? Этих политических пустозвонов?.. Через три месяца — выборы. Мы живем в демократическом обществе, так? Десять человек выдвинули свои кандидатуры. Я популярнее их всех. У нас, знаешь, мастера поп-искусства пользуются самым большим уважением в обществе. На концертах — аншлаги, билетов не достать. Радио, телевидение с утра до вечера говорят обо мне... Пресса пишет... Народ, словом, любит меня. Будь уверен на сто процентов — отдадут голоса за меня.

— Ну, ладно, допустим. Но зачем тебе идти в мэры?

— Мне двадцать пять лет. Положим, я протанцую еще два-три года. А потом? Как я буду жить? Я привыкла к такому образу жизни. Как я смогу обеспечивать себя так, чтобы ни в чем себе не отказывать? Замуж выходить не собираюсь. И жить за чей-то счет не хочу. Судила-рядила и решила, что самый верный способ — идти в мэры. — Рассмеялась, показывая на свою голову: — У твоей дочери котелок варит.

Позвонили в дверь. Погодя в комнату вошел живописный детина.

— Good day, my darling!¹ — сказал он. Они обнялись и смачно облобызались.

Его узкие брюки из черного атласа больше напоминали бриджи. Шелковая белая рубашка с кружевами. Длинные, свисавшие ниже плеч патлы были перехвачены красным бантом, в ухе — серьга.

Бурла представила ему Мелика.

— Знакомься, Джан, мой папа.

— У тебя есть, оказывается, папа? — сказал Джан жеманно, затем с кокетливой галантностью подошел к Мелику, наклонился, поцеловал ему руку. Мелик при ближайшем рассмотрении обратил внимание, что лицо у Мелика напудрено, а глаза подведены сурьмой.

Напудренный детина выпрямился и представился:

— Джан-Джан Джан.

Мелик не понял.

¹ Добрый день, моя дорогая! (англ.)

— Это его эстрадное имя. Джан у нас популярнейшая поп-звезда. Конечно, после меня.

Мелик заметил след губной помады на своей целованной руке.

— Вы тоже... вертите животом? — спросил он. Поп-звезда прикрыл ладонью рот, как платком, и долго смеялся.

— Джан — Бог брик-брака, — сказала Бурла. — Он и слова сочиняет, и музыку, и сам же исполняет. Вечером у нас совместный концерт, придешь, послушаешь.

— Darling, only five minute¹. — Джан отвел Бурлу в сторону и о чем-то пошептался с ней. И вновь они сплелись друг с другом

Мелик отвернулся.

— Goodbay, baby, — Джан направился к дверям и помахал рукой Мелику: — Bay-bay, ата-джан.

Мелик почувствовал облегчение — обошлось без напомаженного поцелуя. Джан покинул комнату вихляющей походкой.

— Это твой... любовник? — спросил Мелик. Бурла своим вольным поведением вынуждала его к такой откровенности.

— Кто? Джах-Джах?

— Не знаю уж, как его, Джах-Джах или Бах-бах.

Бурла расхохоталась

— Да какой же из него любовник? Он же... ха-ха... настоящий гей.

— Что-что?

— Гей — не слышал? Ну, «голубой». Как тебе объяснить... Ну, не интересуется женщинами... Предпочитает мужчин...

— Понятно.

— Он просто коллега по искусству. Приятель.

— Странные у тебя приятели.

— Да он отличный парень... э... человек. Настоящий друг. Написал брик-брак для моей предвыборной кампании.

— А что такое этот брик-брак?

— Неужели не знаешь? Это же популярнейший ритм в нынешней мировой поп-музыке. У нас пионером этого жанра стал Джан. Он король брик-брака. Молодежь от него без ума.

— Что ж он не хочет сделаться мэром?

Она пожала плечами:

— Не знаю. Может, в душе он и не прочь, но он обещал, что на этих выборах будет поддерживать меня. — Вдруг ее осенило: — Отец, а может, и ты останешься и примешь участие в моей кампании? Знаешь, какой будет эффект: танцовщица и ее солидный папа.

— Только этого не хватало.

— То есть ты считаешь, что я ни капельки не подхожу? — Она надула губки. Мелик промолчал. — Потом останешься здесь... будешь моим советником.

Мелик снова отмолчался.

— Извини меня, отец. Я должна ехать на репетицию, Лера тебя накормит. Через час спускайся вниз.

Фил привезет тебя на концерт. Ты сам убедишься, что ничего страшного. После концерта коктейль, а потом мы с тобой наговоримся. Хоть до утра.

Она вышла из комнаты. Мелик оказался в тупиковом положении. Не знал, как быть, как вести себя дальше. Она вернулась — в дорогой меховой шубе. Подошла, положила голову ему на плечо, — как в детстве. Он почувствовал на щеке мягкий ворс шубы. Его обдал пряный тонкий аромат духов.

— Ата-джан, — прошептала она. — Оставайся здесь. Если бы ты знал, как я одинока. — Вдруг отстранилась и вышла стремглаз из комнаты.

Через час он спустился вниз, Фил подбежал и открыл дверцу «Мерседеса».

— Куда едем?

— На концерт.

— А где он проводится?

— В кабаре «Шах-сарай».

— Это что за здание?

— Дворец каких-то шахов.

— Теперь — кабаре?

— Yes... sorry... извините... Мисс Бура велела мне общаться с вами на нашем языке. Ай эм... Я... пэтри-от. Свой «нейшн» люблю.

Они ехали по знакомому Мелику проспекту.

— Как эта улица называется?

— 42 параллель-авеню.

— Почему 42-я?

— И Нью-Йорк, и Баку находятся на 42-й параллели.

— Вот оно как.

«Мерседес» остановился у нижних ворот древнего дворца Ширваншахов — ворот Мурада.

От дворца остались одни стены. Весь облик преобразился до неузнаваемости. Повсюду световые рекламы, афиши...

На сцене переливались желтые, зеленые, красные неоновые буквы:

ШАХ-САРАЙ КАБАРЕ

ЭРОТИК ШОУ: ДЕКАМЕРОН — КАМАСУТРА — ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ EST-VEST SEX SINTEZ
РЕТРО: ТАНЕЦ ЖИВОТА — КАНКАН — СТРИПТИЗ

Эта реклама погасла, засветились, поплыли, более увесистыми буквами, имена:

КОРОЛЬ БРИК-БРАКА ДЖАХ-ДЖАХ ДЖАН
SUPERSTAR BURA

Фил провел Мелика внутрь. Древние стены были сплошь облеплены рекламами напитков, алкогольных и без, стиральных порошков, памперсов, туалетной бумаги...

Эстрадная площадка — аккурат посередине зала и обставлена с обеих сторон столами. За ближайшими сидели пожилые господа, иные — с молодыми пассиями, задние столы облепила молодежь, кто при-

¹ Дорогая, только на пять минут (англ.).

мостился прямо на столе, кто под столом, а кто разлегся, — парни с длинными волосами, девушки с короткой стрижкой, не разберешь, кто есть кто.

Иные из девушек, устроившись на коленях у своих парней, слились с ними в страстных объятиях и лобызались. Но, опять же вопрос, кто у кого на коленях сидел, он или она. А может статься, что парочки были однополые. Дружно работающие челюсти, жующие жвачку.

Мелик уже ничему не удивлялся.

Прочел надписи на телекамерах, установленных в зале: FIST TV, FASE TV, WORLD TV, GRAND TV.

Между столами порхали девицы в бикини, разнося напитки, гамбургеры, сэндвичи; пожилые мужчины без пассий успевали погладить порхающих девиц по соблазнительным формам и всунуть долларовые купюры за бюстгалтеры, а те кокетливо благодарили.

Фил усадил Мелика за стол и отклонялся. Чуть погода подошло некое странное существо с зелеными, торчащими, как у дикобраза, волосами и двухцветным — голубым и розовым лицом. Существо безо всяких приветов село за стол и, достав сигарету, закурило. Мелик уловил запах, напоминающий опиум. Существо, смерив его отуманенным взглядом, протянуло пачку сигарет. Мелик замотал головой. «Дикобраз» пожал плечами.

Свет погас. Воцарился полный мрак. Под оглушительную музыку, грянувшую из четырех динамиков, луч света выхватил середину сцены, на которую выскочил обнаженный по пояс эротически статированный удалец и запрыгал, завертелся, выписывая кренделя. «Дикобраз» вдруг обрел дар речи, указав перстом на плясуна:

— Наркоман.

«Кривой кривому не попеняет — лопнет», — подумал Мелик.

«Дикобраз» продолжал затягиваться.

— Анаша? — спросил Мелик.

— Марихуана.

Прыгун на сцене наконец поубавил прыть и поднес к губам микрофон.

— Ай эм диск-жокей Симург Сид. Гуд ивнинг, леди энд гамилтон.

В зале загоготали, захоптели, завывли. «Дикобраз» вскочил на стол, растоптал тарелки и, сунув два пальца в рот, засвистел.

Официантка припорхнула, убрала осколки разбитых тарелок и подала новые. При этом наклонилась перед носом у Мелика так, что стали видны ее округлые сиски. Мелик догадался: следует запихнуть туда баксы, но не стал этого делать. Раскрашенный сосед выхватил со стола новые тарелки и яростно швырнул их оземь; тарелки разбились вдребезги. «Дикобраз» с тем же исступлением отогнал сервигерку.

Человек на подмостках что-то верещал. Как ни напрягал Мелик слух, не мог разобрать, на каком языке и о чем идет речь. Это была мешанина ан-

глийских и азербайджанских слов, изрядно покалеченных.

Шум — хоть уши затыкай, то хлопки, то свист, то вой, то звон разбиваемых тарелок. Официантки приносили новые — их постигала та же участь. Мелик обратил внимание, что в разбивании тарелок особенно усердствовали пожилые господа, которые получали повод полезть за бюстгалтеры с долларами.

Диск-жокей воззвал к публике:

— Сайленс, плиз. Sakit, sakit!¹ Уан секонд! Bir saniya!²

Экран за сценой ожил. Мелик узнал человека на экране: это был Жан. Зал сразу затих. Диск-жокей объявил:

— Кумир нашего SITI, покоритель сердец, поп-звезда, пардон, поп-звезда Казанова XXI века! — Визг, овация, свист. — Диск-жокей выдержал паузу и повысил тон: — Король брик-брака! — Снова пауза и еще громче: — ДЖАХ-ДЖАХ — ДЖА-А-А-АН!

Жан вырос словно из-под земли. Дикий рев, рукоплесканья, свист. Кумир предстал в длинной юбке с кружевной оборкой, в расшитой кофте, с гитарой на ремне. И стал с кокетливой ужимкой раздавать воздушные поцелуи публике.

— My dear, — сказал он. — Дорогие мои! Оказывается, сегодня — праздник аборигенов... Новрузбайрам... Ноурус — ноу-рыус... Почти как «новые русские». Я сочинил брик-брак по этому случаю: «Нью-рус холидей».

Исторгнув аккорд из гитары, он начал петь под свой взвинченный ритм: «Новруз, Ноурус, нью-рыус. Рыус, рыус, рыус. Рус, рус, рус. Намотай на ус. Трик-трик-трак. Брик-брик-брак. Кись, кись, кись, Кусь, кусь, кусь! Джаз-бас... Джыз-быз... Джыз-быз...»

Публика стала скандировать: «Джыз-быз, джыз-быз!...»³

Вой, крики, свист. Жан продолжал шаманить: «Джаз, джаз, джаз! Газ, даз, наз, Саз, баз, яз. Ваз, таз, паз!»

«Дикобраз», затягиваясь марихуанным дымом, тащился от кайфа и бормотал:

— Гений! Прикол! Во дает!

— А на каком языке он поет? — поинтересовался Мелик у раскрашенного «специалиста».

— Как на каком? Это брик-брак.

— Ну, что означают эти слова?

— Какие слова?

— Да вот эти все «даз, баз, таз»?

— Все на нашском языке. Жан вызволяет слова из клетки. — «Дикобраз» с неожиданной ловкостью вскочил на стол и заорал: — Да здравствует свобода слова! Свободу словам!

Тотчас его призыв подхватили другие попрыгунчики:

— Long live freedom! Свободу словам!

¹ Тихо, тихо (азрб.).

² Секунду!

³ Джыз-быз — блюдо из жареных потрошков.

Кто-то завопил:

— Свободу сексу!

Джан послал крикуну воздушный поцелуй.

— Viva sex freedom!

Зеленоватый вновь сел на стул, затянулся сигаретой и заорал:

— Пой про гея, пойд!

Джан сквозь этот шум и гам услышал реплику, погрозил пальцем.

— Пой про гея, пойд! — закричали с мест.

Джан мгновенным движением разорвал на себе кофту, отшвырнул прочь, обнажив голый торс, перетянутой черным кружевным лифчиком. Взял аккорд на гитаре и вдруг с размаху швырнул ее оземь. Гитара разбилась, но этого показалось мало, — король брик-брака стал пинать ее, струны зацепились за ноги, он разорвал их. Публика впала в истерику.

— Гей, гей! Бей, бей! Не жалеи!

Джан стал бросать обломки в зал. Возникло столпотворение. Пол содрогался. Зрители выхватывали обломки гитары, отпихивая, толкая друг друга, сбивая с ног, таская за волосы.

«Дикобраз» сообщил:

— В прошлый раз мне удалось выхватить два обломка. Ты знаешь, сколько отваливают на аукционе за них? За платок, носки Джана?

Кумиру подали другую гитару. Он запел:

Кто найдется голубей?

Гей, голубчики, я — гей!

Фанаты машинально вторили: «Гей, голубчики, я — гей!»

Так повторялось несколько раз. Джан, поворачиваясь задом то в одну, то в другую сторону, выдавал: «Не слуга я, не лакей! У меня дела окей!»

Публика вторила ему. Текст был исчерпан. Последовали поклоны, реверансы, воздушные поцелуи свистящей, ревушей, аплодирующей массе.

Кумир отер пот с лица и бросил носовой платок в зал, вызвав очередную свалку. Счастливой обладательницей трофея оказалась дама, сидевшая впереди, — она облобызала платок и прижала к груди.

Джан продолжал:

— Дорогие мои, любимые мои, друзья мои! Я открою вам один секрет. Наша примадонна, гениальная танцовщица мисс Бура, собирается баллотироваться в мэры. (*Свист, вой.*) Я посвятил этому событию брик-брак. (*Хлопки.*) Не слышу аплодисментов! (*Рукоплескания звучат громче.*)

Вступительный аккорд, и полилось: «Станет мэром мисс Бура! Мисс Буре гип-гип ура! Воплощение мечты — королева красоты. Голосуем за нее! Кто там против, ё-моё! Покер, джокер, черт возьми! Ляжем за Буру костями! Не порите мне муру. Голосуем за Буру!»

Публика подхватила: «Голосуем за Буру!»

Джан продолжал: «Будет избран новый мэр, мэрам прочим всем пример! Маразматики — плебеи,

харизматики — плейбои, прочь с дороги, с глаз долой! К власти мы придем с Бурой! Голосуем за Буру! Или шкуру с вас сдеру!»

С мест скандировали: «Будет избран новый мэр, мэрам прочим всем пример!»

Мелик поднялся: с него хватит. Зеленоволосый заметил его движение:

— Куда ты, фатер? Еще Бура выступит. Закачаешься.

Но Мелик уже, лавируя между столами, продвигался к выходу. Вдогонку заулюлюкали:

— Куда сматываешься, папаша?

— Стриптиз упустишь!

— Для тебя — в самый раз!

Кто-то подтолкнул, кто-то отпихнул.

— Не загроживай сцену!

Какой-то тип преградил дорогу — пьяный или накурившийся.

— Куда?

— Куда ему еще? К предкам. Пора.

Заржали, загоготали. Мелик кое-как выбрался из зала. Пересек двор... бывшего чертога Ширваншахов. Вышел через главные ворота. Когда-то входил через них — на экскурсию.

Площадь была неузнаваема — вся в иллюминации. Неоновые буквы: «PLAS PIQAL». Над одноэтажными постройками — фривольные картинки, откровенные фото, все рекламы заведений определенного рода. Казино: «Лас-Вегас», «Монте-Карло», секс-шоп, эротическое шоу, кинотеатр порнофильмов... Мелик, ускорив шаги, свернул на боковую улочку, а тут еще хлеще: за прозрачными витринами при свете красных фонарей в вызывающих позах красовались голые девицы; они недвусмысленно подмигивали ему, поманивали жестами. Стараясь смотреть под ноги, он двигался все быстрее.

Там, где завершился ряд красных фонарей, появился фонарь с голубым светом. Навстречу ему вышел мужчина с закрученными усами, похожий на крысиного падишаха из сказки. Оскалился:

— Похоже, наши девицы вам пришлись не по вкусу. Если вам хочется иных развлечений, то у нас есть и пригожие ребята...

Мелик отстранил усача и прошел мимо, он чуть ли не бежал и уже миновал несколько улиц, когда очутился на темном задворке. Похоже, заблудился. Он уловил запах горячей пищи. Это была тыльная сторона ресторана. Всмотревшись, он различил какие-то копошащиеся у стены тени, и свет выгнувшейся из-за облаков луны выхватил из полумрака человеческие фигуры в убогих отрепьях, они рылись в мусорных контейнерах и, выудив из отбросов нечто подходящее, поспешно запихивали в торбы... В этой убогой толпе выделялся пожилой обросший мужчина в латаном пальто и в галошах, с изможденным лицом, в очках с одной разбитой линзой и отсутствующим заушником, который заменяла ниточка, продетая за ухо; он тоже рылся в

отбросах, но делал это как бы через силу, стыдясь других.

Увидев приблизившегося незнакомца, он отошел от мусорки. Остальным ни до кого не было дела, они ворошили отбросы, засунув руки по локоть в ящики, и у всех вид — кожа да кости.

— Как я могу отсюда выбраться? — спросил Мелик у очкастого.

— А куда вы хотите выбраться?

Мелик и сам не знал, куда. Какой ориентир он мог назвать в этом городе, ставшем таким чужим. Мужчина в очках почувствовал его растерянность, подступил ближе.

— Может, вы хотите выйти к берегу?

— К берегу?

Очкастый наклонился к нему и доверительно прошептал:

— Эту дорогу знаю один я.

— Какую дорогу?

— Через два угла в стене есть пролом, образовался лаз. Оттуда можно пролезть и выйти к морю.

— А к какой Зоне относится море?

— Вы что, нездешний?

— Я давно не бывал здесь...

— А-а, вот как... Море, спрашиваете? Оно ни к какой Зоне не относится. Дно моря поделили, толщу воды, поверхность — тоже, а берега — замазученные, замызганные — кому они нужны? Вы помните бульвар? Так вот, уровень Каспия поднялся, вода затопила... И бульвар... и проспект Нефтяников. Помните, проспект? Так там теперь пески. Мазут, камыши и пески. Могу вывести вас туда. — Очкастый запнулся, похоже, стесняясь о чем-то сказать. Решился: — Но с одним условием.

— Каким?

Мужчина снял очки, потупился и выдавил из себя:

— Небольшое поощрение... Пять долларов... Всего только пять.

— Ладно.

Мелик и сам не знал, зачем согласился. В принципе, зачем ему было выходить к берегу, зачем ему сдалось море. Но он почувствовал, что этому бедолаге, судя по всему интеллигенту, пять долларов куда нужнее, чем ему — море. И последовал за проводником в латаном пальто и в галошах.

Прошли по извилистым закоулкам. Это были не древние лабиринты Ичери-шехера, а хибары, наспех сколоченные из ящиков, ржавой жести, труб, фанеры. Наподобие ветхих времянок Анкары, только куда более убогие, нищенские. И все погружены во тьму; только кое-где сквозь окна сочился тусклый свечной свет. Ни звука, ни голосов. Ни запаха готовки еды — ниоткуда.

Наконец перед ними проступила крутая каменная пограничная стена. По эту сторону никаких часовых, патрулей. Мужчина в очках огляделся по сторонам, несколько раз оглянулся назад, наконец показал пролом в стене.

— Можете выбраться вот отсюда.

Сперва провожатый протиснулся сам, Мелик — за ним. Вышли на песчаный берег. Здесь уже стал явно слышен гул моря. В ноздри ударил смрад-ный запах. Мелик зажал себе нос.

— Да, вонища! — сказал очкастый. — Вся канализация города отсюда стекает в Каспий.

Мелик хотел поскорее выбраться из этой клоаки.

Ноги увязали в песке.

Зачем он туда приплелся? Куда он направляется? Он не мог сообразить. Очкастый тащился следом. Снял набитые песком галоши. Вытряхнул песок. Снова обулся. Кашлянул.

— Простите меня. Я выполнил свое слово. Вы...

Мелик понял, что он хочет сказать, и избавил его от трудно дававшегося завершения фразы.

— Да, конечно, — и протянул «проводнику» десять долларов.

Тот покосился на купюру.

— Нет, наш уговор был — пять. Зачем мне лишнее.

— У меня нет мелочь. Берите, не стесняйтесь. Похоже, вы интеллигентный человек... Можно ли спросить, на каком поприще трудитесь... трудились?

Мужчина в очках потупил голову и грустно прошептал:

— Когда-то был писателем...

И, резко повернувшись, не попрощавшись, побрел прочь. Поодаль остановился, вытряхнул песок из галош, обулся и, нагнувшись, канул в проломе стены.

IV

Он шел вдоль кромки берега, стараясь избавиться от зловония. Шел куда глаза глядят.

Все было кончено.

Ни кола ни двора, ни очага, ни семьи... ни народа... ни родины... ничего не осталось у него.

Прошлое исчезло. Было загублено, порушено. Сожжено, растоптано.

Настоящее — вот оно, как есть.

Будущее? Будущего не было. Во всяком случае, для него. Не было у него, Мелика Мамедли, Мелика Мамед-оглу, никакого будущего. Возвратиться в Турцию? Как после всего увиденного и услышанного, с такими воспоминаниями, с таким камнем на душе он сможет там жить? Вообще — жить?.. Покончить с собой? Вот тут вот, броситься в это загаженное море, утопиться? Утонуть в канализационном дерьме?

Его затошнило, удушье сдавило горло.

Он тащился через вязкие пески. Оступился. Упал. И не стал делать никаких усилий, чтобы подняться.

Всмотрелся в даль бухты, где угрюмо чернели очертания острова Наргин, превращенного в остров.

Вскрыть вены? Пустить себе пулю в лоб? Повеситься? Отравиться? Какая смерть полегче, поудобнее?.. Во всяком случае, если уж придется, то надо

это сделать в Турции, — чтобы хоть похоронили по-людски. Здесь просто сожгут труп в крематории и пустят прах по ветру. Впрочем, если вдуматься, — разве это само по себе не логическое завершение его жизни? Обратиться в прах и развеяться по ветру. Ничего у него не осталось. И ничего не останется.

— Я же говорил вам: не отчаивайтесь!

Мелик вздрогнул: кто это, на этом безлюдном берегу заговорил с ним? Поднял голову и обмер: Эрхан уселся рядом на песке. Что за наваждение? Каким ветром его занесло в эти края? И как он выискал Мелика, как умудрился подойти так, что Мелик даже не заметил его?!

— Эрхан?! Откуда ты взялся?

Эрхан улыбнулся:

— С неба.

— Самолетом, ясно? А как сюда добрался?

Эрхан снова улыбнулся и снова показал в небо.

— С неба?!

— Ты что, птица, что ли?

Эрхан на сей раз улыбнулся еще загадочнее.

— Может быть, и птица...

Они молча уставились друг на друга.

— Ну как? Вы смогли увидеться со всеми вашими? — спросил Эрхан.

— Да... — вздохнул Мелик. — Не знаю, к добру ли, во зло ли ты удружил мне, устроив эту поездку...

— Об этом судить только вам.

— Лучше бы мне числить моих в покойниках, чем увидеть ТАКИМИ...

— Смерть — конец всему. Пока человек жив, он все еще может надеяться, что жизнь изменится к лучшему. Это в какой-то мере зависит от самого человека. А уж после смерти ничего от него не зависит.

— Говорят, только в смерти нет выхода. Но, как видно, смерть сама — выход из безысходности.

Эрхан ничего не сказал. Возможно, он состоял в некой сверхсекретной организации и был наделен полномочиями, обеспечивающими доступ куда угодно, вот и сюда он дотянулся, уследил, выследил, но что он, в конце концов, хочет от Мелика?

— Ладно, но как ты узнал, вычислил, что я нахожусь вот здесь, на этом песчаном берегу?

— Наверно, вы сами того не ведая, поднесли мой волос к огню. И я прилетел, чтоб выручить вас¹. Забыли сказку о Мелик-Мамеде? Может, я ваша птица-выручалка Зюмрюд?

— Брось, ради Аллаха. Какие тут сказки? Жизнь — не сказка. Увы, горькая явь.

— Жаль, что это так. Но сказка правдивее жизни.

— Ладно. Если уж так, и ты птица Зюмрюд, — вытащи меня в «светлое царство»! Гукнешь — мясца дам, гакнешь — водичкой напою...

Мелик удивился сам себе. В таком убитом настроении он еще способен шутить.

— Нет, — сказал Эрхан. — В светлое царство мы можем выбраться только сами...

— Кто это мы?

— Мы все.

— И что для этого требуется?

— Прежде всего, уметь отличать белого овна от черного. И потом, вскакивая на хребет белого овна, надо усесться на нем так крепко, чтобы он не смог перекинуть тебя на спину черного овна.

— Ах, Эрхан... Мы не в том возрасте, чтоб верить в сказки.

Эрхан опять не ответил. Погодя сказал:

— Взгляните вон туда.

Уже светало. Мелик устремил взгляд в направлении, куда показывал Эрхан.

— А что такое ты там увидел?

— Не видите? Всмотритесь.

Мелик напряг зрение.

— Похоже, две собаки сцепились. Да, так оно и есть.

— Не собаки. Это два овна бьются. Белый овен и черный овен.

— Откуда им взяться здесь?

— Пришли по вас. Чтобы завершить сказку о Мелик-Мамеде. Ведь с неба еще не упали три яблока.

— Давно уже упали. Причем каждое — в одну из Зон.

— Нет, — возразил Эрхан. — Те яблоки — червивые... А я говорю о волшебных яблонях, которые день цветут, на второй — осыпают цветы, на третий — плодоносят. О тех яблоках, о которых мечтал падишах...

— ...И которые доставались чудишам-дивам, — Мелик гнул свое.

— Можно найти управу и на дивов. Не забывайте, что душа у дивов спрятана в склянке...

— Что ты хочешь сказать этими сказками? Говори уж напрямик, чтоб можно было что-то понять.

— Мелик-Мамед мог бы, оседлав белого овна, выбраться в светлое царство. И у вас пока есть этот шанс.

Эти слова словно загнипнотизировали Мелика. Он с трудом оторвал свое разбитое тело от земли, поднялся, шатаясь, сделал шаг, другой. Теперь он ясно видел дерущихся оводов. Повернулся к Эрхану и... оторопел: Эрхан исчез. То ли сквозь землю провалился, то ли в небо воспарил. Может, он и вправду был птицей — сказочной птицей Зюмрюд?..

Мелик зашагал по зыбучим замазученным пескам к круторогим овнам.

Сейчас он видел отчетливо: вдалеке остался лишь один овен — Белый. Но по мере приближения он удалялся все дальше и дальше. Мелик ускорил шаги, пустился бежать, увязая в песке и с трудом высвобождая ноги. Ему казалось, что расстояние понемногу сокращается. Вот-вот он достигнет Белого овна. Вот-вот...

Еще немного...

Еще самую малость...

Загульба, 2003

Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ

¹ Мотив из чудес сказки о «Мелик-Мамеде».

АМУЛЕТ ОТ СГЛАЗА

Повесть

«Если Бог отнимет у вас уши и глаза и запечатает вам сердце, то никто, кроме Бога, не сможет вернуть вам их обратно».

Священный Коран, сура Аль-Анам, 46

«Бог создал нас для того, чтобы через нас постигалась Истина».

Джалаладдин Руми

Глава 1

ТРЕТИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ МОИХ ПОХОРОН

Боль... ужасная, нестерпимая боль... словно прижимают каждую частицу моего тела, моего лица. Так и хочется кричать от боли... но у меня пропал голос.

Боль... тьма... Кромешная тьма. Не видно ни зги. Мои глаза ничего не видят. Глаза закрыты...

Боль... ужасная, нестерпимая боль... Память постепенно проясняется... Вершина. Высоченная вершина. Пик горы? Нет, не то... Передо мной бездонная пропасть... Я лечу...

С крыши высокого здания... Передо мной пропасть... Лечу...

Кто-то подкрадывается сзади... Кладёт одну руку мне на плечо, другую — на пояс... Сильный толчок. Лечу...

Дно пропасти — улица. Здания стоят вверх тормашками... Одна тысячная часть доли секунды... Удар! Внутри меня что-то рассыпается... Лицо размазано по горячему асфальту, сплющено как блин. Нос проваливается внутрь промеж щёк.

Боль... ужасная, нестерпимая боль... В голове гремит гром.

Затем... пустота... ни боли, ни света, ни тьмы... тишина, безмолвие...

Теперь ощущалась не боль, а её осознание. Некогда испытанная, осознанная боль, запечатлевшаяся в памяти.

Он открыл глаза, с трудом, словно тяжёлый груз, подняв веки... Не видно ни зги... Это не тьма, царящая в зажмуренных глазах с разбегающимися розовыми, жёлтыми, зелёными кругами, — это тьма открытых глаз. Тьма, поглотившая весь мир... Нигде не видно ни лучика света. Кромешная тьма, сквозь которую глазам не суждено разглядеть что-либо, когда-либо...

Сколько ни смотри, даже контуры предметов вокруг невозможно разглядеть. Хотя вокруг нет никаких предметов. Вокруг нет даже пространства. Он словно находился в тесном, тёмном мешке.

Тьма материнского чрева... тьма времени, без единого понятия о разноцветье внешнего мира. Или же тьма врождённой слепоты, несмотря на появление на свет.

Эта тьма внезапно рухнула на него, обволокла его тело вместе с нестерпимой болью, и, хотя боль уже утихла, его мучило осознание того короткого мгновения...

Боль возвращала ему сознание — оно восстанавливалось постепенно, миг за мигом, капля за каплей...

Так кто же столкнул его с этой высоты? После молниеносного полёта внутри него произошёл мгновенный взрыв, словно рассыпались все внутренности. А что за вода, которая текла ему на голову, будто из душа? «Душ» по-турецки — сон... У нас некоторые называют душ «чилек», то есть разбрызгиватель. Но эта вода не разбрызгивалась, хоть и не лила как из ведра, не хлестала, подобно ливню, про который в народе говорят: «Схватись за струю — поднимешься на небо». На него словно вылили полный таз воды, он обмок до ниточки; тело дрожало от холода, покрывшись гусиной кожей. Тело... О нём сочинены многочисленные «вуджуднаме» — стихосложения, описывающие человека с момента появления на свет вплоть до последнего мгновения жизни, включая даже посмертное состояние в могиле... Кто-то из философов утверждал, что в момент смерти — пусть даже мгновенной — каждый человек вспоминает всю свою прожитую жизнь, вплоть до самых мелких подробностей...

Неожиданно в его памяти всплыл человек со шрамом... Шум игры в нарды, стук шашек по доске, зернистый звук брошенных костей, шестёрка с четвёркой, пара троек, пара пятёрок; пара пятёрок запомнилась ему лучше остальных. Пожилой учёный... пылает огнём... дабы потушить огонь, заворачивается в ковёр; полыхает и ковёр... Округлившиеся глаза Закира, надевшего мой халат в красную полоску, круги от банок на голой женской спине... Женские колени, белевшие в тёмном салоне... Кто эта женщина? Ангел смерти?

Смерть такова... А как же та вершина, полёт, осознание боли?... Знакомые лица... Как же он помнит всё это, если уже мёртв? Может, это и есть потусторонний мир?... Что такое смерть — вечный Конец или начало другой жизни?

Больше всего его тяготила теснота... Он пытался двигать конечностями, но все тело было сковано... В сознании всплыло одно воспоминание. В Египте он ползал по тесному тоннелю, ведущему к храмам и пирамидам... Внезапно сжалось сердце, он попытался встать, но подняться в тесном трубчатом тоннеле было невозможно: и впереди, и сзади ползали такие же, как он, туристы... не было возможности протиснуться ни вперёд, ни назад; он не мог даже поднять голову — чувствовал, что вот-вот задохнётся, сердце не выдержит, разорвется...

Но сердце не разорвалось. Теперь он испытывал те же ощущения. Но был он крохотным, мог бы поместиться в ладони... тело, руки, ноги касались влажных, рыхлых стен. Он лежал в жиже из крови и какой-то жидкой субстанции. Сквозь тьму и тишину издали слышался ритмичный звук, напоминающий перестук колёс поезда... В его душе тоже что-то застучало, синхронно вторя этим звукам...

Что-то текло ему внутрь из брюшной полости... Истощенный крик... Кричала женщина... Она тонула... Какая-то невидимая сила тянула её под воду.

Много лет спустя его так же потянуло с вершины к смерти — а теперь его тянуло к жизни... Под воздействием чьей-то — не своей — боли, стонов, воплей и неразборчивых слов он был прикован к тесному тоннелю и, задыхаясь в нём, пытался освободиться...

Каждая такая попытка, каждый его стон приближал к свету... очередная попытка, очередной стон... Внезапно он почувствовал свободу, его охватил озноб, и в тот же миг он громко закричал.

Он где-то читал, что Заратустра был единственным человеком в этом мире, который при появлении на свет не плакал, а смеялся.

А зачем ему плакать? Сквозь боли, страдания и потуги той, что была с ним одной плоти и крови, он покинул её тёмное чрево и появился на этот прекрасный свет.

Появился на свет... Кто-то из философов говорил, что человек появляется на свет в тишине. Как он появился на свет, так и должен был его покинуть — мгновенно улетев. Распластавшись на земле и запечатлев свою жизнь на ней, ему предстояло теперь уйти в неё, смешаться с ней. Но этого он не осознавал. Его сознание погасло в том ужасном полёте, вместе с жуткой, нестерпимой болью... И естественно, теперь он должен был лежать под землёй.

Теперь он должен был находиться в царстве мёртвых. Но почему тогда в его память проникли различные мысли, заполонив его сознание разнообразными явлениями, звуками, ощущениями?

Всю свою сознательную жизнь он был материалистом и никогда не верил в существование жизни после смерти. Возможно, он ошибался. Может быть, жизнь колеблется между реальностью и смертью, туда-сюда, туда-сюда, качается, как маятник часов? Туда — понятно. А сюда? А что, если маятник возвращается от смерти к жизни? Что тогда?

Вот он — потусторонний мир: тесное, влажное, холодное помещение, покрытое плесенью, где царит абсолютная тишина...

Лежу неподвижно, конечности скованы. Вот-вот явятся инкир с минкиром¹ — и давай допрашивать меня с пристрастием... Оказывается, мертвецы тоже способны шутить. Я ведь точно осознаю, что я умер — значит, я действительно мёртв?

От мысли, внезапно возникшей, вспыхнувшей, ударившей, словно электрический ток, я вздрогнул: нет, я не умер.

Я жив... Меня заживо замуровали, закопали в землю, и теперь каким-то чудом я очнулся от смертельного сна... Руки и ноги скованы, всё моё тело завёрнуто в тесный саван... Значит, меня похоронили как покойника, засыпали землёй, а могилу обставили тяжёлыми каменными глыбами...

От одной этой мысли могло остановиться сердце. Хотя... Пришла мысль, что это было бы единственным выходом из безысходности. Делать нечего — да-

же освободившись из савана, было невозможно сбросить землю, а с неё — тяжёлые камни и, разрыв собственную могилу, восстать из неё, «воскреснуть»...

Единственный выход (ничего себе, выход!) — лежать, стиснув зубы, ожидая истинную смерть... Знать бы, насколько хватит воздуха в могиле...

Интересно, как давно меня похоронили? Судя по тому, что я всё ещё дышу, совсем недавно. Значит, я буду мучиться и задыхаться от нехватки воздуха, пока не наступит настоящая смерть. Могильные черви продырявят саван и сожрут моё тело... Господи, в чём же я провинился? В том, что не верил в Тебя? Ей-богу, в глубине души я всегда верил в Тебя, однако условия были таковы, что я был вынужден скрывать эту веру.

Ну вот, теперь ты уповаешь на Бога, от которого отрекался всю свою жизнь... Бог велик! И уповать надо только на Бога — и больше ни на кого.

Отныне меня может спасти только Чудо, имя которому — Бог. Нет, глупости — вполне возможно, что именно Бог и наказал меня. Разумеется, если Он действительно существует. Значит, ты всё ещё сомневаешься в Его существовании? Именно поэтому ты и наказан. Нет, да простит меня Бог, ведь Он не меркантилен, Он же знает, что, верил я в Него или нет, всю свою жизнь я прожил праведно, никому ничего плохого не делал, старался жить по совести.

Это тебе так кажется. Это твоя личная оценка своих поступков — возможно, то, что я считал Добротой, для кого-то было Злом.

Если Бог существует, значит, существует и потусторонний мир. Значит, тебе остаётся только ждать — вытерпеть всяческие мучения и ожидать Смерти как своё Спасение. Ждать истинную Смерть, после которой начнётся совершенно другая жизнь, и именно в ней ты найдёшь ответ на все безответные вопросы. Именно в ней наступит месть за все несправедливости, допущенные в нынешнем мире.

Внезапно в памяти всплыло слово КАРМА... Что такое карма, из какого языка это слово? Он никак не мог вспомнить источник, значение этого слова, которое казалось ему столь родным. Пытался вспомнить книги, прочитанные им на эту тему. Во всяком случае, сейчас это было не самым худшим занятием, чтобы убить время, да и в его нынешнем состоянии служило бы некоторым утешением.

Жизнь после смерти... Жить заново... Другой жизнью... В другом мире...

Я вспомнил некогда поразившие меня слова из книги Даниила Андреева²... Он пишет, что в последний раз он умер триста лет тому назад — в стране с древней и богатой культурой. В нынешней жизни Даниил чуть ли не с пелёнок тосковал по своей бывшей родине, так как, по его словам, он жил в той стране не единожды, а по нескольку раз. Умирал там, рождался заново...

¹ Инкир и минкир — по религиозному преданию, два ангела, допрашивающие мертвеца в могиле.

² Даниил Андреев — автор книги «Роза мира».

Возможно, это действительно так. Ведь я помню — ещё Мовлана¹ говорил, что самое глупое и гнусное выражение невежества — это отрицание потустороннего мира.

Он вспомнил известную легенду суфиев. Горящая свеча привлекает мотылька. Мотылёк бросается в огонь и сгорает. Все ждут, когда мотылёк воскреснет и расскажет всё, что видел. Однако он бесследно исчезает в огне и не возвращается, так как навечно воссоединяется со своей Любовью.

Он испытывал любовь к Богу; по философии суфиев, смерть — это воссоединение с Богом.

Ты действительно не знаешь, в чём твоя основная вина? Нет, не в твоём неверии и даже не в отрицании Бога. А в том, что ты возомнил себя Богом. Ты, обуянный гордыней, стремился совершать деяния, присущие лишь Богу, а никак не потомку Адама. И не важно, для чего ты это делал — во имя Добра или Зла... Приятный летний день. Одна из старых, узких, ухабистых улиц Баку... Тротуар возле одноэтажного дома. Мужчина с лысой макушкой и проседью на висках, в сетчатой майке, сквозь которую виднеется его мохнатая грудь, поливает тротуар (с нагретого солнцем асфальта исходит пар)... На табуретке, накрытой газетой, стоит грушевидный стакан с чаем... Аромат имбиря, гвоздики, лимона... Макнув в чай кусок сахара, он положил его в рот и глотнул чаю...

Отчего же я вспомнил об этом? Кто был этот мужчина, кем он мне приходился? Никем... Рано утром, вернувшись на электричке из Бузовны² в город, я шёл домой и во дворе увидел его, этого мужчину. Он не был мне знаком, я видел его впервые. Но ни с того ни с сего эта сцена навечно запечатлелась в моей памяти.

Может, я жалел об этом? О том, что не я поливал тротуар возле своего дома, не я пил чай с лимоном, имбирём и гвоздикой из грушевидного стакана, стоящего на покрытой газетой табуретке?

Такой ароматный чай он пил не раз, но жить этой простой жизнью он не стал, попросту не мог; спокойная и беспечная жизнь, полная мелких радостей, его не удовлетворяла. Он превратил свою жизнь в заложницу бесконечных амбиций.

Говорят, перед смертью... Кто говорит? Разве кому-то удалось, умерев, воскреснуть и рассказать про увиденное? Он вспомнил сгоревшего мотылька... Да, говорят, перед смертью у человека случается прозрение, меняется обычное представление о времени, и в одно мгновение перед глазами человека, подобно киноленте на частых оборотах, прокручивается вся прожитая жизнь.

Понятие «третьего глаза» имеется и в древних индийских преданиях — он когда-то читал об этом в книге. Индийский бог Шива, открыв третий глаз, одним лишь взглядом испепелил своего врага.

¹ Мовлана Джалаладдин Руми (1207–1273) — восточный поэт и мыслитель, представитель пантеизма.

² Бузовна — пригород Баку, посёлок на Апшеронском полуострове.

Спина ныла от ударов хлыста. Болело всё тело. Хотелось поскорее избавиться от этих воспоминаний. Мокрое тело дрожало от холода. Хотелось бежать... быстрее убежать и избавиться от этих ощущений.

...Под вечер я ехал к морю в машине с откидным верхом. Облака баклажанового цвета... Утомительная тоска чуждого апшеронского вечера. Ветер хлестал моё лицо русыми волосами девушки с грустными глазами, сидящей рядом со мной — я чувствовал на губах прикосновение её волос... Моё самое большое желание... лишь бы эта дорога никогда не кончалась, лишь бы море отдалялось всё дальше и дальше, лишь бы вечер наступил как можно позже...

Внезапно я вспомнил чьи-то строки: «Под занавес долгой жизни, в момент безнадежности... Это чувство радости возникло столь внезапно...»

Моросило... Капли дождя кололи мне лоб и щеки, словно иголки, но эти тёплые капли дарили приятные ощущения... Тёплый дождь? Разве бывает тёплый дождь?

Ночь наступила внезапно. Появилась Луна — полная, яркая, отраженная морем, и даже хромой ветер — разве бывает хромой ветер? — был скован и беспомощен от её притягательной силы... Затем Луна скрылась за облаками... С исчезновением лунного света исчезла и девушка с русыми волосами...

Девушка Луны, Лунная Девушка... Сомнамбула. Кажется, так называется итальянская опера... Кто же автор — Россини, Беллини, Доницетти? Лунный человек — сомнамбула — по-русски называется лунатиком.

Господи, что за мучения? Убиваешь — так убей же, в конце концов! Даже узник, приговорённый к смерти, ожидая дня казни, не задыхается в камере от нехватки воздуха. «Живой труп». Толстой. Воскрешение мертвецов. Шейх Насруллах³. Мирза Джалил... Смесь и чехарда мыслей в моём сознании... Что делать? Что делать! Ленин... Чернышевский... «Нашёл время вспоминать про хну!»⁴ Узеир-бек... Мешади Ибад. Как хочется хоть чем-то занять мысли, чтобы окончательно не сойти с ума!

А может, сойти с ума — это и есть Спасение?!

Одурманенное сознание, отсутствие ощущений... Может ли человек сойти с ума добровольно? Может, лучше затаить дыхание, не дышать, чтобы приблизить смерть (ничего умнее в голову не приходит)?

На некоторое время он затаил дыхание, но немного спустя, волей-неволей вздохнул, отдышался.

Интересно, почему в этой тесной могиле он то и дело вспоминает прочитанные книги индийских

³ Шейх Насруллах — имя отрицательного героя, мошенника, обещавшего воскресить мёртвых в пьесе известного азербайджанского драматурга Джалила Мамедгулузаде «Мертвецы».

⁴ «Нашёл время вспоминать про хну!» — известный афоризм, цитата из речи Мешади Ибада — главного героя оперетты известного азербайджанского композитора и литератора Узеира Гаджибекова «Не та, так эта». Употребляется, когда человек совершенно некстати вспоминает о чём-то, не имеющем никакого отношения к сложившейся ситуации.

философов? Брахма, создавший мир, был рождён в яичной скорлупе, но силой мысли ему удалось разбить скорлупу на две части; одна её половина превратилась в небо, а другая — в землю. Привлекательность этой легенды заключалась в её намерении доказать, что что-то можно изменить, преодолеть силой мысли. Может, действительно он мог бы спастись силой мысли, силой ума? Но как? Нет, человек не в силах сделать это. Вся надежда на Бога.

Господи, прости и помилуй... или спаси, или убей окончательно! Надежды на спасение никакой — если всё же случится чудо и мне удастся выбраться отсюда, обещаю покорно служить Тебе всю жизнь!

Ему вновь вспомнились некогда прочитанные книги. Он вспомнил учение Будды, словно кто-то диктовал ему слово в слово. Будда говорит: «Не умоляйте Бога. Не уповайте на тишину — она не способна ни говорить, ни слушать».

Постой-ка... Кажется, Бог услышал мою мольбу... Дышать становится всё труднее, задыхаюсь. Скоро Конец. Конец? Кстати, как звали ту Лунную девушку? Вряд ли сейчас вспомню...

Потерпи немного. Это единственное, что ты можешь сделать. Сколько ни копошись в саване, пытаясь освободиться, — всё тщетно. Может, Бог помилует тебя, ускорит твою смерть...

А может... Может, это сон? Страшный, кошмарный сон... Галлюцинация. Как говорил Деде-Горгуд, сон — это маленькая смерть...

Так сон или смерть? Закрываю глаза. Перед глазами разбегаются розовые, жёлтые, зелёные круги — в больших кругах появляются мелкие круги, кружки, кружочки и медленно тают, исчезают. Может, это дальние планеты? Может, я лечу туда? Лечу. Может... Мож...

Глава 2 СГЛАЗ

«Нередко сглаз оказывает на людей отрицательное влияние».

Авиценна, «О природе»

Холодный ветер пронизывал до мозга костей, буквально срывая с него латаный, изношенный пиджак с оторванными пуговицами. От ворот до дверей их дома было двадцать шагов — это расстояние он измерял не раз. Ветер дул ему в спину, и от этого он мог преодолеть этот путь в двадцать шагов гораздо быстрее, чем обычно... И он преодолевал этот путь, дрожа от холода...

От ворот до дверей дома он не шагнул, а бежал — причину этого не знал никто, кроме него самого, его матери и Насиба. Об этом не знал даже его отец — от него скрыли это во избежание скандалов. Возможно, это видел из окна также кто-то из соседей сверху, но не придавал этому значения, не вмешивался — а возможно, никто и не видел.

Нужно было как можно скорее дойти до дома: услышав стук в дверь, мать тут же откроет — он был

уверен... Возможно, она уже открыла дверь и ждала его на пороге.

Не успев дойти до дверей всего лишь на шаг, он почувствовал, как ему на голову полилась холодная вода и намочила всю одежду, всё тело. Он вздрогнул — хотя и был привыкшим к холодной воде, ежедневно выливаемой ему на голову. Стужа, словно острая игла, колола каждую точку его шеи, спины, рук... От холодной воды по его телу побежали мурашки, как от электрического тока. Не успел он дотронуться до ручки двери, как она открылась, и мать, ожидавшая за дверью, засуетилась на пороге, впуская его домой, обняла.

— Солнышко моё, — воскликнула она, прижав к груди восьмилетнего сына, обмокшего до ниточки. — Будь прокляты все, кто так мучает моего ребёнка!

Каждый божий день, по возвращении сына домой, Манзар проклинала своих соседей сверху. Они оба — и Ахлиман, и Манзар — знали, что воду с третьего этажа лил Насиб, сын Гасыма, руководителя какого-то учреждения.

Манзар поспешно раздела сына. Ахлиман оделся в сухую одежду, которую мать ежедневно, в одно и то же время, гладила и готовила для него, поменял нижнее бельё. До возвращения Ахада с работы оставалось ещё несколько часов, но Манзар на всякий случай спрятала мокрую одежду сына от греха подалше, чтобы ночью, после того как все заснут, высушить и прогладить её, проклиная своих горесоседей. А проклятия звучали всё изощрённее: «Да оплешивеют все, кто издеваются над моим ребёнком, да лишатся они всех своих ногтей!»

Ахлиман всё ещё дрожал от холода.

— Иди, сыночек, садись, сейчас согрею тебе еду!

Несколько месяцев тому назад служанка Гасыма, поливая на балконе цветы, случайно уронила лейку, и вся вода вылилась на Ахлимана, который как раз в это время проходил под балконом. Его крик услышал и Насиб, что доставило ему огромное удовольствие. Ахлиман и Насиб были одноклассниками. Насиб приезжал домой на машине отца раньше Ахлимана и подстерегал его возвращение из школы, чтобы вылить ему на голову таз воды. Вся изюминка этой затеи заключалась в том, чтобы вода вылилась не в сторону, а аккуратно на голову Ахлимана.

Вначале Ахлиман думал, что это происходит случайно, а затем стал воспринимать как неудачную, глупую шутку. Позднее он догадался, что это делается нарочно — но Насиб был сильнее, крепче его, слыл забиякой, да и из-за его отца-начальника никто не смел перечить сыну. Жаловаться было некому. Никто из учителей не поверил бы Ахлиману — и даже поверив, не стал бы связываться с Насибом, во избежание неприятностей на свою голову. Насиб был общим баловнем всей школы — нередко он даже учителям отвозил на машине отца.

Единственное, чего остерегалась Манзар, — лишь бы Ахад об этом не узнал. Муж был буйным — не ровен час, выпьет, изобьёт этого пацана Насиба до по-

лусмерти, плюнув на его «неприкасаемого» отца, и окажется за решёткой за хулиганство.

Насиб даже придумал прозвище для Ахлимана. Он называл его Ахриманом. Мальчик где-то прочёл, что Ахриман — это Бог Зла. Даже некоторые учителя в угоду Насибу называли Ахлимана Ахриманом.

В то время их улица называлась в честь какого-то армянского революционера по имени Ара Гардашян. Но со временем таблички с указанием названий улиц устаревали, становились нечитабельными, и все называли это место улицей Арагарышдырана¹.

Узнав из единственной, видимо, прочитанной им книги о том, что кроме Бога Зла — Ахримана существовал и Бог Добра — Ормузд, Насиб говорил Ахлиману: «Вот ты — Ахриман, а я — Ормузд».

Однажды он пригласил Ахлимана в свою машину. Ахлиман отказался — хотя этих попыток с обливанием водой тогда ещё не было.

— Так мы же домой едем... Поедем вместе на машине, — настаивал Насиб.

После долгих уговоров Ахлиман сел в машину. Насиб обратился к водителю:

— Поехали в Кешля!²

— А зачем нам в Кешля? — с удивлением спросил Ахлиман.

— Увидишь!

Кешля находилась далеко от дома Ахлимана, от улицы Арагарышдырана — в другом конце города.

Едва доехав до Кешля, Насиб велел водителю остановиться. Выходя из машины, он обратился к Ахлиману:

— Вылезай, дело есть!

Ахлиман вышел.

— Иди за мной!

Они отошли от машины на приличное расстояние, и вдруг Насиб неожиданно побежал к машине, сел и захлопнул дверцу.

У Ахлимана в кармане не было ни гроша, и Насиб знал об этом.

Машина тронулась с места, и Ахлиман увидел в окне глупую улыбку, белеющие зубы Насиба.

Было холодно — возможно, Насиб выбрал именно такой день, для того чтобы жестоко поиздеваться над Ахлиманом.

Ахлиман пешком прошел через весь город. Когда же мальчик дошёл до дома, уже вечерело. Ночью у него поднялась температура. Он простудился, схватил воспаление легких. Пролежал больным целых десять дней...

Со стуком открылась входная дверь, и вошёл Ахад — на нём лица не было. И сразу же начал орать:

— Есть что пожрать?

— Я сейчас яичницу приготовлю — не знала, что ты вернёшься так рано.

— Отнеси яичницу, положи на могилу своего издохшего отца! Какое твоё собачье дело, когда я воз-

вращаюсь — рано или поздно... — Ахад открыл шкаф. — А где водка?

— Ты же вчера всё выпил, дорогой...

— Думаешь, я не помню, сколько я вчера выпил? Меня за идиота держишь?! — заорал он и вlepил жене пощёчину. — Дрянь ты этакая! Стоило мне выйти из дома, так ты сразу вылила водку в уборную, а бутылку выбросила, чтобы я не догадался!

Разумеется, он прекрасно помнил, что вчера выпил всю водку до последней капли. Вытащил из кармана мятые деньги и протянул Ахлиману:

— Ступай, купи у Садыга водку, — он сел и стал уплетать яичницу Ахлимана. — Чего ты уставился? Не беспокойся, сейчас твоя мамаша приготовит такую же гадость и для тебя! Тьфу ты, даже не посила...

Протягивая руку к солонке, он задел тарелку, она опрокинулась, яичница шмякнулась на пол.

Ахад на этот раз дал пощёчину сыну:

— Что за дурной глаз у тебя, сукин сын! Пошёл вон отсюда!

Монтёра Ахада в тот день уволили с очередной работы из-за аварийной ситуации, допущенной им в нетрезвом состоянии. В ярости он искал, на ком бы отыграться, и нашёл козлов отпущения в лице членов семьи.

— В магазине в это время перерыв, — сказала Манзар, — пускай идёт через полчаса. Я сейчас вам обоим приготовлю яичницу.

— Хватит трепаться, пошла вон! — И Ахад со злостью обратился к сыну: — Ты ещё здесь? Я кому сказал? Ступай сейчас же!

Накинув пиджак на плечи, Ахлиман вышел на улицу и невольно взглянул на балкон третьего этажа. Окна были закрыты. Знай Насиб, что Ахлиман во дворе, был бы тут как тут.

Он по привычке пробежал по двору. С обеих сторон улицы стояли мусорные баки, внутри которых кишели мыши и крысы, а посреди улицы текли сточные воды. Когда-то дети на небольшом чистом пятнышке во дворе играли в футбол, но теперь из-за Насиба они были лишены и этой возможности.

Магазин был закрыт; на дверях висела табличка «Перерыв». Делать было нечего — надо было ждать полчаса: вернись он домой с пустыми руками, отец отдубасил бы его. В последний раз он избил Ахлимана три дня назад. Бил сына руками, а когда руки уставали, хлестал его кожаным ремнём. На спине Ахлимана всё ещё краснели следы от ремня.

Ветер усилился; от холода у мальчика стучали зубы. Возле ворот стояла машина, на которой Насиб приезжал в школу.

Немного спустя появился Насиб — в тёплом пальто с меховым воротником, держась за руку водителя. Ахлиман отступил, спрятался, чтобы Насиб его не увидел. Ничего хорошего от такой встречи нельзя было ожидать, зная мерзкий характер Насиба.

Представив, как должно быть тепло тому в меховом пальто, в ушанке, кожаных перчатках и шерстя-

¹ Арагарышдыран — провокатор (азерб.).

² Кешля — посёлок в Баку.

ных брюках, Ахлиман ещё сильнее ощутил холод, задрожал.

Водитель открыл для Насиба дверь, и тот, надменно оглядываясь (дескать, видите, какой я важный), сел в машину. Машина тронулась с места. Ахлиман смотрел на свет задних фар, тянувшийся за машиной, словно красная лента.

Внезапно выскочивший из-за угла на большой скорости грузовик лоб в лоб столкнулся с чёрной машиной, протащил её на несколько метров и, ударив об стену, смял в гармошку. Послышался жуткий скрип покореженного металла.

Прибежали прохожие и, с большим трудом открыв изрядно помятую заднюю дверь машины, вытащили безжизненный, окровавленный труп Насиба, изуродованного до неузнаваемости.

Глава 3

ШЕЙХ НАСРУЛЛАХ БЫЛ ПРАВ

«Что вы знаете о жизни, чтобы рассуждать о смерти?»

Конфуций

Насруллах и Фазиль сбросили с могилы лопатами последние комья земли; теперь засыпанная могила была ниже поверхности земли всего лишь на два каменных кубика. Насруллах был могильщиком, лет ему было около пятидесяти пяти. Густую растительность на его лице можно было бы принять за бороду, но он никогда не отпускал бороды. Просто оттого, что он не брился уже несколько дней, всё его лицо и подбородок обросли седой колючей щетиной. Брови под стать щетине на лице были тоже густыми, но чёрными.

Фазиль — двадцатипятилетний водитель стоящего неподалёку грузовика, был хилым, лпоухим, курносый, худошавым парнем.

Бросив лопату на землю, Насруллах вздохнул.

— Ох, умаялся, — сказал он, — отдохнём чуток!

Вытащив из истрёпанной сумки газету, он растелил её на земле, положив на газету два гранёных стакана и колбасу. Затем могильщик вытащил перочинный нож и начал нарезать колбасу.

— Браток, — позвал он Фазиль, — неси-ка сюда это львиное молоко!

Фазиль принёс из машины зеленоватую полулитровую бутылку водки.

— Наливай, — сказал Насруллах.

— Может, сначала закончим работу, потом выпьем, а? — спросил Фазиль.

— Нет, — ответил Насруллах. — Ты ещё молод, многого не знаешь. На своём веку я выкопал бесчисленное количество могил, — он одобрительно погладил свою лысину, будто поощряя себя. — Перед тем как выкопать из могилы мертвеца, нужно как следует выпить.

— И много ты выкопал мертвецов, дядя? — спросил Фазиль.

— Много, очень много... Ладно, бери стакан. Да упокоит Аллах умерших, а живых одарит здоровьем. Будем здоровы!

Смеркалось.

Вытащив из кармана самокрутку, Насруллах прикурил. Затянувшись, он протянул её Фазиле.

— Возьми, затянись.

— А зачем?

— Так надо.

Фазиль затянулся.

— Анаша, что ли? — спросил он.

— А как же? Водка с анашой — это самый кайф. Ты что, не знал?

После очередной затяжки Фазиль поперхнулся.

— Дай сюда, — сказал Насруллах. — Хватит тебе...

— Успеем, дядя? — спросил Фазиль.

— Ещё как успеем. Шрам явится к девяти, у нас ещё два часа... Конечно, успеем.

— Дядя, Аллах свидетель, я всё-таки не понимаю, для чего этому...

— Шраму, — подсказал Насруллах.

— Этому Шраму понадобился труп? — закончил Фазиль.

— Ты что, из Гёйчая?¹

— А как ты догадался?

— Только гёйчайцы, когда клянутся, говорят «Аллах — свидетель». Мой сосед тоже из Гёйчая.

— У меня мама из Гёйчая, — сказал Фазиль. — А отец — бакинец.

— Живые?

— Да, слава богу!

— Да сохранит их Аллах!

— Дядя, ты мне не ответил — зачем Шраму этот труп?

— Бог его знает. Да простит меня Аллах, никто, кроме самого Шрама, этого не знает. Наливай. Ты слышал про альбиносов?

— Это кто, англичане?

— Эх ты, грамотей... Альбиносы — это те, кого мы называем белёсыми. У них всё белое — волосы, усы, борода, брови.

— И что?

— Оказывается, японские учёные доказали, что волосы и кости альбиносов обладают лечебными свойствами. Поэтому, когда альбиносы умирают, люди договариваются с их родственниками. Те сначала хоронят усопшего как положено, а затем тайком э...экс... эксгумируют тело... вот... и продают за рубеж.

Фазиль не верил своим ушам:

— Ничего себе, чего только не происходит в мире... поди разберись! Черт ногу сломит! Ты имеешь в виду, что Шрам как-то связан с японцами?

— Этого я не знаю, — Насруллах покачал головой. — Он мне не отчитывался. Просто сказал: выкопай такого-то мертвеца из могилы и получи свои

¹ Гёйчай — район Азербайджана.

деньги. Вот и всё! А что он будет делать с ним дальше, меня не волнует.

Он поднял стакан:

— Покоиться в могиле после смерти — не так уж и легко! Давай выпьем за то, чтобы после смерти никто не вздумал раскапывать наши могилы.

— Но мы же не альбиносы.

— Не имеет значения.

Выпили. Сумерки укутывали кладбище в грустные цвета, и на этом фоне отчётливо виднелись тёмные силуэты надгробных камней.

— Ты знаешь, что там? — спросил Насруллах, указывая в сторону, чуть ниже кладбища.

— Озеро.

— Это не просто озеро. Это кровавое озеро. А знаешь, почему это озеро называли кровавым?

— Нет, откуда мне знать?

— В тридцатые годы ГПУ расстреливало людей и бросало их тела в это озеро.

— А что такое ГПУ? Тоже что-то японское?

— Вот ты дубина, чушка деревенская!.. Не знаешь, что такое ГПУ? НКВД слышал?

Фазиль сидел, хлопая глазами.

— Не обижайся, браток, но ты действительно безмозглый тупица. Управление безопасности, слышал про такое? В то время оно называлось ГПУ. Чего только они не творили, ей-богу!.. Когда у них заканчивались патроны, они связывали людям руки и ноги и, привязав к шее камень, заживо топили в озере.

— Да ты что?! Вай, мать вашу!..

Насруллах затянулся самокруткой.

— Вот так, молодой человек, такие были времена... Мы должны радоваться, что живём в спокойное время...

— А ты откуда знаешь про всё это?

— Мне отец рассказывал...

— Он тоже был могильщиком?

— И отец, и дед... Все мои предки с незапамятных времён работали на этом кладбище. Мой дед даже был муллой, но в советское время с этим было небезопасно, поэтому он стал могильщиком. Хотя иногда он тайком читал «Йа-Син»¹. У него был прекрасный голос. Наливай!

— Может, хватит? Мне ещё машину вести, труп отвозить...

— Не беспокойся, выкопаем, отвезёшь туда, куда скажет Шрам.

— А другие трупы ты тоже выкапывал по заказу этого Шрама?

— Нет, у каждого из них был свой заказчик. Эх, браток, если я расскажу обо всём, что я видел и знаю, у тебя волосы дыбом встанут.

Опустошив стакан, он затянулся.

— Скажу, не поверишь — каждую пятницу вурдалаки устраивают у этого кровавого озера пир.

Фазиль был в недоумении.

— А что они делают? — спросил он.

— Пируют, танцуют, я же сказал... Причём их музыка ничуть не похожа на нашу. Пару раз они и меня приглашали, но я не пошёл. Как-то раз я стоял в сторонке и смотрел, что они вытворяют... Это какой-то ужас, кому рассказать — не поверит! Но я не пошёл; делать, что ли, нечего? Не ровен час, ещё донесут начальству, меня вышвырнут вон...

Округлившись глаза Фазиля едва не вышли из орбит, голова постепенно одурманивалась.

Он думал о том, что время идёт, скоро явится заказчик, увидит, что работа не выполнена — и всё, не видать ему заработка как собственных ушей. Тогда Фазиль решил проявить инициативу.

— Дядя, может, всё же вскроем могилу? — робко спросил он.

— Да куда ты торопишься? Думаешь, труп бежит оттуда?

— Нет, нам просто нужно закончить работу до прибытия Шрама — он же сказал, чтобы мы не вскрывали могилу при нём.

— Ну ладно, будь по-твоему. Ещё по стакану, и за работу. Выпьем за мертвецов! Как-никак, это они нас кормят.

Выпили. Фазиль был уже совершенно пьян, у него косили глаза...

А Насруллах был трезв как стёклышко — словно ничего не пил, не курил. Он встал и схватился за край каменной плиты.

— Давай, хватай, — сказал он Фазилю. — Смелее, не бойся!

Подняв камень с первой же попытки, они отложили его в сторону. Вытащив грязный, измятый платок, Насруллах вытер пот со лба и шеи.

— Ну, браток, раз-два, взяли!

Они подняли и второй камень, тоже отложив его в сторонку, рядом с первым.

— Выпьем ещё по пятьдесят, и выкопаем труп, — предложил Насруллах.

Усевшись спиной к вскрытой могиле, Насруллах налил оставшуюся водку в стаканы.

— Ты мне нравишься — дружелюбный, общительный, — сказал он. — Пью за твоё здоровье!

Поднеся стакан к губам, он заметил на лице Фазиля выражение ужаса. Фазиль уронил стакан, водка разлилась по расстеленной газете, промочив её насквозь.

— Что такое? — спросил Насруллах, взглянув на Фазиля.

— Оглянись...

Насруллах обернулся и взглянул на могилу.

Тело, завернутое в белый саван, дёргалось, пытаясь выбраться из могилы.

Вскочив словно ошпаренный, Фазиль помчался к машине; споткнулся, упал в панике, но тут же встал и, кое-как добежав до машины, завёл двигатель. Грузовик тронулся с места и был таков.

Залпом допив остаток водки, Насруллах грустно улыбнулся и промолвил про себя:

¹ «Й а - С и н» — тридцать шестая сура Корана, часть похоронного обряда у мусульман.

— Эх, молодёжь, молодёжь... Можно подумать, парень никогда не видел воскресшего мертвеца.

ОТ АВТОРА

Выкапывание из могилы заживо погребённого или, скажем, свежезахороненного трупа может быть связано с различными причинами. Например, участок земли, на котором вырыта могила, продан другому человеку, а «бесхозный» труп отвезут на катафалке и сожгут в печи.

Эта затея может быть также связана с желанием осквернителей могил извлечь здоровые органы усопшего для дальнейшей продажи или выдернуть его золотые зубы. Или же кто-то, не справившись со своим врагом при жизни, таким образом пытается отомстить его безжизненному телу... Однако не исключается также рассказ могильщика про альбиносов — возможно, он где-то слышал нечто подобное, но не вник в суть.

Также эта неприятная процедура может быть связана с проведением научных исследований для обнаружения в человеческом мозге «третьего глаза» — органа прозорливости.

Автор мог бы вспомнить или выдумать и прочие подобные причины, однако ни одна из этих версий не представляет особой важности для дальнейшего развития сюжета. Для автора важно проанализировать состояние заживо погребённого человека при пробуждении, ход его мыслей и умозаключений после «воскрешения», цель которых — выявить своих недоброжелателей, заживо похоронивших его.

Глава 4 ИСЧЕЗНУВШИЙ ГАРАЖ

Дворник Дадаш поспешно вошёл в дом и прямо с порога крикнул:

— Жена, быстро завари чай! Такое тебе расскажу, что волосы дыбом встанут.

Пока Кичикханым копошилась у плиты, Дадаш, не выдержав, вошёл в кухню:

— Помнишь гараж во дворе рядом с туалетом?

— А разве там есть гараж? — удивлённо спросила жена.

— Есть, рядом с туалетом, с другой стороны. Я тоже увидел его впервые — со двора его не видно.

— Ну, есть так есть, что дальше?

— Да послушай ты... Наш сосед сверху...

— Да, и что?

— Сегодня приехал на своей машине и остановился возле гаража.

— А разве у него есть машина?

— Оказывается, есть.

— И что?

— В общем, он вышел из машины, отворил гараж. А я в это время как раз подметал тот участок. Краем глаза взглянул внутрь гаража — и что я увидел, как ты думаешь?

— А что ты увидел?...

Дадаш глотнул чаю:

— Я увидел...

— Ну что, что? Говори уже, не томи!

— Я увидел, что внутри гаража, в углу стоят различные аппараты. Таких аппаратов я нигде не видел — даже в фильмах. То ли бинокли, то ли прожекторы — увеличительные стёкла, как их там...

— Какие стёкла?

— Ну, которыми учёные пользуются...

— Микроскопы, что ли?

— Что? Ну, которыми звёзды изучают...

— Телескопы, что ли?.. Ну, и что?

— И везде висели странные зеркала — мелкие, крупные...

— Скажешь тоже!.. Зеркало — оно и в Африке зеркало.

— Да погоди ты, не перебивай. — Дадаш глотнул чаю. — Зеркала обвешаны различными амулетами от сглаза. Помнишь, когда мы купили телевизор, повесили над ним такой же амулет?

— Наверное он повесил их, чтобы уберечь от сглаза свою машину. А машина заграничная?

— Да чёрт её знает, машина как машина... очень уж я в них разбираюсь... Но это всё цветочки, а ягодки впереди.

— Ну говори уже, довольно тянуть канитель! Пока слово скажешь, всю душу вымотаешь...

— Ты лучше сядь, а то упадёшь...

— ...

— Короче говоря, он вытащил из машины мешок и развязал его — из мешка высыпали штук пятьдесят мышей и вбежали в гараж.

— Да ты что? — Кичикханым действительно чуть не упала от изумления. — Что ты такое говоришь? Он что, сумасшедший?

Дадаш получал удовольствие от реакции жены.

— Представь себе... Маленькие мышкы...

— И что дальше?

— Дальше я уже не видел, он быстро запер гараж.

— Послушай, — сказала Кичикханым, — может, сообщишь органам? А вдруг он шпион? Вздумал уничтожить нас руками этих мышей?

— Что ты такое говоришь? Где ты у мышей виде-ла руки?

— Ну, пусть будет лапами мышей... Может, этот негодяй собирается заразить здесь всех соседей какими-то болезнями?

— И что ты предлагаешь? Что нам теперь делать? Может, ты права и он действительно хочет отравить нас посредством этих грызунов. Иначе зачем ему столько мышей?

— К тому же, откуда он их собрал в таком количестве? Нет, ты должен обязательно сообщить об этом вышестоящим органам.

— Сегодня уже поздно, завтра я пойду куда следует и доложу...

Всю ночь супругам снились мыши — они ворвались через окно, заполонили весь дом и обнюхивали Дадаша с женой.

Почувствовав на щеке когти мышей (разумеется, во сне), Кичикханым с криком вскочила с постели.

— Встань поскорее, умоляю тебя! Быстро иди, сообщи куда следует — иначе с этими мышами нам житья не будет...

Поспешно одевшись, Дадаш, даже не позавтракав, вышел во двор. Как назло, во дворе ему встретился хозяин злосчастного гаража. Он так внимательно глядел на дворника, словно видел его впервые. Неожиданно хозяин гаража поспешно повернулся и ушёл, не обратив внимания на приветствие соседа.

Вспомнив, что вышел из дома не позавтракав, Дадаш вернулся обратно домой.

— Ну что, ходил? — спросила Кичикханым.

— Куда ходил?

— Ты же собирался сходить в вышестоящие органы...

— Какие органы?

— Ты же сам вчера сказал, что пойдёшь и обо всём доложишь...

— О чём доложу? Ты что, жена, с ума сошла?

— Это ты с ума сошёл! Ты должен был пойти и сообщить о мышах...

— О каких мышах? Что ты такое говоришь?

— Ты что, издеваешься? Ты вчера явился и сообщил, что наш сосед сверху у себя в гараже держит мышей. Мне всю ночь эти мыши снились... В кошмарном сне...

— Жена, у тебя, кажется, с головой не всё в порядке... Тебе лечиться надо!

— Это тебе лечиться надо! Это ты вчера наплёл вздор о каких-то мышах, которые высыпались из мешка...

Дадаш положил ладонь на лоб жены:

— Вроде жара нет... Чего ты тогда бредишь?

— С ума меня решил свести? Ты же вчера говорил, что в соседском гараже...

— В каком гараже?

— Рядом с туалетом...

— А разве там есть гараж?

Глава 5 ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ И ТРИ ЧАСА ПОСЛЕ МОИХ ПОХОРОН

Я метался в саване, пытаюсь освободиться, и кричал что есть мочи:

— Эй, кто-нибудь! Помогите, вытащите меня отсюда!

Вскоре я услышал чьи-то приближающиеся шаги.

— Скорей, развяжи меня, вытащи отсюда!

Я почувствовал, что кто-то тянет меня за саван, пытается освободить меня, открывает моё лицо.

Свежее дуновение прохладного ветерка прошло по моему лицу. В темноте глаза ничего не разбирали, лишь только чувствовался запах перегара, какой бывает от дешевой водки, да еще непонятный сладковатый аромат.

— Развяжи меня, быстро!

Послышался хриплый голос:

— Потерпи, развязываю... Слушай, приятель, честно говоря, никакой ты не альбинос...

После того, как я немного освободился из савана, я чувствовал непреодолимое желание хорошенько потянуться. С другой стороны, меня изумляло то, что мой спаситель — кем бы он ни был — ничуть не удивлён моему воскрешению.

— Вытащи меня отсюда!

— Руку давай!

Он схватил меня за руку, стал вытягивать из могилы. Его рука была грубой, мозолистой, очень сильной. Последовавшие вслед за этим его слова прозвучали для такого момента и такого места, мягко говоря, странновато:

— Добро пожаловать!

— Ты кто?

— Конь в пальто... Тебе-то что?

Я заметил лежавшую в стороне лопату.

— Могильщик?

— Вроде да.

— А моё воскрешение тебя не удивило?

— А чему мне удивляться? Не ты первый, не ты последний...

Запах водки и сладковатый аромат — то ли табака, то ли махорки — при более близком общении с ним стал ощущаться ещё сильнее, и меня затошнило.

— А когда меня похоронили? — только услышав свой вопрос, я тут же осознал, насколько абсурдно он звучит.

— Кажется, в субботу, — ответил он, затем, вспомнив, уже более уверенно добавил: — да, точно, три дня тому назад.

— А как они могли похоронить живого человека?

— Ну, так случилось, бывает...

— Значит, говоришь, что я не первый, кого ты видел воскресшим?

— Да таких воскресших, как ты, пруд пруди...

Я лежал в наполовину раскрывшемся саване в чём мать родила. От смущения мне пришлось укрыться этим ненавистным саваном.

— Раздевайся, — сказал я ему.

Могильщика не удивили и эти слова. Не промолвив ни слова, он снял брюки и рубашку — раздевался настолько спокойно, словно это было в порядке вещей, будто он каждый день дарил свою одежду воскресшим мертвецам. Мои глаза постепенно привыкали к темноте.

Давно не стиранный, ситцевый рубашка задубела от многократно просохшего пота. Подошва его пыльной, грязной обуви раскрылась, и были видны острия мелких гвоздей, напоминающие оскал крокодила. Манжеты его латаных брюк были заправлены в носки, брюки воняли мочой. Все эти запахи, смешиваясь с запахом сырости, исходящим из могилы, вызывали у меня сильную тошноту, меня едва не вывернуло наизнанку, но я кое-как взял себя в руки. Всё происходящее казалось мне кошмарным сном.

Но передо мной в одних трусах стоял живой человек, от него исходило зловоние, он пах псиной, и, как бы там ни было, этот человек был моим спасителем.

— Ты ещё здесь? — спросил я. — Подожди меня, через пару часов я принесу тебе новую одежду.

Он неожиданно встрепнулся:

— Нет, нет! Я сейчас же уйду отсюда. А то придёт Шрам, узнает, что ты ушёл, и тогда мне несдобровать... Ты академик? — вдруг задал он неожиданный вопрос.

— Нет.

— Профессор?

— Да нет же, с чего ты взял?

— Не знаю, с виду на учёного смахиваешь...

— Интересный ты человек, — сказал я. — Ты спас меня, я твой должник. А как мне тебя найти?

— Кто ищет, тот найдёт, — ответил могильщик. Взяв стакан, в котором осталось немного водки, он протянул его мне: — Может, выпьешь?

— Нет, ведь уже три дня, как у меня во рту ни маковой росинки. Боюсь, стошнит...

— Ну, как хочешь. Я подумал, может, выпьешь, отметишь своё второе появление на свет.

Он выпил водку до дна.

— Ёфу ты, гадость какая! — сказал он, и вскоре послышался храп.

Опустив голову на грудь, мужчина заснул. Жаль, я хотел много чего спросить у него... Внезапно храп прекратился, и могильщик, не открывая глаз, спросил:

— Уходишь?

— Да, — ответил я, — я очень благодарен тебе, ты вернул меня с того света.

Не раскрывая глаз, он начал философствовать, ни дать ни взять — могильщик из «Гамлета»:

— Тот свет, этот свет... думаешь, такая большая разница? Там мертвецы — как живые, а здесь живые — как мертвецы.

— Прощай, — сказал я. — Возможно, мы ещё когда-нибудь увидимся, — и продолжил в его манере: — либо на этом свете, либо на том...

— Дай бог, — ответил он.

Мне казалось, когда я полетел с вершины вниз и камнем ударился оземь, мой нос сплющился, провалился меж щек, лицо стало плоским, как блин. Теперь я пощупал лицо — всё было на месте, никакой сплюсненности, никакого блина.

Шагая по узкой тропинке между могилами, я вышел во двор. Всю жизнь я прожил в Баку, но в этих местах очутился впервые. Однако почему-то эти узкие переулки казались мне знакомыми — складывалось ощущение, будто я не только когда-то ходил по ним, но и жил тут долгое время.

Глава 6

CHERCHEZ LA FEMME

Ещё со студенческих времён Ахлиман не любил общаться со сверстниками. Возможно, причиной тому служили душевные раны, полученные в средней

школе. Постоянные страхи и унижения, пережитые им дома и в школе, породили у него комплекс неполноценности — он избегал людей, стал замкнутым. В студенческие годы эти черты стали еще больше доминировать в его характере. Среди однокурсников он смущался, чувствовал себя некомфортно, не в своей тарелке.

Утешением для него было изречение Мовланы, который говорил, что наука познаётся посредством слов, искусство — посредством души, а одиночество ощущается в присутствии людей.

Среди своих товарищей, любящих веселиться, смеяться и шутить, он создавал впечатление хмурого затворника, а общения с однокурсниками он и вовсе избегал. Порой его серьёзно раздражали смелые весельчаки, позволявшие себе рискованные шутки с девушками. Словесные флирты, нередко выходившие за рамки приличия (возможно, за этими словесными флиртами скрывались страстные заигрывания), вызывали у Ахлимана даже депрессию и отчаяние. Его однокурсники неслестно отзывались о девушках, выставляя их в дурном свете. Некоторые из ребят сплетничали о близких отношениях знакомой всем девушки с каким-то парнем или даже с пожилым мужчиной, другие с пеной у рта взахлеб хвастались своими интимными связями с женщинами. Ахлиману претили подобные разговоры, но он был вынужден слушать их, не затыкать же ему было уши. Юноши не только обсуждали своих однокурсниц, но и довольно вольно разглаговольствовали на тему сексуальных достоинств студенток старших курсов и даже молодых преподавательниц. Поведение девушек в постели излагалось с мельчайшими и самыми красочными подробностями. Размеры интимных частей тела знакомых женщин, моменты её экстаза и оргазма, эрогенные зоны, количество сексуальных партнёров — всё это было основной темой бескончаемых разговоров в студенческой среде. И каждый из этих невоздержанных на язык юнцов выставлял себя в роли героя-любовника, полового гиганта — количеством ночей и совокуплений со страстными любовницами выражалось фантастическими числами. О невразумительности и фантастичности этих показателей Ахлиман узнает только в далёком будущем, но до того момента его сексуальный опыт был равен нулю, все эти юношеские байки казались ему чистой правдой, и он жалел о том, что обделён такими способностями. Из этих разговоров он узнавал, что в моменты интимной близости некоторые женщины стонут, иные пыхтят, потеют, бывает, декламируют стихи или поют песни, а иной раз — кричат так громко, что хоть уши затыкай. С возрастом некоторые женщины становятся ненасытными в сексе, требуют все больше и больше соитий. И каждый из этих болтливых юнцов считал себя более опытным донжуаном, чем остальные. А наиболее излюбленной подробностью у них обычно была одна — насколько сильно и высоко стоят или, напротив, вяло свисают груди у той или иной женщины.

Половые акты перед зеркалом или в постели при ярком свете, «амур де труа»¹... Эти разговоры, которые будто нарочно велись при Ахлимане, возможно, с намерениями жестоко поиздеваться над ним, лишали его ночного сна. Он метался в постели от гнетущей безысходности, метался и мучился от неумело представляемых в воображении эротических сцен, возбуждение охватывало его молодое, здоровое тело, и ничего нельзя было с этим поделаться. Он пытался забыть свои эротические сны и фантазии, отвлечься от навязчивых мыслей за чтением книг на темы, далёкие от любовных. Нередко начиная читать книгу при свете ночника, он завершал её чтение на рассвете, с лучами восходящего солнца. Сверстники, зная о его пристрастиях и комплексах, издевались над ним при малейшей возможности.

— Книги никуда не убегут, — твердили они в один голос.

— Будешь читать, когда состаришься.

— Прелести жизни кроются промеж женских ног. Так вот!

Но большинство однокурсников, которые в обычное время смотрели на Ахлимана свысока и подтрунивали над ним, в преддверии экзаменов нуждались в его помощи. Они хорошо знали, что он начитан, грамотен, что он отличник. Сокурсник Ахлимана Сади, которого он подготовил к экзаменам лучше, чем преподаватели, как-то пообещал ему:

— Если сдадим экзамен по философии без проблем, у меня для тебя будет шикарный сюрприз...

Ахлиман так усердно готовил Сади к экзамену, так доходчиво объяснял предмет, что тот получил «отлично».

— Я всегда сдерживаю обещания, — сказал Сади. — Завтра вечером приезжай ко мне. Родители на даче. Я приготовил тебе такой сюрприз — на всю жизнь запомнишь. Но обязательно побрейся, оденься опрятно. Вот, возьми этот одеколон, надушись.

На следующий день, ровно в восемь часов вечера, он приехал к Сади домой, в пятый микрорайон. На столе стояла бутылка шампанского и ваза с фруктами. Едва они уселись за стол, как открылась дверь соседней комнаты, и к ним подошла девушка двадцати трёх — двадцати четырёх лет, в жёлтом платье с вызывающе открытыми плечами. Из-под её прозрачного платья было отчётливо видно бикини.

— Ну, узрели все твои тайные прелести, твои бикини на мякине! — ослабившись, сказал ей Сади. — Теперь выпьем за твоё здоровье!

Осушив бокалы, они выпили ещё за Сади и Ахлимана. Сади включил магнитофон. Полилась тихая, медленная танцевальная музыка. Девушка встала с места и схватила Ахлимана за руку:

— Потанцуем?

Ахлиман танцевал плохо, но отказать не решился; встал с места и робко взял девушку за талию.

Сади говорил по телефону.

— Хорошо, хорошо, не сердись, сейчас привезу, — сказал он, и, повесив трубку, обратился к танцующей паре: — Чёрт возьми, я совсем забыл! Нужно отвезти на дачу лекарство для отца. Если я задержусь, когда будете уходить, выключите свет и захлопните дверь.

Едва Сади вышел из квартиры, как девушка, обняв Ахлимана, поцеловала его в засос. Разлепив языком его губы, она принялась лизать ему язык. Ахлимана как током ударило. Её рука потянулась к ширинке его брюк.

Всё, что происходило потом, казалось Ахлиману сладким сном. Он даже не помнил, как они прошли в другую комнату, разделись и легли в постель... Позднее он вспоминал эти моменты как в тумане и нередко даже терялся в сомнениях — неужели всё это произошло в действительности?

Своими опытными руками, губами и гибким телом девушка поощряла и подбадривала Ахлимана и беспрерывно стонала: «да, да...»

Затем настал пик удовольствия — одновременный оргазм и последовавшее за ним расслабление. Ахлиман, словно одурманенный, опустошенный, провалился в тёмную пропасть сна.

Проснувшись утром, он не застал девушку — она тихо ушла, даже не разбудив его.

Внезапно Ахлиман прослезился и чуть не разрыдался этой ночью, в свои двадцать два года он наконец-то стал мужчиной. Но на душе у него словно кошки скребли: а вдруг это коварный розыгрыш? Может, эту девушку хотят выдать за него замуж? Может, она забеременеет и начнёт шантажировать его? Или куда хуже, заразит его неприличной болезнью... Единственное, что он помнил из той ночи, было удовольствие вперемешку с болью, но лицо девушки ему не запомнилось. Он не узнал даже её имени.

А почему она не представилась, когда знакомилась? Наверняка это тоже своего рода конспирация... Ни имени, ни телефона, ни адреса... Её словно и вовсе не было — Ахлиману она лишь померещилась. Всё это случилось под воздействием шампанского и, возможно, разведенного в нем какого-то лекарства — это было не наяву, а... галлюцинации, игра воображения. Но ведь мятый матрац, пятна на простыне — факты, всё было реально... И теперь именно в этой реальности Ахлиману нужно было встать с постели, умыться, одеться...

Не успел он войти в двери института, как Сади с улыбкой встретил его у входа.

— Как ты, старина? — спросил он. — Ну что, доволен? Как видишь, я слов на ветер не бросаю.

Ахлиман покраснел; ему не хотелось говорить, рассказывать, обсуждать произошедшее.

Однако ему казалось, что события прошлой ночи уже известны всем, и теперь и студенты, и преподаватели относятся к нему по-другому. Он подозрительно оглядывался и замечал, что кто-то смотрел на него с иронией, кто-то с упреком, а некоторые с ува-

¹ Любовь втроём (фр.).

жением и даже с завистью... Вполне возможно, что все это ему только казалось.

Нет, видимо, все-таки он не ошибался в своих догадках. Сокурсник Фируз, обычно избегавший его, на этот раз подошёл к нему и, хитро подмигнув, страстно шепнул ему на ухо:

— Да-а... да-а... — и расхохотался.

Ахлиман вздрогнул. Значит... Значит, что? Он даже думать об этом не хотел. Наконец, не сдержавшись, он подошёл к Сади и отвёл его в сторону:

— Та девушка... — Едва он начал говорить, как Сади расплылся в улыбке.

— Что, понравилась? Хочешь ещё попробовать?

— Нет, — ответил Ахлиман и тут же осознал, что его «нет» может быть истолковано по-разному. — Ты говорил об этом Фирузу?

— Фирузу? Нет, а что?

— Фируз знает эту девушку?

— Да кто же её не знает...

После недолгого колебания Ахлиман спросил:

— У тебя с ней что-то было?

— А зачем тебе? — рассмеялся Сади. — Влюбился, что ли? Много будешь знать — скоро состаришься. Послушай меня, живи в своё удовольствие. Если захочешь, я ещё раз сведу вас. Только уже не у нас, а в другом месте — родители завтра возвращаются с дачи, — и вдруг, поменяв тон, как умудренный годами старец, принялся читать наставления: — Жизнь даётся нам всего лишь раз, живи и радуйся и не грузи себя ненужными мыслями. Ни о чём не думай.

С тех пор Ахлиман дал себе слово, что впредь никогда не будет иметь близких отношений с женщинами, а от своих желаний и грешных мыслей будет спасаться с помощью книг.

Летели месяцы. Сдерживать своё обещание становилось всё труднее. Наслаждение той ночи крепко овладело всей памятью его тела. В его жизни появилось и несколько других женщин — жениться он не собирался, так как относился ко всем женщинам потребительски, считал их всех чуть ли не продажными, проститутками. От женщин, с которыми он сношался на протяжении недели или десяти дней, он ничего не требовал, кроме плотских утех — ни любви, ни ласки, ни верности... Узнай он о том, что женщина, которая ещё вчера была в его объятиях, сегодня умерла, он бы и бровью не повел. Однако странно, что несчастья преследовали каждую из женщин, вступающую в связь с Ахлиманом. У замужней женщины, прожившей с Ахлиманом десять дней, погиб в автокатастрофе пятилетний ребёнок.

— Это всё карма, — рыдала она, — я расплачиваюсь за свои грехи!

Другая женщина, с которой Ахлиман прожил дольше остальных — целых полмесяца, заболела раком и спустя два месяца скончалась. Третья, женщина-бухгалтер, попала на мошенничестве, схлопотала пятилетний срок.

Четвёртая женщина... Нет, четвёртой женщины не было.

Точнее, она была, но она не стала женщиной Ахлимана... Трагические судьбы женщин, занимавшихся любовью с Ахлиманом, не на шутку тревожили и пугали его. Зная, что все эти беды произошли с женщинами после расставания с ним, он больше не желал подвергать еще кого-то несчастью.

Но, как говорится, неисповедимы пути господни — видать, ангел любви, которого древние греки величали Купидоном, не дремал.

Если действительно возможна любовь с первого взгляда, то, впервые увидев Рубабу, Ахлиман решил, что она создана для него и будет его женщиной. Они познакомились на выставке Парвиза. Рубаба была родственницей художника, а тот написал портрет Ахлимана — это был странный на первый взгляд портрет: смотрящего притягивали как магнитом его большие, очень выразительные глаза. Художник и познакомил их возле своего произведения.

— Рубаба-ханым — моя двоюродная сестра, — сказал он. — А Ахлиман — мой натурщик.

— Красивый портрет, — промолвила Рубаба, — хотя Парвиз передал выражение ваших глаз не совсем удачно.

— Ну вот, с такими друзьями-родными и враги не нужны, — отшутился Парвиз, — а какое именно выражение его глаз я не смог передать?

Глядя прямо в глаза Ахлимана — живого, не на портрете, Рубаба ответила:

— У него страшные глаза... В них одновременно скрываются и тайна, и жестокость, и опасность...

Не вникая в её слова, Ахлиман как замороженный смотрел на шею Рубабы; собрав волосы на макушке, она полностью обнажила шею. «Лебяжья шея» — именно это выражение вспомнилось сейчас Ахлиману.

Из-под глубокого декольте зелёного платья просились наружу её большие груди. Спустя много лет после своего первого сексуального опыта, Ахлиман вновь испытал страсть к женщине, однако на этот раз он чувствовал потребность в ласках, в настоящей, глубокой любви. Он раздевал Рубабу глазами, мысленно его руки гладили её шею, плечи, груди, ласкали её полное, ухоженное тело, затем скользили по гладкой спине вниз; раздев догола, он укладывал её в своём воображении в постель, страстно целовал шею. Он теперь даже не вспоминал свой первый неудачный опыт интимной близости, который ему как мужчине мало что дал, а руководствовался гораздо более поздними своими похождениями, навыками в сексе, приобретёнными в последующие годы. И, занимаясь в своих мечтах с ней любовью, он смотрел прямо в большие серые глаза Рубабы, и в этих глазах, в её раскрытых, сдерживающих крик губах он видел боль — боль от страстных мгновений, которые вели их обоих к вершине наслаждения.

В гуле толпы, собравшейся на выставке (к тому же где-то играл квартет), он слышал лишь воображаемые стоны и страстный шёпот Рубабы.

Художник, окружённый корреспондентами, давал интервью. Пользуясь моментом, Ахлиман решил попросить у Рубабы телефон. Не колеблясь ни одного мгновенья, она протянула Ахлиману визитку.

С тех пор они стали созваниваться. Он ничего не знал о Рубабе, да и знать не хотел. Он не знал, замужем она или нет, разведена, а может, овдовела? В любом случае, они могли созваниваться в любое время и беспрепятственно беседовать часами. Беседовали они обо всём: о книгах, театральных постановках, музыкальных и литературных произведениях, фильмах. Ахлиман расстраивался и немного ревновал, когда Рубаба начинала хвалить какого-то композитора или актёра; он сознавал, что слава этого композитора или актёра ему никак не светит. Его ревность была вызвана не столько завистью, сколько мучениями от сознания того, что ему никогда не удастся достичь вершин славы в угоду любимой женщине, и ревность эта побуждала Ахлимана отомстить своей судьбе, своей участи за такую обделённость.

Они устроились на работу в одном и том же научном учреждении, чтобы быть ещё ближе друг к другу.

Как-то Рубаба, рассказывая ему о нашумевшем фильме, между прочим заметила, что этот фильм уже смотрели многие, а она пока не видела.

— Если хотите, можем сходить посмотреть, — предложил Ахлиман.

Они назначили встречу на завтрашний вечер возле кинотеатра «Низами». Прибыв раньше на полчаса, Ахлиман купил в кассе два билета в последний ряд: у него было особое, тайное намерение.

Рубаба пришла точно в назначенное время. Аромат её духов шёл впереди неё, на этот аромат Ахлиман и обернулся.

Войдя в зал, они заняли свои места в заднем ряду. В салоне погас свет, и Ахлиман, взяв руку Рубабы в свою, начал ласкать указательным пальцем её ладонь. Женщина не стала убирать руки. В какой-то момент Рубаба положила голову на плечо Ахлимана. Ахлиман почувствовал, что она поощряет его к началу интимной связи. Когда свет экрана померкнул от темных кадров фильма и в зале воцарилась крошечная тьма, Ахлиман положил руку на колено Рубабы... Внезапно Рубаба, словно очнувшись, оттолкнула руку Ахлимана и, резко встав с места, быстрыми шагами покинула зал.

Торопливо поднявшись, Ахлиман поспешил за ней... Рубаба направлялась к лестнице.

— Рубаба, Рубаба-ханым, простите меня, ради бога! — воскликнул Ахлиман.

Но женщина, не оглядываясь, быстрыми шагами спускалась по лестнице.

Ахлиман, стоя как истукан, смотрел на её ровную, гладкую спину, выпирающие круглые бёдра, полненькие ножки, туфли на высоких каблучках, серdito стучащих по мраморным ступеням...

Вдруг Рубаба споткнулась, упала с лестницы.

Ахлиман и стоящие у дверей билетёрши поспешили к ней. Рубаба стонала от боли — как оказалось, у неё была сломана нога.

В больнице Рубаба пролежала в гипсе целых три месяца...

Глава 7 В ПОИСКАХ ДИРИ-БАБЫ

«Всевышний вселил в души людей определённую тайну. Эта тайна кроется в человеческой душе, подобно огню, скрывающемуся в камне или железе. И только тогда, когда железо или камень ударяется об огниво, появляются искры».

Аль Газали

В студенческие годы я дружил только с двумя людьми — нахичеванцем Мохсуном и шекинцем Зейналом. Мы легко нашли общий язык и сразу подружились потому, что они своим характером и воспитанием были близки мне и отличались от других парней — никогда не позволяли себе дурного поведения по отношению к женщинам и избегали нецензурных выражений в их присутствии. Друзья были — не разлей вода, хотя эти двое были не прочь временами «подкалывать» друг друга.

— ЧАЙ, дорогой мой, ЧАЙ, — говорил Зейнал Мохсуну. — Почему ты говоришь «цай»?

— А! Понял, цай — это как чапуста?

Зейнал заливался смехом и подмигивал мне:

— Значит, букву «ч» он берёт для слова «чапуста»...

— Кого ты говорить учишь? — парировал Мохсун. — Я как-то был в Шеки, и местный поэт читал по радио стихи:

Даглара гар ягытды,
Кюляк гялди, дагытды¹.

Ха-ха-ха! Ну, теперь что скажешь, шекинец?

Но больше всего Мохсун гордился достопримечательностями Нахичевана:

— История человечества начинается с Нахичевана — а вы не знали? Ноев ковчег причалил к горе Гемигая².

— А как ковчег смог добраться до горы? — спросил Зейнал, прикидываясь простачком.

— Я знал, что ты неуч, но не до такой степени, — отшутился Мохсун. — В те времена гора находилась посреди моря, там даже среди скал можно найти ракушки. Если сумеете взобраться туда, то увидите наскальные изображения, связанные с космосом.

— Может, ты тоже явился на землю из космоса? — подтрунивал Зейнал.

¹ Дословно: «Горы покрылись снегом, но ветер дул его с них». Иронизирует над неправильным произношением.

² Гемигая — гора в Нахичеванской АР, на территории Орду-бадского района. Дословно — «Корабль-гора».

Не обращая внимания на шутки друга, Мохсун продолжил:

— Сейчас там могила Ноя. Когда-то художник Бахруз Кенгерли изобразил на своей картине эту могилу. Кроме того, там находится Асхаби-Кяхф¹. Об этом святилище говорится даже в священном Коране.

— Это не Асхаби-Кяхф, а особый кайф, — гнул свою линию Зейнал.

В очередной раз проигнорировав шутку друга, Мохсун начал рассказывать о местности под названием Хымрыд:

— В Хымрыде бьёт фонтан, по которому хоть часы сверяй. Каждый час, минута в минуту, из недр земли извергается вода. Это тебе не ваш Союгбулаг², Зейнал. Такое ощущение, что под землей кто-то сидит и регулирует почасовое извержение воды. Скажешь, не чудо?

Рассказы Мохсуна настолько заинтересовали, почти околдовали меня, что хотелось при первой же возможности посетить эту легендарную местность. Честно говоря, больше Хымрыда и Гямигая меня привлекал Дири-Баба, о котором безудержно рассказывал Мохсун. В Маразе³ я видел гробницу Дири-Бабы.

О Дири-Бабе я слышал легенду: как-то этот правверный старец умер, и его похоронили. На следующий день, навещая его могилу, люди увидели, что Дири-Баба ожил и молится в гробнице. С тех пор его назвали Дири-Баба⁴. Схожую притчу я слышал и в Дербенте: там находится кладбище Гырхлар. Гырхлар⁵ — это сорок обезглавленных исламских шахидов⁶. Люди погрузили их тела в телеги и отвезли на кладбище, но по дороге увидели, что все эти сорок всадников скачут перед телегами. Когда-то меня очень интересовали темы о загробной жизни и воскрешении мертвецов, и я пытался объяснить себе эти легенды не как небывлицы, а как реальные события. Рассказы о Дири-Бабе привлекли меня, прежде всего, из-за его имени. Кем был этот старец, почему его звали Дири? Дело в том, что Мохсун сам не видел его — только лишь слышал рассказы о нём.

По легенде, он был правверным старцем. Ему было сто пятьдесят лет — как говорится, шаха Надира видел на троне, а Гаджара — в пелёнках, прожил аредовы веки⁷.

Мохсун признавался, что рассказы о Дири-Бабе он слышал в основном от отца и деда — хотя они и

¹ Асхаби-Кяхф — природная пещера — святилище в Нахичеване. Переводится с арабского как «пещерные люди».

² Союг-булаг — дословно: холодный родник (*азерб.*). Название туристического комплекса в г. Шеки.

³ Мараз — административный центр Гобустанского района Азербайджана.

⁴ Дири-Баба — дословно: живой старец (*азерб.*).

⁵ Гырхлар — дословно: сорок человек (*азерб.*).

⁶ Шахиды — люди, погибшие во имя веры.

⁷ Аредовы веки — фразеологический оборот, относящийся к кому-то, прожившему неестественно долго, в Библии упоминается об Иареде, прожившем 962 года.

сами никогда не видели его. По преданию, он жил в одиночестве в келье, в развалинах древнего города под названием Хараба Гилан. Как он жил, чем питался — никто не знал. Только один человек, которому было далеко за девяносто, раз в месяц посещал Дири-Бабу и передавал народу его советы и наставления. Некоторые считали, что такого человека и вовсе не существует — это всё сказки, кто-то выдумал их и распространил среди людей.

Я сказал Мохсуну, что, если мне когда-то удастся побывать в Нахичеване, я обязательно встречу с Дири-Бабой.

— Разумеется, — сразу же стал ёрничать Зейнал, — Дири-Баба сидит уже полтора года лет и ждёт тебя.

Но, как ни странно, Мохсун отнёсся к моему желанию вполне серьёзно. По счастливой случайности, в рамках соглашения об обмене опытом между вузами, меня направили в Нахичеван, чтобы я там сделал доклад на студенческом симпозиуме. Мохсун сначала не хотел ехать со мной.

— Ничего знать не хочу! — категорически возразил я. — Уже в который раз ты приглашаешь меня в гости в Нахичеван. Если сейчас не поедешь со мной, то всю жизнь буду звать тебя Гурбанали-беком⁸.

После недолгих кокетничаний Мохсун наконец согласился. Зейнала упрашивать не пришлось.

Короче говоря, в один из погожих сентябрьских дней мы полетели в Нахичеван. Действительно, на правах хозяина Мохсун оказался очень гостеприимным. Выяснилось, что у него бесчисленное количество родственников, и в каждом доме нас встречали с почестями, щедро угощали, кормили как на убой... Я восхищался видами неповторимой природы этого края, лесами Халхал, озером Батабат, ордубадскими садами, добродушiem нехрамцев... Впервые в жизни я отведал арзуман-кюфтеси⁹, луковые голубцы, медовую яичницу... Но все мои мысли были о Дири-Бабе — во что бы то ни стало я должен был увидеть его. Я настолько надоел Мохсуну с этой просьбой, что наверняка он жалел о том, что рассказал мне о Дири-Бабе. Но я был непреклонен: раз обещал — выполняй. Подобные мистические истории всегда притягивали меня, вызывали у меня какое-то странное, необъяснимое состояние. Это превратилось в манию — я обязательно должен был достичь задуманного. По моей инициативе мы, наводя справки, наконец нашли заветного девяностолетнего старика.

В его внешности, поведении и речи не было ничего необычного. В молодости он работал водителем, двадцать лет, как на пенсии. Было ему вовсе не девяносто лет, а лишь восемьдесят два.

⁸ Гурбанали-бек — герой одноимённого рассказа выдающегося азербайджанского писателя Джалила Мамедгулузаде (1866–1932), образ хвастливого и угодливого помещика, олицетворение раболепных льстецов, не умеющих сдерживать свои обещания.

⁹ Арзуман-кюфтеси — азербайджанское национальное блюдо, крупные мясные тефтели, приготавливаемые в основном в Нахичеване.

Странность его заключалась в том, что после нашего знакомства он сразу же стал внимательно, изучающе рассматривать меня.

— Кажется, я где-то тебя видел, — сказал он.

Однако в разговоре выяснилось, что за всю свою жизнь он ни разу не выезжал за пределы Нахичевана, а я приехал сюда впервые в жизни. Где же он мог меня видеть?

— У тебя при себе фотография есть? — вдруг спросил он, повергнув меня в недоумение.

— Только та, что в паспорте.

— Там, за углом, работает фотограф Мурсал — дай ему, пускай увеличит.

Даже не поинтересовавшись, для чего это нужно, я послушно отнёс к фотографу и увеличил фото.

Старик забрал фотографию и, внимательно её рассмотрев, положил в карман, не сказав ни слова, ничего не объясняя и не обещая.

До возвращения в Баку оставалось два дня. Все мои надежды увидеть Дири-Бабу становились все более нереальными.

В последний день перед возвращением я сидел во дворе дома Мохсуна, где был разбит цветник, и пил ароматный чай из самовара (Мохсун наконец-то научился правильно выговаривать слово «чай»). Вдруг в ворота постучали.

Пришел старик, который забрал у меня фотографию. Он отвёл меня в сторону и шепнул на ухо:

— Завтра я отведу тебя на поклонение Дири-Бабе — но никому об этом не говори.

— Но ведь завтра рано утром я улетаю в Баку.

— Потом улетишь! Такая возможность представляется лишь раз в жизни. И смотри не вздумай говорить об этом кому-нибудь.

— А что мне сказать Мохсуну? Как ему объяснить, почему я поменял билет, куда я еду вместе с тобой?

— Не беспокойся. Они ничего не проведают, даже не ощутят твое отсутствие.

Глава 8

А БЫЛ ЛИ ДИРИ-БАБА?

«Некоторые считают, что суфии обладают скрытой силой и даже способны одним лишь взглядом излечить человека от тяжёлого недуга или же изменить ему жизнь».

Идрис Шах, «Суфизм»

В девять часов утра я уже стоял возле мавзолея Момины-Хатын. Он сам назначил для встречи именно это место, чтобы я смог легко найти. Восьмидесятидвухлетний водитель-пенсионер ждал меня за рулём грузовика. Я был удивлён: как можно в таком возрасте управлять грузовиком.

Всю дорогу мы молчали. Я любовался прекрасными пейзажами Нахичевана, горой Иланлы, которую было видно с любой точки, скалами, созданными природой и одновременно напоминающими образцы современного абстрактного искусства, скульп-

туры модернистов, горными склонами, переливающимися всеми цветами радуги, — нельзя было не восхищаться всей этой красотой. Я был охвачен волнением от предстоящей встречи с человеком-легендой. Рассказы о Дири-Бабе вдохновляли и подстегивали мое любопытство, а с другой стороны, я почему-то опасался, боялся предстоящей встречи. В глубине души я чувствовал, что эта встреча может полностью изменить мою жизнь.

Машина ехала, трясясь и подпрыгивая на ухабистой дороге, — и с каждой тряской у меня в душе словно что-то обрывалось. Это было не напряжение тела, а предчувствие глубочайшего потрясения в моей душе.

Я увидел руины древнего обиталища. Это были дома без крыш, с треснутыми стенами, на которых жалко смотрелись дверные и оконные проемы. Возле разрушенных домов стояли заборы, из которых, как редкие старческие зубы, торчали камни. Машина остановилась возле единственного более-менее уцелевшего среди этих руин жалкого домишка. Водитель вышел из машины и жестом велел мне тоже выйти. Он молча указал на дверь — он всё показывал жестами, словно боялся подавать голос. Внезапно он вытащил из кармана чёрные солнечные очки и протянул мне. Даже не спросив, зачем это нужно, я, словно околдованный, послушался его и надел очки.

Старик-водитель остался снаружи — а я, согнув голову, по его указке вошёл в лачугу через узкую, низкую дверь. В этой лачуге, келье таинственного старца, царил полумрак, и освещала её лишь тускло горящая свеча. Я был в тёмных очках, и оттого мне почти ничего не было видно. Среди голых стен этой комнаты — если, конечно, это помещение можно было назвать комнатой — на полу была разостлана циновка. На дальнем конце циновки я с трудом заметил человека, сидящего на матрасе...

Его нельзя было назвать стариком. Словно само время, состарившись, запечатлелось на смуглом лице этого человека. Его глубокие, грустные глаза, похожие на глаза индийца, вонзались в душу человека, на которого он глядел. Его белоснежная борода и волосы создавали изумительно резкий контраст с его темным лицом.

Это и был тот самый Дири-Баба... На мгновение мне показалось, что передо мной сидит не живой человек, а статуя — и лишь выражение чёрных глаз выдавало в нём живого человека.

Он молчал. Мне показалось, что вся наша встреча пройдёт в этой гробовой тишине, и, поглядев друг на друга некоторое время, мне придётся уйти.

Однако в это время Дири-Баба, словно прочитав мои мысли, промолвил сиплым голосом, будто доносящимся из глубины веков:

— Добро пожаловать, Ормузд!

«Почему он назвал меня Ормуздом, — подумал я, — ведь меня не так зовут? Наверно, перепутал меня с кем-то...»

— Моё имя... — едва я заговорил, как он перебил меня.

— Твоё имя должно быть Ормузд, — заявил он так твердо, что я не осмелился спорить.

«Ормузд! Ну ладно, пускай будет Ормузд! А мне как к нему обращаться? Дири-Баба? Ваше Святейшество? Старик?»

Я нашёл наилучший выход.

— Дедушка, — сказал я. — В чём ваша тайна?

— Тайны ведомы лишь Аллаху, — ответил он. — Всевышний сказал Пророку: Я раскрыл тебе лишь часть наших тайн, а про остальные тайны ты никогда не узнаешь. А Пророк заявил верующим: «Я вам не говорил, что мне ведомы все тайны! Я вам раскрываю лишь то, что мне известно!»

— Как бы там ни было, ваше отшельничество должно иметь причину, — сказал я. — Какую?

Я полностью потерял представление о времени — прошло десять минут или, может быть, несколько часов. Помолчав, он задал мне вопрос, от которого я впал в шок:

— Ты слышал о Деде-Горгуде?

— Конечно, — ответил я с изумлением.

— Помнишь Циклопа?

Кто был этот человек, сидевший передо мной? Легендарный старик, являющийся кладезем бесчисленных тайн? Или, может, это сам тысячелетний Деде-Горкуд? Не дождавшись моего ответа, он задал другой вопрос:

— А кто такой Циклоп?

— А кто? — ответил я вопросом на вопрос.

— Почему он хотел покончить с собой? — спросил он, проигнорировав мой вопрос.

Я попытался вспомнить эпос «Китаби-Деде-Горгуд», который я читал в школьные годы. Кажется, в тексте был какой-то непонятный фрагмент о желании Циклопа покончить с собой. Внезапно в моём сознании словно включился свет — этот отрывок из эпоса возродился в моей памяти слово в слово.

— Ты понял, почему он хотел покончить с собой?

— Нет, не понял.

— Потому что он Циклоп!

Я опять ничего не понял.

Старик будто вновь прочёл мои мысли.

— У человека должно быть два глаза, — сказал он. — А у избранных в голове бывает и третий глаз — глаз прозорливости. Этим глазом они видят то, что не дано увидеть другим. Третий глаз находится в их черепе. А единственный глаз Циклопа находился снаружи, у него на лбу. Этим глазом он видел всю уродливость нашего мира, но беда в том, что он хотел устранить эту уродливость, победив Зло с помощью еще большего Зла. Он хотел уничтожить человечество, породившее на Земле все беды и Зло, и, добившись своего, покончить с собой, дабы не остаться в одиночестве во всём мире.

«Прекрасно, — подумал я, — стремился встретить легендарную личность, но вместо этого приходится слушать лекцию по фольклору».

— Не торопись, Ормузд. — Старик и на этот раз прочёл мои мысли. Теперь его голос раздался сза-

ди — хотя он сидел передо мной. — Я знал, что когда-нибудь ты придёшь. Я ждал тебя. В твоих глазах кроется тайна — я понял это, взглянув на твою фотографию. На фотографии можно поменять всё, кроме выражения глаз. А оно неповторимо, как отпечатки пальцев... Определённый взгляд также принадлежит лишь одному человеку, и больше никому, — на этот раз его голос звучал сбоку, будто в лачуге повсюду стояли динамики, и голос Дири-Бабы раздавался каждый раз с разных сторон. Складывалось ощущение, что говорит не легендарный старец, а сама эта тёмная келья, её стены, пол и потолок.

— В чём заключаются беды мира? — спрашивала келья.

— Откуда мне знать? В мире много бед...

— Беды мира заключаются в том, что в мире дурного глаза больше, чем доброго, дурной глаз сильнее. То добро, которое добрый глаз творит через сотни взглядов, может разрушаться одним лишь взглядом дурного глаза. Вот мы говорим: слазить, с глаз долой, для отвода глаз, глазливый, глаз — алмаз, не в бровь — а в глаз... Глаз да глаз... Почему мы так говорим? Потому что глаз — это начало всего, Ормузд! Глаз — это начало и Добра, и Зла.

— А почему ты называешь меня Ормузд, дедушка?

— А ты и есть Ормузд, хоть сам и не знаешь об этом. Человек сам создаёт самого себя и может воспитать себя как Ормузда или как Ахримана. В человеке живут они оба — и Ормузд, и Ахриман... Ты веришь в Бога? — после недолгой паузы, вдруг спросил он.

— В Бога? — Я не знал, как ответить на этот вопрос, чтобы угодить старику. Вместо меня ответил он сам:

— Верить-то ты веришь, но в то же время у тебя есть что спросить у Бога. Почему же Бог, который един и у мусульман, и у христиан, и у иудеев, допускает несправедливость, бесправие, жестокость и никак не может справиться с Дьяволом? Да, мудрецы говорят, что нужно иметь в душе такую огромную любовь к Богу, чтобы там не оставалось места для Дьявола. Но кто такой Дьявол, как он смеет хозяйничать в мире, созданном Богом? Знаешь, кто подробно ответил на этот вопрос?

— Не знаю.

— Откуда тебе знать... ведь ты всё ещё пребываешь в невежестве. На этот величайший вопрос человечества ответил наш предок Зардушт. В мире он известен под именем Заратустры. Зардушт приходится внуком пророку Ною, похороненному в этой земле, а мне — прапрадедом.

И, вновь прочитав мои мысли, он добавил:

— Нет, я не сумасшедший. Наш предок Зардушт говорит, что миром правят две силы — Добро и Зло. И человек должен сам решить — Добро или Зло ему выбрать... Даже в сегодняшнем мире Ормузд борется против Ахримана. Временами то один, то другой из них выходит победителем... В твоих глазах я уви-

дел свет Ормузда. Но ты подвергался множеству испытаний и будешь им подвергаться в дальнейшем. Ахриман всё время будет пытаться привлечь тебя к себе. Он напомнит тебе обо всех несправедливостях, оскорблениях и унижениях, пережитых тобой ещё с детства, побуждая тебя мстить за всё это. Но ты должен знать, что борьба против Зла с помощью Зла рождает ещё большее зло... Победа вызывает ненависть. Мсть — удел неудачников. Если неудачник отомстит и выйдет в этой битве победителем, то оборвать эту порочную цепь не удастся никогда. Чтобы достичь мира, необходимо отказаться от побед и поражений. Самый великий победитель — это не тот, кто победил в сражении тысячи людей, а тот, кто победил самого себя. «Он обидел меня, оскорбил, унизил». Человек, живущий с этими мыслями, всю жизнь испытывает злобу. Избавившись от этих мыслей, человек подавляет в себе ненависть, освобождает свою душу. Никогда ещё в мире ненависть не подавлялась ненавистью. Древние китайцы были мудрее — они советовали не поддерживать ни Добро, ни Зло, а оставаться таким, каким ты был ещё до появления на свет, где сражаются Добро и Зло. Согласно древней китайской философии, Добро и Зло не существуют обособленно — они единое целое.

— А как же тогда отличать добро от зла?

— По голосу своей души. Прислушайся к своей душе. Твоя душа сделает правильный выбор. Бог кроется в твоей душе. Вспомни Деде-Горгуда. «Многие невежи ищут Тебя в небесах, рыщут по земле, а Ты находишься в душе правозверных».

Дири-Баба вдруг протянул мне неизвестно как оказавшийся в его руках какой-то крупный предмет. Я взгляделся — это был амулет. Такого крупного амулета я еще не видел.

— Повесишь у себя дома. Этот амулет достался мне от Зардушта, он переходит из поколения в поколение. Этот амулет уберезит тебя от злодеяний Ахримана. А ты будешь беречь людей от самого Ахримана. В городе, куда ты вернёшься, живёт учёный, у которого находится древнейший в мире ковёр. Этот ковёр украшен узорами знаний обо всех тайнах Вселенной, о тайне начала и конца света. Ты сможешь их тоже уберечь от дурного глаза. Взойди на Асхабикяхф. Больше ни слова не скажу — сам увидишь, что произойдёт.

Я не заметил, как Дири-Баба умолк и исчез. Я весь словно окаменел. Я остался один здесь, среди голых стен, а передо мной — циновка, на ней матрас. И тусклая свеча, которая тут же потухла. Я очутился в крошечной тьме. Кое-как, на ощупь найдя дверь, я вышел наружу. Во дворе тоже было темно — ни зги не видно. Когда же наступила ночь? Неужели я пробыл здесь весь день?

Не было видно и грузовика, на котором я приехал сюда. Мне пришлось самому выбираться тёмной ночью из этого незнакомого места, где ухали совы среди разрушенных стен и мелькали страшные тени.

С того дня, с той ночи прошло много лет, но я всё ещё не могу уверенно сказать — действительно ли произошла эта встреча или она мне только померещилась? Может, я видел всё это в причудливом сне, а наяву, по-настоящему ничего и не было? Не знаю... Не уверен...

Как же мне удалось выбраться из Хараба Гилана и вернуться домой к Мохсуну? Почему приятели не спросили, где я был всё это время, и даже не удивились моему столь долгому отсутствию? Выходит, всё это — моё бредовое воображение, фантазии, заполонившие моё сознание. Ну и прекрасно, пусть будет так...

А откуда же тогда взялся этот крупный амулет, который висит на стене у меня дома? Я же его никогда, нигде не покупал...

Глава 9 ПЬЯНИЦА ИСКЕНДЕР ТОЖЕ БЫЛ ПРАВ

Приближаясь к нашему двору, я молил Бога, чтобы никто из знакомых меня не видел. Нет, я не стеснялся грязных, изношенных штанов, что были на мне. Я просто боялся, что, увидев меня, мои знакомые потеряют сознание. Ведь как-то непривычно, чтобы мертвецы разгуливали по улицам спустя три дня после похорон. С другой стороны, вряд ли кто-нибудь в это время, в вечерней темноте, мог бы узнать меня. Слава богу, ни с кем не повстречавшись, я дошёл до своего подъезда. Зашёл в лифт и нажал на кнопку третьего этажа. Набирая код квартиры — цифры 3,4,6, я внезапно увидел на дверях табличку:

ЗАКИР ЗАКИРОВ ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДДЕРЖКИ

Словно земля ушла у меня из-под ног. Кое-как взяв себя в руки, я открыл дверь. Едва успел зайти в комнату, как услышал женский крик.

При тусклом свете торшера я лишь увидел, как голая женщина, лежавшая на моём рабочем столе, столкнула с себя голого мужчину, вскочила и побежала к дверям соседней комнаты. На спине у женщины я успел заметить круглые пятна от банок.

Поспешно подобрав с пола мой халат, Закир прикрыл свою наготу.

— Ты кто? — спросил он, взглянув на меня. Кажется, он всё ещё не верил своим глазам. И вдруг, как от удара током, он, будто обессилев, прислонился спиной к стене и медленно пополз вниз.

— Эт-то вы? — промолвил он заплетающимся языком.

Его выпученные глаза застыли, как у мертвеца, и уставились в пустое пространство.

— Да, это я! — ответил я. — Шеф и научный руководитель такой неблагодарной свиньи, как ты!

Закир молчал. А что он мог сказать? Не прошло и трёх дней с моих похорон, как мой самый любимый

ученик — подлец, которому я передал чуть ли не все свои знания, присвоил мою офисную квартиру, снял с дверей табличку с моим именем и повесил свою (подлец успел-таки заказать и повесить новую табличку!). Более того, он нагло напялил на себя мой любимый халат в красную полоску.

Он занимался любовью на рабочем столе, за которым я провёл немало бессонных ночей; как будто в этой комнате не было дивана, а в соседней — кровати... Видимо, любовь на столе — это тоже своего рода забава.

Женщину я тоже узнал — хотя видел её только со спины. За пару дней до похорон я слышал, что у неё воспаление легких и ей ставили банки. Это была Рубаба. Когда-то в далёком прошлом она нравилась мне. Это была моя единственная безответная любовь. Женщина, которая когда-то не позволила мне класть руку ей на колено, оказалась попросту девкой, дрянью лёгкого поведения.

— У тебя нет ни стыда, ни совести, Закир! Хотя бы подождал, чтобы с моих похорон прошло ну не сорок, а хотя бы семь дней...

Закир неподвижно сидел на корточках, подпирая стену, — он был в прострации. Я словно говорил с пустотой.

— Значит, поэтому ты столкнул меня с третьего этажа, Закир! Чтобы присвоить мою квартиру, мою должность, моё незавершённое исследование, моё изобретение! Чтобы превратить мою квартиру в бордель, — слова застревали у меня в горле. — Детей у меня нет, я любил тебя как своего сына. Даже в могиле мне и в голову не пришло бы, что это ты столкнул меня с третьего этажа, чтобы избавиться от меня.

Побледневшее лицо Закира окаменело. Мне даже стало жаль его. Схватив со стула его брюки и рубашку, я швырнул их ему:

— Одевайся и пошёл вон отсюда! И табличку своюними с моих дверей...

Я прошёл в соседнюю комнату. Прикрыв лицо руками, Рубаба рыдала. Она была одета... в фисташково-зелёное платье — теперь уже, конечно, другое, новое, но точь-в-точь такое же, которое мне когда-то так нравилось.

Почувствовав моё присутствие, она подняла голову. Кажется, её не удивляло появление в таком диком, неопрятном виде человека, которого похоронили три дня назад; словно подобное было для неё в порядке вещей...

— Простите меня, прошу вас! — беспрерывно шептала она.

— Не проси, я не подаю! — ответил я. — Встань, убирайся отсюда!

Не промолвив ни слова, Рубаба вышла из комнаты, и через минуту я услышал, как захлопнулась входная дверь.

Я прошёл в рабочий кабинет. Закира уже не было. Я не слышал, когда он ушёл, — видимо, он тихо, бесшумно прикрыл дверь.

Глава 10 АСХАБИ-КЯХФ

Поменяв билет, я целый день гулял по городу. Посетил музеи Мирзы Джалила, Гусейна Джавида. А на следующий день дядя Мохсуна — Мадат-киши отвёз меня и Мохсуна на своих «Жигулях» на Асхаби-Кяхф. На склоне Асхаби-Кяхф у Мадат-киши была маленькая чайхана.

— Перед тем как взбираться на гору, отведай наш чай, — предложил Мадат-киши.

И вновь дымящийся самовар, грушевидные стаканы, крепкий чай с бархатным ароматом, лимон, ореховое варенье...

— Ну всё, браток, — сказал Мохсун, — взбираться на гору ты будешь один, без меня — я слишком устал, чтобы по горам лазать. Видишь вот эту тропу? Она приведёт тебя прямо к Асхаби-Кяхф. Он находится на самой вершине горы. Ты слышал легенду о Дагьюнусе?¹

— Слышал, — ответил я.

Проигнорировав мой ответ, Мохсун продолжил:

— Путешественники взобрались туда, и, утомившись, повалились спать, погрузились в глубокий сон. Проснувшись, они увидели, что от собак остались одни скелеты — позднее выяснилось, что они спали ровно триста лет. В священном Коране говорится: «Всевышний Аллах переворачивал спящих в Асхаби-Кяхф с боку на бок, чтобы земля не разбедала их плоти». Смотри, не вздумай уснуть там.

Действительно, взбираться на эту гору было нелегко. «Эх ты, — упрекал я самого себя, — тебе всего лишь двадцать пять, но уже сейчас ты взбираешься на гору с таким трудом. Что же ты будешь делать в пятьдесят?»

Мохсун настолько подробно описывал Асхаби-Кяхф, что я сразу узнал его. С четырёх сторон он был окружён скалами, вершины которых склонились друг к другу, оставив достаточно места, куда заглядывало Небо. Я чувствовал себя будто в тендире² — не из-за жары, а из-за строения пещеры. У этого места была необычная аура (возможно, это связано с легендой о Дагьюнусе). Время словно замерло здесь. Оно просто-напросто исчезло. Это место предавало забвению всю прошедшую жизнь, все увиденные доселе места. Человек сливался здесь с бесконечностью и отчётливо ощущал себя маленькой крупинкой во Вселенной. С вершины скал, склонившихся друг к другу, открывалось окно к небесам, словно прокладывая путь к вратам Всевышнего.

Я уселся на землю, чтобы отдышаться, и прислонился к скале. Мои отяжелевшие веки медленно закрывались. Внезапно сквозь сон я услышал голоса.

— Куда исчез твой гость? — Это был голос Мадата.

— Вернётся, никуда не денется, — ответил ему голос Мохсуна.

¹ Древняя легенда о правителе по имени Дагьюнус, который объявил себя богом.

² Тендир — глиняная куполообразная печь для выпечки лепёшек.

Во сне ли я слышал эти голоса, наяву ли? Но ведь я находился на вершине горы, а они — у подножья, очень далеко от меня. Более того, кроме этих, я слышал и другие голоса... Кто-то просил принести чаю, кто-то хотел рассчитаться, кто-то утверждал, что долг платежом красен.

Когда я открыл глаза, была уже ночь. Звёзды, «висящие на потолке» Асхаби-Кяхф, казались такими близкими, что хоть рукой достань. Никогда, нигде я не видел таких крупных звёзд.

Я встал, потянулся. В душе воцарилось какое-то странное, доселе не изведенное, незнакомое ощущение, я как будто устал и тело заметно отяжелело.

Выйдя наружу из пещеры Асхаби-Кяхф, я остолбенел: с подножья горы до вершины, где я находился, вели ступени. Господи, откуда появились эти ступени, когда успели их проложить? Если они с самого начала были тут, то почему я их не видел? И Мохсун почему-то не предупредил меня об этом — иначе мне не пришлось бы, задыхаясь, взбираться по круче.

Я начал спускаться по ступеням. Внизу тоже всё поменялось — на месте чайханы стоял новый, красивый павильон, за прилавком которого находился тот же Мадат-киши. Я подошёл к нему и поздоровался:

— Здравствуйте, дядя Мадат!

— Какой я тебе дядя? — взглянул он на меня с удивлением. — Мы же вроде одного возраста...

— Вы разве не Мадат?

— Ну, Мадат, и что с того? А ты кто такой?

— Не узнали меня? А где Мохсун?

— Какой Мохсун?

— Что значит, «какой Мохсун»? Разве мы не вместе сюда приехали? Ваш племянник Мохсун...

— Мохсун мой двоюродный брат, а не племянник, — нахмурился Мадат. — Он умер пять лет тому назад...

— Как это умер? Вы с ума сошли? Или издеваетесь? Может, вы пьяны?

— Это ты пьян, коль позволяешь себе такие плоские шутки.

— Вы не Мадат — дядя Мохсуна?

— Его дядя был моим отцом — он тоже умер, в этом году...

— Я вас перепутал с ним...

— Да, многие говорят, что я очень похож на своего отца. Прямо как две капли воды... Ты знал моего отца?

— Знал, — ответил я. — Опять легенда о Дагьюнусе?

— Что?

— Ничего... это я так.

С соседнего стола позвали:

— Мадат, ну что там с чаем?

На стене висел трёхцветный флаг.

— А что это за флаг?

Мадат недоуменно взглянул на меня:

— Ты что, с луны свалился? Бредишь, что ли?

— Нет, — ответил я. — Я просто заснул в пещере Асхаби-Кяхф.

Ничего не ответив, Мадат обернулся. Я увидел в зеркало, как он покрутил указательным пальцем у виска. В двух шагах от него стоял мужчина лет пятидесяти. Его лицо показалось мне очень знакомым.

Внезапно я понял, что это, скорее всего, я сам.

Глава 11 ХЛЫСТ

«Ранив душу человека однажды, можно потом сотворить для него сотни раз добро, всё равно он будет мстить за прежнюю обиду. Стрелу можно выгашить из раны, но сама рана останется...»

Сади Ширази

Ахлиман по-особому готовился к этому дню. Чёрный костюм, который был куплен специально к торжеству, он еще ни разу не надевал. А два дня назад он купил белую рубашку, красный однотонный галстук, ботинки и даже новые носки.

Накануне он постригся, а утром тщательно побрился, принял душ, надушился одеколоном. Представ в новом костюме перед зеркалом, он подмигнул самому себе и шепнул: «Чтобы ослепли дурные глаза моих врагов!»

Разумеется, его враги будут завидовать не его внешности, а научной победе, которую он сегодня, несомненно, должен одержать. Завистников у него было хоть отбавляй, глаза бы их не видели. Но это было взаимно. И он в свою очередь намозолил им глаза. Но сегодня он покажет им, где раки зимуют.

Правда, несмотря на неопровержимые научные доказательства, как минимум трое из восьми членов Учёного совета — его лютые враги — выступят против. А в совестливости и порядочности остальных членов совета, когда дело касалось науки, он не сомневался. Одной из них была Рубаба. На самом деле Рубаба была включена в Учёный совет по его же, Ахлимана, рекомендации. Хотя это было до того неприятного происшествия в кинотеатре «Низами». В то время Рубаба ему очень нравилась. Наверно, он неравнодушен был к ней и сейчас. Однако после случая в кинотеатре их отношения немного охладели. За всё время, пока Рубаба лежала в больнице со сломанной ногой в гипсе, он ни разу не решился навестить её.

Позднее они встречались довольно часто, однако ни Рубаба, ни Ахлиман не сочли нужным ворошить прошлое, вспоминать тот случай в кинотеатре. «Странные существа, эти женщины, — раздумывал Ахлиман, — подумаешь, положил руку ей на колено. На самом деле женщина должна гордиться своей сексуальной привлекательностью. А наши женщины, наоборот, смущаются, отталкивают тебя, когда к ним тянешься. Ханжество, да и только!»

Ведь доказано же Фрейдом и учёными-фрейдистами: девяносто процентов женщин в своем подсознании мечтают о том, чтобы чувствовать на себе груз мужчины, самца — во всех смыслах этого слова.

Или же, наоборот — погружать, растворять себя в мужском начале.

В просматриваемых им время от времени самиздатовских книгах, хранящихся на полках его домашней библиотеки, иллюстрировались сотни невероятных поз совокуплений. Но как бы то ни было, сейчас не время загружать голову ненужными, посторонними мыслями. Его невиданная, безоговорочная научная победа откроет ему путь к сердцу любой женщины, которую он пожелает.

Всё шло так, как было задумано и запланировано. Он выступил просто превосходно, продемонстрировав все возможности своей научной логики и красноречия. Наверное, впервые за всю деятельность Учёного совета ему так громко и продолжительно аплодировали. Даже маститый учёный Гафарзаде в своём выступлении отметил:

— Это очень ценное исследование! Такое серьёзное отношение к оккультизму мы видим впервые. При советской власти подобное отношение называли бы идеализмом и мракобесием. Но сейчас, слава богу, мы можем относиться к каждому вопросу осознанно, с научной точки зрения.

Все подходили к нему, пожимали руку, поздравляли, наиболее близкие товарищи справлялись о банкете...

Голосование было тайным, и через полчаса были объявлены результаты: все восемь членов Учёного совета проголосовали «против». Возможно, каждый из них подумал: «Дай-ка я проголосую против, отведу душу — все остальные, надеюсь, проголосуют «за» и не лишат нас банкета».

Среди проголосовавших «против» был и маститый учёный Гафарзаде, который громче всех заливался хвалебными одами в его адрес. И Рубаба... Рубаба, которую он включил в Учёный совет!

Когда объявлялись результаты голосования, Ахлиман внезапно почувствовал острую боль в спине. Это была жгучая, невыносимая боль от хлыста. Точно такую же боль он чувствовал в детстве, когда отец хлестал маленького Ахлимана по спине своим кожаным ремнём с железной бляхой. Отец бил его ремнём, а жену награждал оплеухами и тумаками. «Не бей, прошу тебя, умоляю, не бей!» — причитала мать, когда муж бил её или сына. Её мольбы всё ещё звучали в ушах Ахлимана. А маленький Ахлиман не издавал ни звука, что злило его отца ещё сильнее:

— Что ты уставился на меня, шенок... — и давай хлестать ремнем. («Не бей, прошу тебя, умоляю, это же ребёнок, пожалей его, не бей!»)

От ударов ремнём на его спине оставались красные полосы.

— Сучье отродье, что ты уставил на меня свои поганые глаза? Я его наказываю, а ему хоть бы хны... Мало тебе?! Вот, получай ещё! — и удар за ударом.

С тех пор он возненавидел своих родителей: отца — за жестокость, а мать — за покорность...

Боль в спине напоминала ему не только избиения отцом, но и другие воспоминания детства, и ему ка-

залось, что с верхнего этажа ему на голову выливают воду — но не холодную, как в детстве, а горячую, кипяток.

У него не было ни малейшего желания слышать чьё-либо лицемерное утешение, лживую поддержку. Бросив на всех презрительный, ненавидящий взгляд, он ушёл, ни с кем не попрощавшись. Он был в ярости, по дороге он готов был задушить каждого, кто попался бы ему на пути.

Придя домой и достав из холодильника бутылку водки, он поставил её на стол. Хотелось выпить, забыться...

Ему вспомнилось древнее баяты: «Сколько ни пил, чтоб забыться, / Не покинуло горе меня».

И тут же вспомнил первую строку: «Хлестнул буланого коня...»

Его тоже сегодня хорошенько хлестнули, причём в спину... Нет, нельзя сдаваться. Выпивать, чтобы забыться, — это удел слабых. К чёрту, не буду пить! Я им всем отомщу — каждому по отдельности.

Зазвонил телефон. Он не стал поднимать трубку. Знал, что звонящий станет неискренне утешать его — «Не бери в голову, образуется» — или ещё хуже, начнет тонко, садистски издеваться. «Плевать я хотел на них!» Лица присутствующих на заседании одно за другим предстали перед его взором. «Учёными зовутся, подумай только... Этот ещё, носатый, вчера только с дерева спустился, прибыл в Баку, человеком стал. До сих пор не может выговорить фразу «потому что» — всё «бадамуста», да и только. Или же другой грамотей, это быдло: для него что «размышлять», что «размюслить», так и произносит, кретин, а еще русскоязычный. В гробу я видал вас всех!»

Все же он выпил, настроение заметно улучшилось и от водки, и от воспоминаний о болванах, окружавших его. Он улыбнулся.

Включил телевизор. Уже который день он смотрел футбол. Легендарная сборная Бразилии была безнадежно разгромлена немцами со счётом 7-1, а затем проиграла голландцам со счётом 3-1. А сегодня был финал, и сборная Германии, разбившая бразильцев, на этот раз выигрывала у сборной Аргентины. Больше всего радовались этому... совершенно верно, бразильские болельщики. Они радовались не победе Германии, разгромившей их сборную с неприличным счётом; они радовались поражению аргентинцев. Комментатор, объясняя ситуацию, говорил: «Эти две крупнейшие страны Южной Америки постоянно ведут соперничество, поэтому бразильцы празднуют поражение сборной Аргентины».

Ахлиман задумался — значит, не только люди завидуют друг другу. Зависть бывает и между странами, они ненавидят друг друга, радуются поражениям и бедам страны-соперницы.

Здоровой конкуренции не бывает — бывает враждебное соперничество, вызванное патологической завистью. Все люди — ВСЕ, ДО ЕДИНОГО — завидуют друг другу. Все желают друг другу зла. Одним самцам претят успехи других, а те злорадствуют и ра-

ды неудачам первых... Некоторые женщины завидуют более красивым женщинам, а красивые женщины свысока смотрят на тех, кто уродливее их.

Впав в прострацию от пережитого на защите шока и выпивки, Ахлиман заснул, сидя в кресле, и крепко проспал до самого утра. Даже телевизор, который он забыл выключить, ночью не мешал ему.

В течение полугода после злосчастного заседания практически все члены Учёного совета подверглись различным неприятностям. У кого-то случился инфаркт, кого-то разбил паралич, кого-то ударил инсульт и он потерял дар речи (пытался объясниться жестами, но безуспешно), чья-то жена подожгла себя на почве ревности, кто-то задохнулся в ванной комнате от угарного газа...

Закир полностью отошёл от научных работ — ни с кем не здоровался, не разговаривал, всех избегал, стал домоседом. Рассказывали, что он заболел психическим расстройством и попал в сумасшедший дом. О дальнейшей его участи Ахлиман ничего не знал. Рубаба вышла замуж за своего дачного соседа-вдовца, и они уехали за границу на постоянное жительство. Её дальнейшая судьба также осталась неизвестной.

Глава 12 КАРМА

Я смутно помню, что когда-то побывал в Нахичеване. Но в каком году это было, с кем я ездил туда, что я там видел, с кем встречался, с кем познакомился — ничего этого я не помню.

Я помню, с каким трудом, еле переводя дыхание, взбирался к пещере Асхаби-Кяхф, но то состояние, которое я пережил, пребывая в том сакральном месте, и после — как вернулся обратно, было полностью покрыто мраком в моей памяти: что это было — сон или явь? Неужели я очутился в совершенно ином временном измерении? Или это была реальность, преломленная в моем воображении, как в кривом зеркале? А может, это всё мои фантазии, превратившиеся в реальность? Не знаю и, наверно, никогда не узнаю. Знаю только то, что Асхаби-Кяхф находится в Нахичеване, значит, я действительно когда-то побывал в Нахичеване...

Пытаясь отрывочно возродить пейзажи Нахичевана в своей памяти, я почему-то воспринимал этот край скорее как мистическую, волшебную, сакральную местность. словно в те дни, которые я провёл там (несколько дней, месяц или год — точно не могу сказать), тайны Вселенной становились очевидными для меня, я видел и ощущал некоторые вещи более отчётливо.

Я мало-мальски ознакомился с западной философией — от ясного, чёткого мышления Декарта до туманных, эзотерических представлений Сведенборга, от пессимистичных размышлений Шопенгауэра до учений экзистенциалистов XX века об отчуждении, пограничной ситуации, когда человек оказывается перед выбором. В один прекрасный день

словно кто-то подтолкнул меня, побудив серьёзно увлечься восточными философскими и религиозными учениями. Я ознакомился с древнеиндийскими письменами, китайской философией, вник в недра параллельного мира, отличающегося от того, в котором я жил, осознавал и видел собственными глазами. Оказалось, что наша привычная логика в том параллельном Мире не срабатывает, здесь полностью отличаются временные и пространственные измерения. В том Мире нет ни Прошлого, ни Будущего, ни Настоящего... И вообще, понятия Времени в том Мире не существует... Есть только Вечность, преобладающая над понятием Времени. Я понял, что объяснить явления, жизнь, вселенную и мир лишь только логикой невозможно. А понять, осознать Человека невозможно вдвойне.

Говоря современным языком, заведующий кафедрой багдадского вуза, профессор Аль Газали однажды бросил работу и, отказавшись от всех своих званий и привилегий, увлёкся истиной суфизма, удостоверившись в необходимости восприятия мира не только разумом, но также ощущениями и интуицией.

После встречи двух великих личностей Востока — известного шейха мистицизма Абу Сеида и гениального учёного и лекаря Авиценны, шейх заявил: «Он знает то, что я вижу». А Авиценна сказал: «Он видит то, что я знаю».

Ислам не отрицает здравомыслие — однако он полагается не только на разум, но и на ощущения, указывая два пути восприятия мира: мудрость и влюблённость.

Среди прочитанных мной книг меня больше всего привлекло понятие КАРМА в древнеиндийской философии... Карму можно перевести и как «провидчество» — но это будет не совсем точным переводом. Карма — это расплата, причинно-следственная связь, возможно, основной и фундаментальный закон существования. Согласно карме, человек расплачивается за все свои деяния, подвергается возмездию за всё Добро и Зло, которые он пережил в нынешней и иной жизни. Если принять этот закон как должное, всё необъяснимое становится объяснимым. Каждая несправедливость по отношению к человеку в нынешней жизни является возмездием за ту несправедливость и жестокость, которую этот человек проявлял к кому-то в жизни иной. Доброта или зло, причинённое в предыдущей жизни, даёт свои плоды уже в нынешней. Как говорится, «что посеешь, то и пожнёшь»...

Остаётся лишь верить в то, что со смертью живого существа его жизнь не заканчивается. Монотеистические религии сулят нам Судный день и Воскрешение, а также рай и ад в потустороннем мире. Основная вера в индуизме и буддизме — это понятие реинкарнации: вера в неоднократную жизнь каждого живого существа в различных формах и проявлениях.

Согласно экзистенциализму, человек сам предопределяет свою судьбу, своё будущее. Окончательный выбор остаётся за самим человеком. В таком случае, возникает вопрос: если человек живёт в НЫ-

НЕШНЕЙ жизни праведно и придерживается высоких идей, то почему он должен расплачиваться за злодеяния, совершённые в иной жизни? Исповедь — если она искренняя — удерживает человека от повторения его прошлых ошибок, но не может избавить от ответственности за злодеяния в прошлой жизни.

Совершая злодеяние, человек причиняет зло и себе, и, соответственно, всему человечеству. Этот закон относится не только к отдельным индивидам, но и к государствам и странам. Страна, проявляющая агрессию по отношению к другой стране и её народу, подвергает несчастьям и свой народ. В Ветхом завете воспеваются жестокость и беспощадность ко всем враждебным народам и расам. Однако подобная нетерпимость дорого обошлась её приверженцам — на них обрушились бесчисленные несчастья, что известно из истории.

Карма объясняла мне исторический ход и логику не только человеческой жизни, но всех существ. Правда, она не указывала мне путь избавления от грехов прошлого...

«Верни рыбу в море, рыба не оценит, Халык оценит»¹ — этим ли принципом нужно руководствоваться в жизни? В дзен-буддизме я вычислил наиболее усовершенствованную формулу нравственности: если человек, совершая добродетель, думает о том, что взамен ему воздастся, значит, за этой добродетелью стоит определённая корысть. Полностью бескорыстной добродетелью может считаться лишь тогда, когда человек не станет думать о том, что ему воздастся взамен.

Я не знаю, жил ли я когда-либо в прошлом, не знаю, считается ли новой жизнью то, что определённые годы моей жизни полностью стёрлись из моей памяти, — я знаю лишь то, что в жизни, которой человек живёт в настоящее время, он должен служить исключительно Добру.

А как насчёт жестокости, которой я подвергался в детстве; страхов, пережитых мной в школьные годы; одиночества во время учёбы в институте; безразличия или коварства женщин, неблагонадёжности друзей? Их-то я не забывал — несмотря на все свои попытки, я не смог забыть обо всём этом. Прав был тот, кто сказал: «Забудь про зло, которое тебе причинили, — но не забывай имена тех, кто его тебе причинил». Некоторые воспоминания до сих пор мучают меня: холодная вода, что выплескивали мне на голову в мороз, следы от отцовского ремня на моей спине... Плюс моральные травмы — вероломство людей, с улыбкой жавших мне руку, коварство самого близкого мне ученика, жестокость отца, мольбы матери, ложь и клевета, с которой я сталкивался всю свою сознательную жизнь, несправедливости, отравляющие мою жизнь даже не ежедневно, ежечасно, ежесекундно... Неужели всё это должно сойти им с рук?

¹ Х а л ы к — букв. Творец, одно из 99 имен Аллаха. Однако существует иное поверье: Создатель спросил пророка Адама: «Сколько у меня имен?» На что Адам ответил: «Все — имя твое, Господь мой!», то есть все, что Ты создал, — это и есть Ты сам.

А разве это сошло с рук Насибу, который по-садистски унижал и мучил меня при первой возможности, выливал воду мне на голову? В одно мгновение он погиб... ужасная смерть. Порой мне казалось, что в его гибели виноват я. Отец всегда говорил, что у меня дурной глаз...

С тех пор я начал думать о глазе, о его свойствах и силе его воздействия: дурной глаз, сглаз, положить глаз, для отвода глаз, не в бровь — а в глаз, с глаз долой — из сердца вон! Не зря ведь сказано всё это...

Я вспомнил строки из баяты:

Кто-то глаза на тебя уставил,
Следы от взглядов своих оставил...

Теперь эти строки я воспринимал не как оригинальную метафору, а как влияние на человека реальных взглядов. Я интересовался также цитатами из мировой литературы о влиянии глаза. Как-то я листал книгу европейских монахов-инквизиторов XV века Генриха Иститориса и Якоба Шпренгера, и моё внимание привлекли такие строки: «Болезни некоторых людей связаны с тем, что их завистники смотрят на них дурным взглядом. Злоба и ненависть концентрируются в их глазах, так как глаза — это самый чувствительный орган, вобравший человеческие воображения и ощущения. Выражение глаз является показателем человеческого настроения. Некоторые люди обладают дурным глазом от роду, иные приобретают эту черту во временем. Дурной глаз влияет не только на объект, на который он смотрит, а на всю ауру определённого пространства. Сила воздействия дурного глаза очень велика. Один лишь взгляд дурного глаза способен сразить верблюда. Люди, обладающие этой чертой, глядя на человека, которому желают зла, чувствуют напряжение в своём теле, и это напряжение исходит из их глаз. В такие моменты влияние дурного глаза может даже с определённого расстояния привести к смерти, несчастью, неизлечимой болезни или неожиданной неприятности человеку, на которого глаз устремлен».

Читая книгу монахов, я вспомнил пожелание: «Убереги тебя Аллах от дурного глаза».

Значит, уберечься от дурного глаза вполне возможно, и от этой неприятности есть панацея. Индуизм и дзен-буддизм, философия экзистенциализма обучили меня уповать не только на Аллаха, я начал искать пути защиты от дурного глаза. Я познакомился с экстрасенсами и их методами, серьёзно задумался о гипнозе и колдовстве, провёл исследования о сущности святых, святых мест-пиров, проанализировал народные поверья против порчи и сглаза.

И на этом поприще у меня были определённые успехи: я предотвратил несколько катастроф, спас нескольких людей от влияния дурного глаза. Мне казалось, что я нахожусь буквально в шаге от того, чтобы найти панацею от дурного глаза, вызванного прежде всего гнусными человеческими качествами — ненавистью, злобой, гневом, завистью. Я не

собираюсь комментировать свои методы, дабы не провоцировать преждевременно к действиям людей, обладающих дурным глазом. В народе говорят: не буди спящего. От полного успеха меня отделял всего лишь один шаг, последний шаг..

Глава 13 АЙДАН

«Любовь — это болезнь, обессиливающая человека, но её лечение кроется в ней самой».

Ибн Хазм, «Голубиное ожерелье»

Меня разбудил Лунный свет. Я взглянул на часы, что поставил рядом с кроватью, — было десять минут четвёртого утра. Полная луна освещала сквозь окно крупный амулет, висящий на стене.

Внезапно словно кто-то заставил меня встать с постели и направиться к двери балкона. Подойдя к двери, я вздрогнул. По ту сторону закрытой стеклянной двери стоял человек, приставив лицо к стеклу — зрелище было ужасным. Челюсть, нос и губы на лице сплющились, прямо как в кривых зеркалах, но я сразу узнал её: это была Айдан, дочь соседа. Мы изредка встречались во дворе, и молча, улыбкой приветствовали друг друга. Но удивление моё прошло через мгновение — я всё понял.

Она стояла с закрытыми глазами. Выходит, эта девушка — сомнамбула, то есть лунатичка. Мы были соседи по лестничной площадке, и из своей квартиры она проникла сюда под притяжением лунного света. Айдан переходила с одного балкона на другой, преодолев проход до того узкий, что два человека не могли бы разминуться, шла тихо, медленно, шагок за шагом.

Айдан всё ещё была во сне. Сначала я решил открыть дверь, втащить девушку внутрь, разбудить и вернуть по коридору в их квартиру, но сразу же понял, что этого делать нельзя: если я открою дверь, она проснётся и, не дай бог, может упасть с третьего этажа и разбиться. Оставалось только смотреть друг на друга через стекло. Точнее, это я смотрел на неё. Её глаза были закрыты. Она чуть отстранилась от стекла, сплющенные черты лица обрели обычную форму, и она стала прежней красавицей. Не знаю, с чего мне в голову пришла эта странная метафора, но я уподобил её перевёрнутому восклицательному знаку. Тело у неё было худое, прямое, плоское, а голова — круглая, словно многократно увеличенная точка... Чёрные волосы подобно водопаду лежали на плечах. Её глаза обычно выглядели задумчивыми, слегка печальными. Увидев её во дворе, я с восхищением глядел, как она плавно двигается, и вспоминал строки из эпоса «Китаби-Деде-Горгуд»: «Твой стан подобен кипарису, чёрные волосы обвиты вокруг щиколоток, алые щёки — словно кровь на снегу, губы мельче миндального ядра». Про себя я называл её Банучичек¹ — хотя знал, что её зовут Айдан.

Я боялся. Молил Бога, чтобы она не проснулась, а вернулась домой так же, как пришла, — движимая притяжением лунного света. Завтра я обязательно поговорю с её родителями, чтобы они предприняли что-нибудь; интересно, они сами знают об этой болезни дочери?

Мы стояли лицом к лицу несколько минут. Я приставил щеку к стеклу и закрыл глаза. Холод стекла отрезвил, оторвал меня от тепла, что, казалось, излучала её красота. Я словно чувствовал гладкость и прохладу её щёк по ту сторону стекла. Вспомнил строки из стихов:

Как снег, холодны твои щёки,
А на губы слетаются пчёлы...

Действительно, её губы были похожи на цветочные лепестки, на которые слетаются пчёлы...

Я отошёл от стекла и открыл глаза: она стояла без движения. Интересно, что же ей снится? И вообще, видят ли сны в таком состоянии? Я мечтал о том, чтобы эти чудесные, невероятные мгновения продолжились до бесконечности... Она была сейчас так близка мне и в то же время так далека... Так же, как Луна. Это была Сомнамбула — мифическое создание, присланное мне Луной на одну ночь.

Я очень боялся... Боялся, что она проснётся и уйдёт, и счастье растает, и я потеряю его так же мгновенно, как и нашёл. Мои веки словно отяжелели, я больше не мог смотреть. А закрывать глаза я не решался — боялся, что она проснётся, когда у меня глаза будут закрыты, и, упаси Господь, случится несчастье.

...Она отошла от двери, и медленно, как младенец, едва научившийся ходить, шагок за шагом, направилась по узкому проходу к своему балкону. Приставив лицо к стеклу, я долго глядел ей вслед... И только после того, как она дошла до своего балкона, я успокоился и перевел дух...

Я открыл дверь балкона. Комнату заполонил аромат свежескошенной травы. Это был аромат Айдан — естественный аромат, далёкий от запаха каких-либо модных духов. Он исходил от двери, к стеклу которой она прислонялась. Айдан ушла, но её аромат остался.

Я гладил стекло двери, согретое дыханием Айдан, и глядел на Луну. Сколько тайн в себе таит эта планета, это небесное тело, которое безразлично глядит на Землю, принимая форму то круглого блина, то срезанного ногтя. Аромат Айдан, казалось, исходил и от Луны.

Что же это было, Господи? Неожиданный, невероятный, невиданный визит... Визит гостя, прибывшего из какого-то тайного, волшебного мира.

Сомнения мучили меня. Поговорить ли завтра с её родителями? Безусловно, девушка нуждается в лечении, иначе это может обернуться бедой. Но от одной мысли о том, что это чудо никогда больше не повторится, что она никогда больше не приставит лицо к двери моего балкона, что аромат свежеско-

¹ Красавица героиня эпоса «Китаби-Деде Коркут».

шенной травы не будет заполнять мою комнату, меня охватывало странное чувство печали. Я не мог заснуть до самого утра. Я сравнивал Айдан со всеми девушками, женщинами, когда-то бывшими в моей жизни, и вообще, со всеми людьми, с которыми я был знаком, и ощущал не испытанные доселе чувства. В моей душе царили нежные ароматы, чудные мелодии, строки прекрасных стихов. Словно кто-то нежно шептал мне в ухо строки:

В безнадежности пылу
Эта радость появилась...
Развевая грусти мглу,
Ночью лунною искрилась.

Ночью, что дарила мне
Неожиданное счастье...
В этой грустной тишине,
Что полна любви и страсти.

Глава 14 ВСТРЕЧА СО ШРАМОМ

«Покой и даже смерть для человека дороже
свободного выбора между Добром и Злом».

Ф. М. Достоевский

Около десяти часов утра на мобильный телефон Ахлимана пришло сообщение. Полковник Гасым Шейдаев просил позвонить ему по указанному номеру. Имя и фамилия полковника показались знакомыми Ахлиману, но он никак не мог вспомнить, кто это такой. На всякий случай он сохранил этот номер на своем мобильном телефоне и сразу набрал. Ответили тут же:

- Здравствуйте, Ахлиман-муаллим.
- Здравствуйте. Вы прислали мне сообщение?
- Да, я. Мы должны встретиться с вами по очень важному делу.
- Вы — это кто?

— Узнаете при встрече. Можете приехать к нам к шести часам? Адрес я сейчас отправлю на ваш телефон. Не дождавись ответа, собеседник дал отбой. Спустя некоторое время на дисплее появился адрес.

Без десяти шесть вечера Ахлиман стоял возле больших железных ворот. Он нажал на кнопку звонка, и на видеофоне появилась чья-то голова:

- Ахлиман-муаллим?
- Да.
- Входите!

Створы ворот покатались на рельсах в разные стороны. Ахлиман вошёл во двор. На просторной площадке двора стояли заграничные автомобили: «Форд», «Фиат», «Мерседес», «Бентли», «Шевроле», «БМВ». Он насчитал там девять машин.

По ту сторону двора стоял трёхэтажный дворец. Именно дворец — назвать это здание по-другому было невозможно. На разных уровнях расположились балконы, застеклённые галереи, эркеры, лоджии... Возле дверей стоял человек, которого он ви-

дел на видеофоне. Встретив Ахлимана, он проводил его на второй этаж. Проходя в просторный зал через широкое фойе, Ахлиман услышал характерный звук игральные костей-зар.

В зале сидели двое мужчин и играли в нарды; один из них был достаточно пожилой, а другой — моложе, лет шестидесяти пяти. Кажется, Ахлиман когда-то видел этого пожилого мужчину — сосредоточившись, он вспомнил: кажется, он когда-то жил по соседству с ним. Это был тот самый полковник, который звонил Ахлиману. Полковник был в белой рубашке и подтяжках, поддерживающих его форменные брюки с лампасами, на ногах — мягкая обувь коричневого цвета. Его товарищ был в тёмно-синем костюме и в галстук под цвет костюма.

Когда Ахлиман вошёл, они оба встали.

— Полковник Гасым Шейдаев, — сказал пожилой, протягивая руку, — кажется, мы знакомы.

Другой мужчина тоже протянул руку, но не представился. Ахлиман заметил на его правой щеке глубокий шрам.

— Садитесь, — предложил Гасым, — сейчас я разнесу генерала в пух и прах, и мы побеседуем.

Сказав эти слова, он ослабил, как человек, разбрасывающийся плоскими, неуместными шутками, и взглянул на генерала. Генерал никак не среагировал на слова полковника.

— Давай бросай! — промолвил он приказным тоном.

— Шесть-три...

Полковник сделал ход. Теперь очередь за генералом.

— Четыре-два...

Со скрипом открылась боковая дверь. В комнату вошла женщина в чёрной одежде. Голова у неё была покрыта чёрной шалью, а в руках она держала поднос с тремя стаканами чая, вареньем, конфетами, сахаром и лимоном. Сняв с подноса стаканы с чаем, она поставила их перед Гасымом и Шрамом, даже не взглянув на них. Но когда женщина ставила стакан перед Ахлиманом, она успела бросить на него взгляд, и выражение её лица внезапно изменилось. Женщина уронила стакан, пролила чай на Ахлимана, а стакан разбился вдребезги на полу. Она что-то еле слышно шептала про себя, но Ахлиман отчетливо слышал её слова:

— Убийца, подлый убийца! — шептала она. — Убийца моего единственного ребёнка...

Резко повернувшись, женщина вышла из комнаты, даже не попросив прощения за разлитый чай. Вместо неё извинился Гасым, однако ни полковник, ни генерал не удивились поведению женщины.

— Не обращайтесь внимания, — сказал Гасым, — много лет назад мы потеряли нашего ребёнка в автомобильной катастрофе, теперь жена считает убийцей каждого человека, которого она видит впервые. Да, генерал, повезло, две пятёрки — твое спасение.

Сдвоив зары, генерал бросил:

— Вот и две пятёрки!

— Ну, молодец, генерал, поздравляю! Опять ты победил меня, закончил «марсом»¹, — сказал Гасым.

Закрыв нарды, он отложил их в сторону. Открылась дверь. В комнату вошла молодая девушка — видимо, служанка — и поставила перед Ахлиманом стакан с чаем.

— У каких врачей мы только ни были — здесь, в Москве, в Турции, в Иране, даже в Израиле, но всё без толку, — было непонятно, кому Гасым говорит эти слова: Ахлиману или человеку со шрамом. — Стоит ей увидеть где-то зеркало, так ей сразу чудится в нём наш ребёнок — живой, здоровый.

Ахлиман только сейчас обратил внимание, что на трюмо, стоящее в правом углу комнаты, наброшено тёмное покрывало.

Полковник встал:

— Извините, пойду успокою жену.

Он вышел из комнаты. Человек со шрамом обернулся к Ахлиману — теперь его шрама не было видно.

— Полковник пригласил вас по моей просьбе, — сказал он. — Мы располагаем определённой информацией о вас. Мы даже знаем, что вы имеете зуб на некоторых своих коллег, в частности, на профессора Гафарзаде.

Ахлиман внимательно слушал собеседника, пытаясь понять, к чему он клонит.

— Мы работали вместе с отцом Гафарзаде — Зелим-киши. Разумеется, в то время он был уже стариком, а я — молодым сотрудником. Он давно умер, поэтому можно раскрыть карты. Он работал в секретном отделе нашей организации и был невероятно жестоким человеком. Поэтому мы звали его не Зелим, а Залым, а его сына Залым-оглу².

Ахлиман не слышал об этом, но прозвище Залым-оглу ему понравилось: при случае можно будет назвать Гафарзаде Залым-оглу.

— Дело в том, — продолжил человек со шрамом, — что Залым-оглу досталось ценное наследство от отца. Точнее сказать — бесценное. Вещь настолько дорогая, что даже специалисты затрудняются его оценить. Это очень дорогой, уникальный ковёр. Говорят, он был соткан ещё при шумерах. Честно говоря, это неправдоподобно, так как древнейший в мире ковёр — это Пазырыг, которому тысяча лет. Допустим, ковёр, доставшийся в наследство, древнее — пусть ему будет тысяча двести или тысяча триста лет. Все равно: где — шумеры, где — эти века... Несопоставимо... Но дело не в этом. Вы знаете английский?

— Знаю.

— В США вышла книга, в которой подробно описано, как этот ковер переходил из рук в руки на протяжении сотен лет. Разумеется, они тоже не обладают информацией о древнейших эпохах. А нам известны точные данные касательно того, через чьи руки прошёл этот ковёр за последние лет сто. В начале

прошлого века некий бакинский миллионер купил этот ковёр на Тебризском базаре и привёз в Баку. В 20-е годы большевики расстреляли миллионера и конфисковали всё его имущество. А ковёр присвоил двадцатипятилетний чекист Зелим Гафарзаде.

Ахлиман рассматривал безвкусные узоры на стенах, оформленных в стиле восточных бань, громоздкую хрустальную люстру в сто свечей, посуду с золотистой и серебристой каймой, расставленную на полках серванта, и статую вставшей на дыбы лошади на серванте, пытаясь понять, какое к нему имеют отношение эти разговоры о ковре и почему генерал рассказывает ему об этом.

— Для чего я вам рассказываю об этом... Сейчас объясню. Нам известно, что вы занимаетесь гипнозом, ваши глаза обладают сверхъестественной силой. Это не моё личное мнение. Так вот, многие известные ученые-специалисты со всего мира подтверждают, что узоры на этом ковре, которых не встретишь ни на каких других коврах, являются ключом к великим тайнам. Короче говоря, — человек со шрамом начал говорить шёпотом, — эти узоры дают информацию о конце света. Вы наверняка помните, какой ажиотаж и скандал вызвали слухи о наступлении конца света по календарю майя. По полученным нами агентурным данным, Гафарзаде, опираясь на многолетние исследования, намеревается раскрыть секреты этих узоров, то есть объявить дату конца света. Разумеется, мы прекрасно понимаем, что это чушь собачья, но ведь найдутся многие, кто поверит. Непредсказуема реакция на эту чушь, и вообще, когда он наступит, этот конец света — через сотни, тысячи лет либо в течение одного месяца или одного дня... Теперь подумайте: распространятся слухи, что до конца света осталось всего ничего — месяц-другой. Вы можете себе представить, какой переполох, какую панику вызовут эти слухи в обществе? Люди, которые и без того готовы сожрать друг друга, вцепиться друг другу в глотку, начнут повсеместно воровать, убивать, насиловать, думая: «Всё равно скоро конец света!» Вы этого хотите?

— Нет, конечно, — ответил я, хотя в глубине души мне импонировала такая перспектива: ну и пусть, пускай люди грызут, убивают друг друга, ведь лучшей участи эти жалкие существа не заслуживают. С другой стороны, и без всяких ковров, можно считать, что конец света уже наступил... Человечество погрязло в жестокости, несправедливости, лжи, лицемерии и всевозможных пороках — не это ли наибольшая вина человечества, наибольшее наказание для людей? — А что вы от меня хотите?

— Я знаю, это будет нелегко для вас, но постарайтесь под каким-либо предлогом увидеться с Гафарзаде. Обезвредьте его, сломите его волю, подчините себе его мысли, действия, поступки, принимаемые им решения. Необходимо уничтожить и этот злосчастный ковёр, который испокон веков приносил людям несчастья, смерть, страдания. Не важно, какова его цена — уж точно не дороже человеческой жизни. Причём речь идёт не об одном человеке —

¹ Марс» в игре в нарды — двойная победа, победивший зарабатывает сразу два очка.

² Залым — жестокий, беспощадный. Залым-оглу — сын злодея.

это касается всего человечества. Я еще не говорю о глобальной, всемирной стороне этой проблемы. Даже думать не хочется о том, какую суматоху могут создать в нашей стране внешние вражеские силы, пользуясь этим ковром, что тоже нельзя исключить. Теперь всё зависит от вас, мы не видим другого решения вопроса. Гафарзаде находится также в центре внимания всемирной прессы, посольств различных государств, находящихся в нашей стране. Вы — наша единственная надежда, чтобы укротить его.

Вошёл Гасым. Видимо, он почувствовал, что наша беседа завершена.

— Освежить вам чай?

— Нет, спасибо.

— Может, ещё партию в нарды, генерал? Небось отыграюсь, отомщу...

— Нет, мне нужно идти, — ответил человек со шрамом. — Долг платежом красен, отомстишь мне в Судный день, отыграешься, — сказал он, смерив Ахлимана многозначительным взглядом.

Первым из зала вышел Ахлиман. Швейцар проводил его до дверей. Нажал кнопку, ворота открылись, Ахлиман вышел. Он уже отошёл от дома на приличное расстояние, а беседа полковника со Шрамом (как для себя назвал человека с изуродованным лицом Ахлиман) слышалась ему настолько внятно, словно они разговаривали буквально в шаге от него:

— Ну что, согласился?

— По-моему, да. Пусть выполнит задание, а ликвидировать его самого будет уже нетрудно.

Ахлиман поражался тому, насколько четко он слышал беседу, которая велась вдали от него. Он не мог объяснить причину этого, но думал о том, что если мы можем слышать на большом расстоянии по телефону или радио голоса людей, то почему человеческое ухо должно быть обделено этой возможностью? По крайней мере, хотя бы некоторые люди должны обладать такой способностью. Возможно, я один из таких необычных людей. Выходит, не мне одному известна сила воздействия моих глаз — об этом знают и другие, более того, хотят воспользоваться этим. Ну и пусть... Пускай они играют в свои игры, а я поступлю так, как считаю нужным. Посмотрим, кто кого оставит с носом. В этом деле меня привлекает, что я могу расквитаться с Гафарзаде; многие из тех, кто наносил мне удар в спину, были наказаны, теперь очередь за Гафарзаде. Прозевать такую благоприятную возможность я не имею права.

Глава 15 ЛУННЫЙ ТАНЕЦ

Любовь внезапно явилась в ночь
и так же внезапно исчезла...

Вся жизнь моя умчалась прочь,
Я толком и жить не успела...

Ага Бейим Ага

Со дня появления Лунной девушки в моей квартире прошёл месяц. За это время я ни разу её не видел.

Каждый раз, когда я выходил во двор, мои глаза искали её, но мы с тех пор так и не встретились. Может, она заболела? Может, родители узнали о странности дочери и теперь занимаются её лечением? Проблема была в том, что я никак не решался поговорить с ними об этом.

В глубине души я боялся встречи с ней днем, при солнечном свете. Она была бесподобна как ночная гостья, как Лунатичка, и, несмотря на её писаную красоту, при солнечном свете она могла бы стать в моих глазах вполне обычной девушкой.

Наступило полнолуние. Я знал, что именно на этой фазе Луна призывает к активности лунатиков-сомнамбул силой своего притяжения и регулирует их самые рискованные действия... и, руководствуясь странным желанием, я, пребывая в тревожном ожидании и в то же время неуверенности, оставил дверь балкона открытой. Сна не было ни в одном глазу. Усевшись в мягкое кресло напротив балкона, я ждал. Ждал и не отдавал себе отчета, для чего это ожидание. Я лишь знал, что жду повторения чуда, которого жаждал, видимо, всю свою жизнь. Я желал ночного утешения, иллюзии незабвенной ночи.

Интуиция меня не подвела. Часы показывали десять минут четвёртого, когда Айдан подошла к двери моего балкона. На этот раз её сопровождала её кошка. Кошка вошла в комнату через открытую дверь и замаякала. За ней вошла Айдан. Её глаза были закрыты. Она была в розовой ночной рубашке до щиколоток. Под прозрачной тканью отчётливо выделялись все изгибы и очертания её нежного тела. Она начала расхаживать по комнате. Двигалась так свободно, словно эта квартира была давно ей знакома — ни к чему не прикасаясь, ничего не передвигая, она кружила по всей комнате. Это были необычные движения — это был танец, который она исполняла под лунным светом, заливающим комнату. Она танцевала без музыки, но создавалось ощущение, что порхает она под прекрасную, лирическую мелодию...

...На закате мы едем из Мардакана¹ в сторону моря. Облака окрашены в баклажанный цвет... Вокруг царит унылая тоска чудного апшеронского вечера... Мы едем на машине с откидным верхом, я сижу за рулём. Ветер развеивает белокурые волосы сидящей рядом со мной девушки — я чувствую на лице нежное прикосновение её волос. Её грустные глаза — цвета тёмной ночи, словно капля крошечной тьмы, как две чёрные виноградины... Эта девушка — Айдан. Я гляжу на неё — она улыбается, меня ослепляет свет её белоснежных зубов... Она обнимает мою шею, прижимается щекой к моей щеке...

Мою душу переполняют самые искренние, самые ласковые слова. Слова созревают как весенние плоды, дозревая до своей полной спелости. В моей душе, словно птица в клетке, отчаянно бьются слова, которые я всю жизнь хотел сказать кому-то, но так и не смог...

¹ Мардакан — посёлок на Апшеронском полуострове.

А кому мне сказать эти слова? Ведь рядом со мной никого нет.

У меня никогда не было машины с откидным верхом. Я никогда не сидел за рулём, не водил машину. Никогда не чувствовал на лице прикосновение развевающихся волос девушки. Но я знаю, что эта девушка — Айдан, которую я ждал всю свою жизнь, которая в одну прекрасную ночь неожиданно явилась в мою комнату... Девушка, которую тридцать лет тому назад я посадил в свою воображаемую машину и увёз к воображаемому морю, чувствуя на лице прикосновение её волос, развевающихся под дуновением воображаемого ветра.

Понятие времени сегодня в моей комнате отсутствовало. Времени, прошедшего от моих давнишних мечтаний до сегодняшней ночи, не было. ВРЕМЯ замерло.

Лёгкие движения рук танцующей девушки влиялись в мою душу подобно музыке... Я словно слушал «Адажио» Томмазо Альбиниони — грустную мелодию, полную опасения вечной разлуки, сожаления о краткости счастливых дней. Она, словно балерина, совершала па на кончиках пальцев, как на пуантах. И вновь мне вспомнилась метафора из эпоса «Китаби-Деде-Горкуд»: «Шагает, не ступая на землю»...

Движения Айдан напоминали танцы суфиев, мистиков, кружение дервишей. И только сейчас я понял, почему красивых младенцев сравнивают с Лунной. Айдан была истинным олицетворением Луны, таинственной танцовщицей, впитавшей в свое нежное тело всю непостижимую прелесть лунного притяжения... Она кружилась, и от того дуновения, которое поднимала её ночная рубашка, у меня кружилась голова. Мне хотелось встать с места, прижать свою юную гостью к груди, поцеловать её в закрытые глаза, насладиться нектаром её нежных губ. Но я знал, что к ней прикоснуться нельзя. Прикоснувшись, я бы разбудил её и, оторвав от её тайного лунного мира, привёл бы в наш банальный бренный мир.

Я понимал, что это ночное представление является аномалией и чуть ли не болезнью. Я полностью осознавал возрастную разницу и понимал, что какие-либо любовные связи между нами в реальном мире просто невозможны. Я знал, что, если я завтра случайно встречу её во дворе, Лунная девушка не только не вспомнит события этой ночи, но даже не поверит, что всё это происходило в реальности. Взглянув на меня, она просто поприветствует меня приятной и безразличной улыбкой.

Я мог бы разбудить её. Здесь, в комнате, было безопасно, не было боязни того, что, проснувшись, она упадёт, разобьётся. Но я не знал, как она среагирует, очнувшись в моей комнате, что она обо мне подумает. Наверняка она никогда не захочет встретиться с глазу на глаз с человеком, который был свидетелем её аномального состояния. Нет, было бы грешно будить её, отрывать от этого таинственного сна.

Я хотел без конца, неотрывно любоваться этим невиданным, невероятным Лунным танцем... Мечтал о том, чтобы этот танец никогда не завершился, чтобы машина никогда не прибывала к морю, чтобы тучи никогда не скрывали Луну, чтобы Айдан не просыпалась и чтобы её не смущала реальность жизни.

Кошка моей гостью спокойно лежала на диване, свернувшись в клубок. Она словно тоже любовалась этим лунным танцем и слушала воображаемую мной музыку.

Музыка неизбежно и неумолимо близилась к концу... Всеми прекрасному когда-то наступает конец. Завершался и этот чудный танец... Размахивая руками, как раненый журавль крыльями, Айдан вышла на балкон и медленными шагами направилась по карнизу к своей квартире. Кошка послушно следовала за ней.

Музыка в моей душе иссякла.

Глава 16 ШЕСТЬ-ТРИ, ЧЕТЫРЕ-ДВА, ПАРА ПЯТЁРОК

«Человек, отрекающийся от древних и твердых законов, должен уже сам определить, что для него является Добром, а что — Злом».

Ф. М. Достоевский

Я стоял возле железных ворот дома № 20, расположенного на третьем повороте справа в восьмом микрорайоне. Я нажал на кнопку звонка, ворота открылись. Меня провели в дом. С обеих сторон просторного двора стояли дорогие иномарки. Меня проводили на второй этаж, и я вошёл в просторный зал. Двое мужчин, один — весьма старый, и второй — немного моложе играли в нарды. Ни того, ни другого я не знал. Один из игроков — мужчина в белой рубашке, лампасных брюках и тапочках, встал и протянул мне руку:

— Полковник Гасым Шейдаев, — сказал он.

Это был его дом, и это он пригласил меня сюда. Его товарищ, не вставая, тоже протянул руку. Когда он повернул голову, я заметил на его левой щеке глубокий шрам. Они продолжали играть в нарды. «Сейчас Гасым бросит шесть-пять», — подумал я, и полковник бросил точно: шесть-пять. «А этот бросит четыре-три» — и эта догадка оказалась верной.

В зал вошла женщина в чёрном платье, голова её была покрыта чёрной шалью. У неё в руках был поднос с тремя стаканами чая. Она поставила стаканы перед нами, и, не проронив ни слова, удалилась.

— Если вы бросите пару пятёрок, то выиграете «марсом», — сказал Гасым своему товарищу.

«Он выбросит две пятёрки!» — подумал я. Мужчина со шрамом бросил кости, и точно: две пятёрки.

— Выпейте чай, — сказал Гасым, — я сейчас вернусь.

Как только он вышел из комнаты, человек со шрамом сразу перешёл к делу:

— Это я вас вызвал, — сказал он, — попросил полковника пригласить вас. Если не ошибаюсь, вы знакомы...

— Нет, я вижу его впервые.

— Но мне сказали, что вы когда-то жили по соседству.

Я молча покачал головой.

— Это не важно, — сказал он, — я хочу обсудить с вами один вопрос. Вы знаете Гуси Гафарзаде...

— Знаю, — ответил я, — он один из наших видных учёных.

— Да. Он, к тому же, владелец очень древнего и крайне ценного ковра с таинственными узорами.

— Вот этого я не знал.

— А мне сообщили, что вы знаете всё.

— Это явное преувеличение.

— Что ж... По крайней мере, вы знаете, насколько ценный товарищ этот Гафарзаде. Так что моё предложение не должно быть для вас неожиданным. Короче говоря, мы должны уберечь Гафарзаде.

— Уберечь? От кого? От чего?

— От дурного глаза. Да-да, не удивляйтесь. Над Гафарзаде сгустились черные тучи. Мои слова могут звучать странно, но, к сожалению, это правда. Против Гафарзаде задействованы оккультные силы.

— Оккультные силы?

— Именно! К сожалению, в силу нашего материалистического воспитания мы до сих пор относимся к оккультным силам достаточно несерьёзно и пренебрежительно, но эти силы существуют, и они сверхмощны. Учёного ждут большие неприятности — и всё из-за этого злосчастного ковра!

— Ковёр хотят похитить?

— Это было бы полбеды, если бы его хотели просто похитить. У них куда более ужасные планы.

— Например?

— Простите, но этого я вам не могу сказать.

— Ну хорошо, а от меня вы чего хотите?

— Мы знаем, что вы относитесь к глазу и порче не как к пустякам и мракобесию, а как к вполне серьёзной проблеме. Это так?

— В определённом смысле так.

— Ладно. Вы издавна проводите опыты в этой области. У нас достаточно сведений об этом. К тому же мы знаем, что вы обладаете необычной суггестивной способностью.

«Господи, — подумал я, — этот человек знает и про суггестивную способность, про умение внушать, внедрять свои мысли...»

— Да, наша профессия призывает нас знать и такие подробности, — сказал он, словно прочитав мои мысли. Может, он и сам обладал способностью читать чужие мысли?

— Во всяком случае, мне не до конца ясно, чего вы от меня хотите.

— Я ещё раз повторяю — опасность очень велика. Уберечь Гафарзаде от дурного глаза сможете только вы. Только вы, и никто, кроме вас! — и добавил чуть ли не командным тоном: — Это ваш долг перед

нашей Родиной, народом и независимым государством.

Гасым вошёл в комнату:

— Ваш чай остыл, освежить?

Глава 17

С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ

«Дьявол — это тот, кто злодеянием правил...

А человек-злодей — не человек, а Дьявол!»

Гусейн Джавид, «Дьявол»

Набрав код 3,4,6, я открыл дверь квартиры. В комнате стоял полумрак. Почувствовав, что в комнате кто-то есть, я включил свет.

Интуиция меня не подвела. За столом сидел Ахлиман. Мы долго молча смотрели друг на друга. Впервые в жизни мы оказались с глазу на глаз.

В объяснениях не было необходимости — я знал причину его визита. Поэтому сразу начал разговор.

— Не делай этого, — сказал я.

Он тоже всё понимал. И тоже ответил без всяких объяснений:

— Не мешай мне!

Мы оба вновь замолчали. Затем Ахлиман спросил:

— Ты знаешь историю этого ковра?

— Знаю, — ответил я. — я читал книгу, изданную в Америке.

— В таком случае ты должен знать, сколько бед принёс этот ковёр людям. Во время крестовых походов крестоносцы привезли этот ковёр из Багдада в Византию. Императрица Византии опасалась, что ковёр присвоит её сын и власть перейдёт к нему. Тогда она связала родному сыну руки и ноги, упрятала его в мешок вместе с ядовитой змеёй и бросила в море. Ты об этом слышал?

— Слышал.

— После завоевания Стамбула этот ковёр хранился во дворце как символ власти, и во избежание противоборства за приобретение ковра султаны казнили всех своих сыновей ещё в пелёнках, оставляя только одного. Ты знал об этом?

— Знал.

— Во время Чалдыранской битвы¹ глава гарема Султана Салима² — скопец Минас предал султана, похитил ковёр и перешёл на сторону гызылбашей³. Это тебе известно?

— Известно.

— Но Шах Исмаил⁴ казнил его, сказав: «Если он предал султана, значит, предаст и меня!» Этот ковёр

¹ Чалдыранская битва — сражение, произошедшее 23 августа 1514 года между сефевидской и османской армиями в Чалдыране.

² Султан Салим II — одиннадцатый султан Османской империи, правил в 1566–1574 гг.

³ Гызылбашаши (дословно: золотые головы) — объединение тюркских кочевых племён, говоривших на азербайджанском языке. Гызылбашами их называли из-за головного убора красного цвета.

⁴ Шах Исмаил Сефевид или Шах Исмаил Хатаи (1487–1524) — правитель Персии, полководец и поэт, основатель династии Сефевидов.

перешёл от Сефевидов¹ к Афшарам², от Афшаров — к Гаджарам³. Позднее в Иране в этот ковёр было завёрнуто тело Панах-хана и привезено в Шушинскую крепость. Панах-хан⁴ был усыплен дурманом и должен был очнуться у себя на родине. Однако лекарь, посчитав его мёртвым, произвёл вскрытие. Скопец Шах, узнав о тайне ковра, намеревался отрезать на нём голову Вагифа⁵ во время завоевания Шуши. Но Молла Панах, гадая на звёздах, узнал, что будет спасён. Он послал известие Сафаралы, чтобы те не боялись и ночью же прикончили Гаджара. Звёзды сулили удачу этой затее.

О дальнейшем тебе известно. После убийства Гаджара Ибрагим-хан⁶ вместе со своей семьёй вернулся в крепость. Тебе известно о дальнейшей участи и Вагифа, и Ибрагим-хана вместе с семьёй...

— А для чего ты мне рассказываешь всё это?

— Потерпи, сейчас узнаешь. Майор Лисаневич⁷ уничтожил всю семью Ибрагим-хана от мала до велика, но приобрести ковёр ему не удалось. Ковёр был присвоен неким есаулом. Ты знаешь, кем был этот есаул?

— Нет, не знаю.

— Он был адъютантом генерала Цицианова⁸. Когда Цицианова убили возле Бакинских ворот, был казнён и его адъютант. Ковёр вместе с отрезанной головой Цицианова принесли в подарок Шахиншаху. Во время конституционной революции ковёр исчез. Позднее, на Тебризском базаре, его купил некий бакинский миллионер. Когда Десятая армия вторглась в Баку, один юный чекист собственными руками расстрелял миллионера и присвоил ковёр. А кто был этот чекист?

— Это был отец Гафарзаде.

— Совершенно верно! Теперь ты понял, к чему я клоню?

— Нет, не понял.

— Испокон веков из-за этого ковра убивали сотни, тысячи людей, было пролито немало крови. Ковёр необходимо уничтожить, вместе с его владельцем. Или же без владельца — это уже не важно.

¹ Сефевиды — тюркская шахская династия, правившая с начала XIV века районом Арлебила иранской провинции Азербайджан, а в 1501—1722 и 1729—1736 гг. — всей территорией Ирана.

² Афшары — тюркоязычный народ, один из 24 огузских племён. Исторически афшаров относят к туркоманам; современные афшары считаются субэтносом азербайджанцев.

³ Гаджары — династия, основанная Ага-Мохаммед-ханом Гаджаром и правившая Ираном с 1795 по 1925 год.

⁴ Панах-хан, Панах Али-хан (1693—1763) — основатель ханской династии Джаванширов.

⁵ Молла Панах Вагиф (1717—1797) — азербайджанский поэт и государственный деятель XVIII века.

⁶ Ибрагим-хан, Ибрагим Халил-хан (1732—1806) — хан Гарабаха (1759—1806); после вхождения Гарабахского ханства в состав Российской Империи — генерал-лейтенант русской армии.

⁷ Лисаневич Дмитрий Тихонович (1778—1825) — участник Кавказской войны.

⁸ Генерал Цицианов Павел Дмитриевич (1754—1806) — русский генерал грузинского происхождения, главнокомандующий российских войск на Кавказе.

— Как это не важно? Ковёр — это ковёр, а человек есть человек...

— Этот человек — подлец, сын подлого отца. Яблоко от яблони, как говорится... Гадкий лицемер, который только и знает, что вредить людям.

— А кому он навредил?

— Ну, например, лично мне!

— Ах, вот оно что! Вместо того чтобы метать бисер и ходить вокруг да около, так бы сразу и сказал, что хочешь свести с ним личные счёты.

— Думай что хочешь, а моё мнение таково: необходимо искоренить преступления, совершаемые на протяжении веков, и уничтожить ковёр, источник всех этих преступлений. А если владелец ковра попытается помешать этому, то нужно уничтожить и его как соучастника преступлений.

— Кровь кровью не смоешь. Нельзя искупить одно преступление другим. Если причинить кому-то зло, то человек этого не простит и будет искать возможности отплатить злодею той же монетой. Разрывать порочную цепь злодеяний таким путём невозможно.

— А чем же тогда искоренить зло, угнетения, несправедливости?

— Только милосердием, прощением, благодеянием.

— Значит, надо следовать словам Христа — бьют по правой щеке, подставь левую. Нет, я предпочитаю придерживаться заповедей не Нового, а Ветхого завета: глаз за глаз, зуб за зуб... Я...

— Теперь послушай, я расскажу тебе одну мудрую притчу. Некто, доведенный до отчаяния бесконечными злодеяниями своего соседа, обращается к мудрецу за советом. «Ступай, — говорит тот, — сделай что-нибудь доброе для этого соседа». Человек, не смея перечить мудрецу, следует его совету. Через некоторое время бедолага вновь сталкивается с подлым поступком соседа и приходит к мудрецу за советом. Мудрец даёт ему то же наставление. Это повторяется несколько раз. Наконец человеку всё это окончательно надоедает. Придя к мудрецу, он говорит: «Я последовал твоему совету, но мой сосед всё ещё продолжает причинять мне зло, и мне надоело отвечать на это добротой». На что мудрец отвечает: «Если твой сосед не устаёт совершать злодеяния, то отчего же ты должен уставать делать добро?» Наш народ тоже придерживается подобной мудрости: доброта за доброту — удел каждого, а доброта за злодеяние — удел избранных.

— Хотя это и народная мудрость, но уж очень гнилая философия. Куда более разумна китайская мудрость: «Если ты будешь отплачивать за злодеяние добротой, то чем же ты ответишь на доброту?» А? Что скажешь?

— Скажу, что добро надо делать всегда в ответ — как на доброту, так и на зло. Иначе получается, что, совершая добро, ты ждёшь взамен награду, значит, твоя доброта небескорытна. Джалаладдин Руми призывал к добродетели всех — и мусульман, и хри-

стиан, и огнепоклонников, и иудеев, даже тех, кто сотни раз каялся и сотни раз нарушал свое покаяние. Христос взял на себя все людские грехи...

— А люди распяли его!

Его примечание я пропустил мимо ушей.

— Будда говорил: я готов брать на себя все мирские грехи, лишь бы облегчить мучения и страдания человечества. А наш Физули¹ пишет:

Обрекай меня на грусть и страдания,
Но избавь мир от негодования.

— Тогда ответь мне, — сказал Ахлиман, — отчего безгрешный младенец рождается на свет с различными увечьями: глухим, слепым, немым, умственно отсталым — в чём его вина?

— Возможно, этот ребёнок расплачивается за грехи, совершённые им в прошлой жизни.

Ахлиман расхохотался.

— Реинкарнация, проживание нескольких жизней... Глупейшая заповедь индийской философии о возможности прожить несколько раз и пожинать плоды своих действий, совершённых в прошлой жизни. И ты веришь в эту чепуху?

— Я — да. А ты не веришь?

— Разумеется, нет. Покажи мне хотя бы одного человека, который якобы когда-то жил и помнит что-либо из прошлой жизни. А поскольку ничего из прошлой жизни человек не помнит, то какая разница — жил он когда-то или нет?

— Разница в том, что ты понимаешь причину несправедливостей, с которыми сталкиваешься в нынешней жизни. Карма — величайший закон существования. Карма — это имитация всех ошибок природы и человечества, предотвращающая их повторение. В то время, как «богачи бесчеловечны, а люди гуманные — бедны», в то время, когда всегда «своя рука — владыка», в мире царят несправедливость и угнетения, «у сильного бессильный виноват», великие государства глумятся над мелкими, слабыми странами, только карма помогает осознать причину всего этого. Вред, причинённый человеком другому человеку в какой бы то ни было жизни, — это злодеяние, направленное против всего человечества, и человечество расплачивается за эти злодеяния. Никто однажды поранил кошку. Возвращаясь домой, он заметил у матери на лице царапины. «Откуда эти царапины?» — спросил он, на что мать ответила: «Это твои деяния!»

— Постой-ка, получается, что согласно твоей индийской философии, каждое живое существо появляется на свет по несколько раз?

— Именно!

— Ну ладно, допустим, в прошлой жизни — как бы мне сказать, чтобы не обидеть тебя — ты был соловьём или шелковицей. Какой вред мог причинить

людям соловей или шелковица, что ты потом расплачиваешься за это? Ты молчишь, так как тебе нечего сказать. Или же другой вопрос: допустим, в прошлой жизни ты был таким же человеком. А твоими родителями в прошлой жизни были те же люди, что и в нынешней, или другие? Что ты на это ответишь?

— Есть вопросы, ответы на которые хранятся в тайне, и человеческий ум не в силах их раскрыть. Наш интеллект не способен охватить всё это. Кто-то из мудрецов говорил: «Перед тайнами мира лучше промолчать!» Молчание — это способ избежать ошибок.

— Ну вот, опять — двадцать пять: долой сомнения! Именно на этом и строилась вся коммунистическая идеология: не спрашивай, не сомневайся, уверуй! Как говорил Сабир²: «Ты не думай, стой, замри, / Ничего не говори...» Просто верь в то, что тебе внушили: в коммунизм, в явление Христа, во всякий бред сивой кобылы. Ведь все религии, если не учитывать их различия, преследуют одинаковые цели: либо утешать человека, избавить его от страха тьмы, тишины и пустоты Судного дня и кормить его лживыми обещаниями: выдержи гнёт этого мира, терпи всё и на том свете приобретёшь райские блага. Или же угрозы: веди себя хорошо, иначе сторишь в аду. Всё это рассчитано на человеческие слабости, его неумение мыслить. И карма, и реинкарнация — всё из той же оперы. Он протянул мне пачку сигарет: — Закуришь?

— Ты же знаешь, я не курю! — ответил я.

Он прикурил и с наслаждением затянулся.

— Я расскажу тебе одну притчу, — сказал он, — а ты выразишь своё мнение: Жили-были три брата. Один из них был праведником, второй — преступником и убийцей, а третий умер ещё в младенчестве. Как, по-твоему, какая участь их ждёт на том свете, если верить в рай и ад?

— Если существует рай и ад, то, несомненно, праведник должен очутиться в раю, а преступник — сгореть в аду.

— А младенец?

— А младенец, скорее всего, останется между ними, на пороге рая и ада.

— Тогда другой вопрос. Младенец спрашивает: «Почему же я не вырос, а умер в младенчестве?» Каков будет ответ?

— Судя по твоим понятиям, если бы этот младенец вырос, то стал бы преступником и убийцей. Поэтому его смерть в младенческом возрасте была целесообразна.

— Пусть так. Но в таком случае, его брат, который был преступником и убийцей, может задать вопрос: «Если в жизни мне было предписано совершать преступления и убивать, то почему же я не умер в младенчестве и не избавился от вечных мук в аду?» Что можешь ответить? Вот видишь, приятель, этот мир полностью лишён логики, а человек является жалким, беспомощным, нетерпеливым, завист-

¹ Мохаммед Физули (1494–1556) — великий азербайджанский поэт и мыслитель, творивший на родном азербайджанском, а также персидском и арабском языках.

² Мирза Алекпер Сабир (1862–1911) — поэт-сатирик.

ливым и злопамятным существом, случайно брошенным в этот бранный мир.

— Нет-нет, это не так!

Но Ахлимана было не остановить — он говорил без умолку:

— Что такое человек? Жалкое существо, неспособное стать даже Дьяволом, — слабое, бессильное существо, обделённое талантом и возможностями, падкое до любви, привыкшее к половым связям в своих развратных фантазиях; амбициозное и лицемерное существо, возомнившее себя создателем не только низких, но и высоких гор, бессмысленное, как сам мир. Завистливый, лживый клеветник, злопамятный лизоблюд... Бессильное, жалкое создание, которое якобы стремится к свободе, но, обретая, пугается её как чёрт ладана. Человек готов перекладывать ответственность за каждый свой выбор на других и находится в вечных рабских поисках хозяина, идола для поклонения. Человек — это животное, уплетающее вкуснейшие яства мира и превращающее их в фекалии... Человек — это дикарь, который охотится на таких же живых существ, как он сам, и, не довольствуясь мясом животных, птиц и рыб, зарится на их яйца, икру, мёд. Он сеет мешок зерна и, для того чтобы получить не один, а десять мешков урожая, убивает землю ядовитыми удобрениями, загрязняет моря нечистотами, уничтожает леса, травит воздух газом и дымом. Безмозглая тварь, которая предаёт забвению своё прошлое, не задумывается о будущем, живёт сегодняшней жизнью. Сартр прав, говоря, что ад — это другие, то есть все люди, кроме самого себя, являются исчадием ада.

— Нет, нет и ещё раз нет! Человек — это Насими¹, который пожертвовал собой ради собственных убеждений. Человек — это Толстой, создавший «Хаджи Мурата», это — Махатма Ганди, Альбер Швейцер, Мать Тереза. Человек — это Януш Корчак, который не оставил своих учеников погибать, а разделил их участь и вместе с ними принял смерть. Человек — это самые нежные и красивые женщины мира, самые смелые, сильные, волевые мужчины, самые невинные дети, самые мудрые старики. Человек — это Физули, Ли Бо, Рафаэль, Моцарт, Чехов.

— Оставайся при своём мнении. Живи так, как считаешь нужным, проживи эту жизнь среди заблуждений и пустых обещаний, сулящих надежды на достижение целей в жизни следующей. Но не вздумай мешать мне делать то, что я считаю нужным. Впрочем, ты и не сможешь мне помешать, даже если очень захочешь.

Я даже не заметил, как Ахлиман исчез. Возможно, его здесь вообще не было, он мне просто померещился...

Однако в комнате всё ещё стоял ванильный аромат его сигарет, а в пепельнице тлело несколько окурков.

Глава 18 НОЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«В прямом смысле этого слова, существует только одна серьёзная философская проблема — проблема суицида. Стоит жить или нет — решение этого вопроса является ответом на базовый вопрос философии».

Альберт Камю

Сообщение: «Вчера ночью, в результате короткого замыкания электропроводов в квартире известного учёного Гуси Зелимовича Гафарзаде возник пожар. При пожаре сгорело всё имущество, находящееся в квартире, в том числе очень древний и дорогой ковёр. В настоящее время учёный находится в реанимации с серьёзными ожогами. Врачи борются за его жизнь».

В половине четвёртого ночи зазвенел телефон. Ночные звонки всегда пугали меня. Я услышал незнакомый голос:

— Немедленно оденьтесь и спускайтесь вниз!

Кто был он, говорящий командным тоном? Куда и зачем звал меня? Почему я смиренно выполнял его команду? Поспешно одевшись, я спустился во двор. Прямо перед дверью подъезда стоял красный лимужин. Я сел в машину. В темноте я не мог разглядеть лицо человека, находящегося за рулём, но, когда машина выехала из двора, в свете полнолуния я увидел на его лице глубокий шрам.

Ни он, ни я не промолвили ни слова. Я даже не решался спросить: куда, зачем мы едем? У меня словно язык отнялся. Проезжая через устрашающе тихие улицы, освещаемые лишь полной луной, машина выехала из города. Единственными признаками жизни на тот момент были мигающие красные, жёлтые и зелёные цвета светофоров, стоявших на перекрестках.

Мы следовали по Маштагинской дороге. Проехав через Бузовны и Мардакан, мы вышли на магистральную дорогу Шувелана², и, преодолев песчаные дороги между дачными домами, подъехали к большому зданию. Это здание напоминало Дворец культуры советских времён.

Мы вышли из машины и вошли в клуб — если, конечно, это помещение можно было назвать клубом. Мои часы показывали без четверти четыре. Салон был освещён зловещим фиолетовым светом. Первые ряды, в отличие от задних, были заполнены.

Я уселся на свободное место в переднем ряду. Зрители сидели молча, неподвижно, уставившись на сцену. Я начал разглядывать их, одного за другим: многие из них были мне знакомы. Чуть поодаль сидел мальчик лет десяти, и, когда я взглянул на него, у меня волосы встали дыбом — это был давно погибший соседский мальчик в меховом пальто. Я вспомнил сидевших тут зрителей одного за другим: вот

¹ Сеид Имадеддин Насими (1369–1417) — выдающийся азербайджанский поэт, философ и мистик.

² Пригороды Баку.

Генеральный директор*Евгений Шишкин***Художественный редактор***Татьяна Погудина***Цветоделение и компьютерная верстка***Александр Муравенко***Заведующая распространением***Ирина Бродянская*

Отпечатано

в АО «Красная Звезда»

Россия, 125284, Москва,

Хорошёвское шоссе, 38

тел. +7(499) 762-63-02,

факс +7(495) 941-40-66

e-mail: kz@redstar.ru,

www.redstarprint.ru

Подписано в печать:

26.01.2020

Тираж 2 050 экз.

Уч.-изд. л. 12,0.

Заказ № 0266-2020

Адрес редакции:*Россия,**107078, Москва,**Новая Басманная, д. 19***Телефоны***редакции:**8(499) 261-84-61**8(499) 261-49-29**отдела распространения:**8(499) 261-95-87***E-mail:***roman-gazeta-1927@yandex.ru***Сайт:***www.roman-gazeta-1927.ru*

Рукописи не рецензируются

и не возвращаются.

Отклоненные рукописи

сохраняются в течение года.

этот был моим другом — Мохсун, а вот его дядя Мадат-киши, это Рубаба, вот Закир... Члены Учёного совета. Гуси Гафарзаде. О боже — мои родители! Но и они смотрели не на меня, а на сцену.

Я был в ужасе — собравшиеся здесь зрители были людьми, ушедшими в мир иной. Теперь я, содрогаясь, осознавал тайную и истинную суть выражения «уйти в мир иной».

Внезапно они все начали аплодировать. Хлопков не было слышно, но по их жестам было ясно, что они аплодируют кому-то, находящемуся на сцене, но пока за занавесом. Я перевел взгляд на сцену. Красный занавес медленно раскрылся, и на сцену вышла танцующая Айдан. У меня сердце оборвалось — как она очутилась здесь, среди мертвецов?!

Я вздрогнул от женского крика и, вскочив с постели, бросился на балкон. На асфальте двора в утреннем полумраке лежало тело Айдан. Её мать истошно кричала, рвала на себе волосы.

Я обернулся — крупный амулет от сглаза, висящий на стене, был разломлен надвое; одна половинка осталась висеть на стене, а другая упала на пол и разбилась вдребезги.

Возле рассыпавшихся осколков амулета стоял Ахлиман.

— Зачем ты это сделал? — спросил я. — В чём была вина этой девушки?

— Это сделал ты, — ответил Ахлиман. — Это ты её убил... Ты спал, когда она опять явилась спящая в твою комнату. А когда она уходила, ты вскрикнул во сне: «Не уходи, умоляю тебя!» Она от твоего крика проснулась и тут же с карниза сорвалась вниз. Хорошо хоть, бедняжка не мучилась, смерть её была мгновенной.

Говоря эти слова, Ахлиман медленно приближался ко мне. Я знал, чего он хочет. Он вышел на балкон и нагнулся вниз, стоя спиной ко мне. Ни секунды не колеблясь, я резким движением изо всех сил толкнул его, и, не успев уцепиться за перила, он полетел вниз. В следующее мгновение его тело лежало рядом с телом Лунной девушки...

ПРИМЕЧАНИЕ ОТ АВТОРА:

Наверняка проницательный читатель понял, что оба персонажа по имени Ахлиман (Ахриман и Ормузд) являются одним и тем же лицом. В таком случае может возникнуть вопрос: хотел ли автор сказать, что символ Добра, Ормузд, убивает символизирующего Зло Ахримана? Но ведь это одно и то же лицо — следовательно, погибают они оба...

Да, это так. Но вернёмся к началу повествования. Как оказалось, человек, похороненный заживо, не умер. По счастливой случайности или, возможно, необходимости, по чьей-то прихоти он был вызволен из могилы, вернулся к жизни и начал жить дальше. Но чьё это возвращение — Ормузда? Или Ахримана? Добра или Зла? Может, их обоих?

Ответ на этот вопрос я оставляю за самим читателем.

*Дубровник—Баку, 2014
Перевод Натига РАСУЛЗАДЕ*

СОДЕРЖАНИЕ

Комната в отеле.....	1
Белый овен, черный овен	28
Амулет от сглаза	65

Есть ли ответы в пространстве будущего?

«Куда я плыл, куда доплыл,
Истратил зря ль словесный пыл,
Или с небес мне голос был
Внушавший истины святые?»

Анар

Воздухоплаватель.... Такой образ Анара, как озарение, внезапно возник и закрепился в сознании, когда несколько лет назад работала над книгой о нем и его творчестве и как будто заново перечитывала его прозу, статьи и поэзию.

...Анар начинал писать в советское время, но, как и все мы, пережив сложные исторические переломы, сумел сохранить в своем слове главное — искренность, подлинность чувств и размышлений, о чем бы он ни писал... В каждой анаровской строчке ты ощущаешь присутствие автора, это «земная», укорененная в национальной почве проза, но одновременно он недосыгаем, парит где-то в небесах, в иных измерениях, цивилизациях и вселенных.

Образ всякого большого художника таит в себе множество парадоксов, случается, и неочевидных для его современников. Когда произносишь имя Анара в Азербайджане, чаще всего слышишь в ответ о его многолетних и неутомимых трудах на общественном поприще: и на посту руководителя Союза писателей, и в качестве депутата Парламента. Порой даже кажется, что фигура Анара — общественно-деятеля, просветителя, исследователя и страстного защитника национальных культурных ценностей, идеолога азербайджанского возрождения заслоняет в сознании людей Анара — философа, поэта, прозаика, драматурга, сценариста, переводчика, чьи мысли и творчество, глубоко проросшие в бытие истории и культуры своего народа, устремлены в пространства мирового художественного опыта.

Ни одно из перечисленных представлений об Анаре не лжет, но за каждым из них — лишь часть истины. Ведь еще в большей тени — мастерская писателя, его одинокое странствие в поисках смысла человеческой жизни и дерзновенные попытки остановить время, уловить в сети слов его облик, передать краски, звуки, сам воздух его...

Анар чутко ощущает пугающую и прекрасную близость реального и ирреального, земли и неба. Он — мягче воска, тише дервиша-паломника, он — скромнее и неприметнее потаенных лесных вод, но анаровская поступь уже десятилетия определяет азербайджанскую культуру. Его слово — это слово глубинного Азербайджана, его боль и беды — это боль и беды всего народа.

Исторически Анар жил и живет уже в совершенно разные времена, в двух тысячелетиях, в двух совершенно разных цивилизациях, но какие бы столь разные они ни были, национальный азербайджанский дух при всех переменах остается для него где-то в глубине, в неизменности. И все анаровское образное сострадательное творчество от первых рассказов шестидесятых годов до недавних острейших по мысли повествований уже третьего тысячелетия, до «Белого овна...» и «Амулета от глаза», оказывается голосом из глубин национальной жизни. И голос этот становится с годами даже не голосом выдающегося художника, а мудреца.

Что же дальше? Каждому писателю дано свое видение мира. И хотя Анар не чужд иронии, он изначально взрастал в атмосфере высокой творческой игры, в своем отношении к жизни и к человеку он серьезен. И потому абсолютно не вписывается в нынешнюю постмодернистскую игровую, па-

родийную ситуацию, где вместо живых людей копошатся выморочные их заменители — симулякры. Еще тридцать с лишним лет назад он описал свой «конец истории». И, пожалуй, никто за эти десятилетия ничего к его версии не добавил ни в Азербайджане, ни на всем постсоветском пространстве. Парадоксально, но в этом он схож, при всей разности творческих ориентаций и художественных почерков, с Валентином Распутиным, о чем, кстати, писала и наша критика.

Трагическое пророчество Распутина периода смутных 80-х — повесть «Пожар» и сжатый до объема новеллы роман «Комната в отеле» Анара начала 90-х — смыкаются. Оба писателя, как выход из гибельных тупиков постмодернистского «конца истории», предлагают национальную альтернативу, возрождение народного духа. И для азербайджанского, и для русского художников писатель не существует вне своей нации и своей родины, он неизбежно творит в пространстве своего национального сознания, тем он и интересен остальному миру.

Есть и еще одна особенность у Анара, поднимающая его над суетой сует временного, популярного, модного. <...> В ситуации, когда личность оказывается перед дилеммой: следовать «естественным побуждениям разума и сердца, своим подлинным эмоциям и желаниям» или «действовать вопреки всему этому во имя конформистской, закостеневшей... надчеловеческой морали», — Анар выбирает сторону тех, кто не жертвует своей индивидуальностью во имя выгоды или ложных, но якобы приносящих успех целей. Пусть даже в глазах большинства они выглядят сумасшедшими... Он уповает на то, что «в человеке рано или поздно пробуждается его подлинная сущность, и тогда человечность восстает против автоматизма, механического ритуала, инерции». Не напрасна ли эта его надежда?

Не напрасна! — утверждает Анар, в повести «Амулет от глаза» поднимая эти вопросы на еще более высокий уровень, размышляя над началами Добра и Зла, Тьмы и Света в человеческом существовании, побудительными мотивами человеческих поступков и возможном воздаянии за них. Составить представление о философии писателя в этом произведении совсем непросто, его взгляды на сложнейшую, веками занимавшую лучшие умы проблематику смысла бытия, дают возможность для самых разнообразных трактовок. Тем более что Анар мастерским приемом, используя в каждой главе очевидные отсылки к мировой классике, за счет этого неизмеримо расширяет пространство собственной прозы. Повествуя о современных коллизиях, он таким образом вводит нас в духовные поиски величайших поэтов и мыслителей прошлого, Востока и Запада, философов и писателей, близких нашим дням...

Конечно, кто-то прочитает эту повесть, как увлекательное приключение с элементами триллера. Кто-то восхитится анаровской интерпретацией сюжета из знаменитой 18 суры Корана Аль-Кахф (Пещера). А кто-то предоставит право будущему отвечать на заданные автором вопросы, бессильно склонившись над их неразрешимостью. Но хорошо уже то, что попытка будет сделана.

...Человек у Анара не одномерен, симфоничен и свободен в своем познании, его разум не безмолвствует. Он проходит через смерть, воскрешение, путешествие во времени в неутолимом желании соединить распавшийся на мерцающие осколки мир. И уже одно это желание — шанс выйти из якобы предначертанного круга и собственного несовершенства, и программируемой им судьбы.

Людмила ЛАВРОВА

...Знать бы, кто сплет новые песни,
На языке каком, когда мы уйдем?..

